
САША ЧЕРНЫЙ

САША ЧЕРНЫЙ

САША ЧЕРНЫЙ

САША ЧЕРНЫЙ

САША ЧЕРНЫЙ

Annotation

Во второй том собрания сочинений Саши Черного вошли: книга «Жажда», поэмы «Дом над Великой», «Кому в эмиграции жить хорошо», а также стихотворения 1920–1932 годов, не вошедшие в прижизненные издания поэта.

- [Саша Черный](#)

-
- [А. Иванов. Русский ковчег. Муза Саши Черного в эмиграции](#)
- [Слухи*](#)
- [Жажда*](#)
 - [Война*](#)
 - [Песня войны](#)
 - [Сборный пункт](#)
 - [На фронт](#)
 - [Репетиция](#)
 - [На этапе](#)
 - [Атака](#)
 - [Один из них](#)
 - [Привал](#)
 - [Пленные](#)
 - [Письмо от сына](#)
 - [В операционной](#)
 - [Легенда](#)
 - [В штабе ночью](#)
 - [Чужая квартира](#)
 - [Под лазаретом](#)
 - [Будни](#)
 - [Отступление](#)
 - [Ревизия](#)
 - [Ода на оставление доктором Држевецким 18-го полевого госпиталя](#)
 - [Памяти генерала К. П. Губера](#)
 - [Сестра](#)

- [На поправке](#)
- [На Литве*](#)
 - [Докторша](#)
 - [Оазис](#)
 - [Американец](#)
 - [Яблоки](#)
 - [«На миг забыть – и вновь ты дома...»](#)
 - [Утром \(«Если взять насос за хобот...»\)](#)
 - [Подарок](#)
 - [Аисты](#)
 - [Табак](#)
 - [Могилы в саду](#)
- [Чужое солнце*](#)
 - [С приятелем \(«Сероглазый мальчик...»\)](#)
 - [Солнце \(«На грязь вдоль панели...»\)](#)
 - [«На берлинском балконе...»](#)
 - [Поденщица](#)
 - [Весна в Шарлоттенбурге](#)
 - [В Гарце](#)
 - [«Когда, как бес...»](#)
 - [Корчевка](#)
 - [В старом Ганновере](#)
 - [Глушь](#)
 - [У Эльбы](#)
 - [В Саксонской Швейцарии](#)
 - [Мираж](#)
 - [Курортное](#)
 - [Над всем](#)
 - [«Грубый грохот северного моря...»](#)
 - [«Лесов тенистые покровы...»](#)
 - [Искусство](#)
 - [«Здравствуй, Муза! Хочешь финик?»](#)
 - [Мандола](#)
 - [«Тех, кто страдает гордо и угрюмо...»](#)
- [Русская Помпея*](#)
 - [«Прокуроров было слишком много!»](#)
 - [Игрушки](#)

- [Невский](#)
- [Весна на Крестовском](#)
- [На «островах»](#)
- [Псков](#)
- [С моста над Псковой](#)
- [Гостиный двор](#)
- [Псковитянка](#)
- [В Одессе](#)
- [Полтавский рай](#)
- [«В пышной вишне дрожь и шорох...»](#)
- [Затон](#)
- [На току \(«В стогу молодой соломы...»\)](#)
- [Пруд](#)
- [Нянька](#)
- [Шалашик](#)
- [Зима](#)
- [Бал в женской гимназии](#)
- [Пожарный](#)
- [Репетитор](#)
- [О чем поет самовар](#)
- [Змей](#)
- [Пушкин](#)
- [Памяти Л. Н. Андреева](#)
- [«Ах, зачем нет Чехова на свете!»](#)
- [Стихотворения, написанные в эмиграции и не входившие в прижизненные издания поэта](#)
 - [Русская печаль*](#)
 - [И. А. Бунину](#)
 - [Скорбная годовщина](#)
 - [Памяти А. Блока](#)
 - [Е. А. Полевицкой*](#)
 - [Галоши счастья](#)
 - [Соловьиное сердце](#)
 - [«Тургеневские девушки в могиле...»](#)
 - [Эмигрантский уезд*](#)
 - [Диана](#)
 - [Голос обывателя](#)

- [Эмигрантское](#)
- [Полустанок](#)
- [Баллада о русском чуде](#)
- [Эмигрантская песня](#)
- [Утопия](#)
- [Камин](#)
- [День воскресный](#)
- [Хохлушка](#)
- [Мелкобуржуазные мечты](#)
- [Газета](#)
- [Парижское житие](#)
- [Закат Европы](#)
- [Парижские частушки](#)
- [Эмигрантская полька](#)
- [Деловая ода в честь русской эмигрантки](#)
- [Русская лавочка](#)
- [Сказка о золотой рыбке](#)
- [Первая ласточка](#)
- [Надо помочь*](#)
 - [Русский мальчик](#)
 - [Русские инвалиды](#)
 - [«Иллюстрированной России»](#)
 - [Елка в тургеневской библиотеке](#)
 - [Размышления у подъезда «Лютеции»](#)
 - [«1928»](#)
 - [Дом в Монморанси](#)
 - [Надо помочь!](#)
 - [Завтра](#)
 - [Дубовые стихи](#)
 - [Мобилизация](#)
- [Из римской тетради*](#)
 - [Римские камеи](#)
 - [Римские офорты](#)
 - [В гостинице «Пьемонт»](#)
 - [На окраине](#)
 - [Дитя](#)
 - [Старая вилла](#)

- [На площади Navona](#)
- [Белое чудо](#)
- [В стране Петрарки](#)
- [«По форуму Траяна...»](#)
- [Шесть](#)
- [«Словно загар смуглолицый...»](#)
- [«Школа Дианы»](#)
- [Фонтан на Monte Pincio](#)
- [Из зеленой тетрадки*](#)
 - [Не по адресу](#)
 - [Святая наивность](#)
 - [Из Гёте](#)
 - [Эпиграммы](#)
 -
 -
 -
 -
 - [Гигиенические советы](#)
 - [Красная бабушка](#)
 - [Политический сонет](#)
 - [Любовь к ближнему](#)
 - [Из альбома женоненавистника](#)
 - [Петрушка в Париже \(дубок\)](#)
 - [«Пока не требует Демьяна...»](#)
 - [Советские частушки](#)
 - [Эмигрантские объявления](#)
 - [В венском павильоне](#)
 - [Молодому парнасскому полотеру](#)
 - [Слишком резвому](#)
 - [Показательная санатория в Евпатории](#)
 - [Гостиница в Пасси](#)
 - [К двухсотлетию академии наук](#)
 - [Из зеленой тетрадки](#)
 - [Политикон и эмигрантский уезд](#)
 - [Бензинная любовь](#)
 - [Европа и «они»](#)
 - [Пролетарская муза](#)

- [Надписи на полях библиотечных книг](#)
- [Сказка про красного бычка](#)
- [«Неделя доброты»](#)
- [Из дневника поэта*](#)
 - [Жизнь \(«Посади в вазон зимою...»\)](#)
 - [Романс](#)
 - [В плену](#)
 - [В саксонских горах](#)
 - [В поте лица](#)
 - [Из дневника поэта](#)
 - [Предвесеннее](#)
 - [Как я живу и не работаю](#)
 - [Легкие стихи](#)
 - [Ночью](#)
 - [Иногда \(«Проснешься ночью...»\)](#)
 - [Ночные lamentации](#)
 - [У окна](#)
 - [Мимоза](#)
 - [Семь чудес](#)
 - [Гёте](#)
 - [Меланхолическое](#)
- [Русские миражи*](#)
 - [Эмигрантские сны](#)
 - [Сатирикон](#)
 - [Сочельник в Пскове](#)
 - [Пасха в Гатчине](#)
 - [«Мул за стеной соломою шуршит...»](#)
 - [Черника](#)
 - [Русские миражи](#)
 - [Кукуруза](#)
 - [На трубе](#)
- [Утешение*](#)
 - [К пуделю](#)
 - [Маленькому другу](#)
 - [В поезде](#)
 - [Консьержкина дочка](#)
 - [Мой роман](#)

- [Щенок](#)
- [Прогулки по Парижу](#)
- [Мать](#)
- [Беспечный день*](#)
- [Дети](#)
- [Фокс](#)
- [Парижские будни*](#)
 - [Хмель \(«Каштаны все сочней...»\)](#)
 - [Два мира](#)
 - [Платан](#)
 - [Allée des Cygnes](#)
 - [Солнце \(«Угрюмый делец почтенных лет...»\)](#)
 - [В Люксембургском саду](#)
 - [Городские чудеса](#)
 - [Пензенскому Катону](#)
 - [В Булонском лесу](#)
 - [Собачий парикмахер](#)
 - [В метро](#)
 - [Пустырь](#)
 - [У Сены](#)
 - [Предпраздничное](#)
 - [Солнце \(«Всю зиму нормандская баба...»\)](#)
 - [На пустыре](#)
 - [Уличная выставка](#)
 - [В угловом бистро](#)
- [Капризные вирши*](#)
 - [Современная баллада](#)
 - [Капризные вирши](#)
 - [Лирическая кухарка](#)
 - [Апрель](#)
 - [Урок](#)
 - [Б. К. Зайцеву](#)
 - [Базар в Auteuil](#)
 - [Химические стихи](#)
 - [Грешные стихи](#)
 - [Зеленое воскресенье](#)
 - [Горе от прохожих](#)

- [Ошибка \(«Это было в Булонском лесу...»\)](#)
 - [В санатории](#)
 - [На колониальной выставке](#)
 - [Колониальный день](#)
 - [Картофельная идея](#)
 - [Пластика](#)
- [Из провансальской тетради*](#)
 - [Мистраль](#)
 - [Сбор винограда \(«В дверях стоит высокий, седоусый...»\)](#)
 - [Городок](#)
 - [Деревенские удовольствия](#)
 - [В Марселе](#)
 - [На току \(«По овсяным снопам...»\)](#)
 - [Прованс](#)
 - [В осенний день](#)
 - [В рыбацьем местечке](#)
 - [Разъезд](#)
 - [В Борме](#)
- [Летний дневник*](#)
 - [Из летней тетради](#)
 - [Пикник](#)
 - [Ливень](#)
 - [В море \(«Мы плыли с острова Пор-Кро...»\)](#)
 - [Вода](#)
 - [Сбор винограда \(«За рядом ряд обшариваем лозы...»\)](#)
 - [Под тamarиском](#)
 - [Солнечная ванна](#)
 - [Без вакансий](#)
 - [Дождь \(«Утром фермерша-старушка...»\)](#)
 - [С холма](#)
- [Поэмы](#)
 - [Дом над Великой*](#)
 - [Главы из поэмы «Дом над Великой»*](#)
 - [Кому в эмиграции жить хорошо*](#)
- [Комментарии](#)

- [Выходные данные](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
-

Саша Черный
Собрание сочинений в пяти томах
Том 2. Эмигрантский уезд



Саша Черный (Фото 20-х гг.)

А. Иванов. Русский ковчег. Муза Саши Черного в эмиграции

У каждого истинного поэта есть своя суверенная территория, где он полновластный хозяин. Многие читатели поэтической вотчины Саши Черного, безусловно, назовут городскую квартиру. В квартире этой один российский интеллигент, по-чеховски рефлексирующий или – по Саше Черному – «нищий духом», ведет безысходный спор с другим таким же индивидуумом либо с самим собой. В другом варианте на этой жилплощади может размещаться пошляк-обыватель со своими чадами и домочадцами, погрязший в жалком и смехотворном быте мещанской «обстановочки».

Было бы, однако, заблуждением думать, что это отгороженное от мира, оклеенное обоями четырехугольное убежище – излюбленное место пребывания самого поэта. Как раз наоборот. Отсюда он всей душой стремился на свободу – в «зеленое полубытие» леса или к пустынности и успокоительному, вековечному шуму морского побережья. Из прилюдного одиночества – к робинзоновскому уединению:

Я не аскет и не злодей,
Но раз в неделю без людей –
Такая ванна для души!
Где ж нет людей? В глуши.

Но если в его руке оказывалась детская ладошка, если рядом радостно скакала псина, если с ветки с участием поглядывал чиж, если... (подобный перечень, вплоть до самых мизерных мурашек, можно длить и длить), то это соседство было ему ничуть не в тягость. Как единение с частью природы, которое вселяло в душу Саши Черного *покой и волю*.

В мироощущении поэта-сатириконца преобладало не отрицание, как это принято думать, а приятие мира, восхищение его дивной красотой, желание сказать ему в первую очередь «да». Очарованный

странник, он не мыслил своего жизненного пути «без смеха, без песен, без вина, без беспечной радости легкого бродяги на легкой земле». И впрямь суждено ему было стать вечным скитальцем, но далеко не по доброй воле. Да и легкой землей едва ли можно назвать чужеземье, по градам и весям которого пролегла эмигрантская одиссея поэта. Именно таким – одиноким пилигримом – остался он в памяти собратьев по перу и по изгнанию: «Взвалил котомку на усталые плечи; настоящую котомку, не символическую; взял с собой лукутинскую, раскрашенную табакерку – на добрую память и един-единственный томик в холщовом переплете – „Русские сказки“ Афанасьева. И пошел пробираться меж автомобилями и мотоциклами, в шуме, в сутолоке, в суете многомиллионных жадных городов...»

Исход из России... Решение о добровольном изгнаничестве не было импульсивным и скоропалительным. Саша Черный долго медлил с последним шагом, прекрасно сознавая, что он станет роковым в его судьбе.

Рожденный как поэт «днями свободы» первой русской революции, Саша Черный должен бы – это кажется самоочевидным – приветствовать исполнение давней мечты передовых людей России – свержение самодержавия. Свершилось. «Что это была за великолепная пышная свадьба: красные цветы, веселые огни горящих участков, поздравления соседей, милая, стыдливая, любящая улыбка на лице прекрасной невесты Свободы, ликующие, восторженные лица свободных граждан на улицах, – так отпраздновали свадебку, что дай Бог каждому» – так описывает мартовские иды 1917 года А. Аверченко. Как тут не вспомнить стенания героя «Сатир» Саши Черного на перешейке двух революций: «Я жених непришедшей прекрасной невесты...» Но вот возлюбленная стала законной супругицей, и в скором времени тот же коллега Саши Черного по «Сатирикону» был поражен, как разительно изменился ее облик: «Гляжу я на ее сонное ожиревшее лицо и думаю: – Эй ты, матушка! Да знаешь ли ты, что эта контрреволюция в тебе самой и сидит, во всем заспанном лице, в этой широкой жадной пасти, в этом объемистом чреве, которое никак не могу наполнить, как ни работаю, как ни тружусь».

Долгожданное освобождение обернулось в скором времени «сумерками свободы», разгулом сил зла, самораспадом общества,

гибелью великой державы, страданием миллионов людей, дантовым адом, воплощенным в действительность. Почему просчитались и оказались столь недалекими в своих радужных ожиданиях лучшие наши умы и чистые сердца? Потому ли, что народ оказался не готовым к свободе и на поверхность всплыли в буквальном смысле «низы» общества, люди жизненной обочины – проходимцы и криминальные элементы, особенно вольготно чувствующие себя в нестабильной обстановке смутного времени? Каин всегда проворней, беспринципней и решительней, чем Авель.

В середине 1917 года, задолго до Октября, до кровавого хаоса братоубийственной усобицы, Саша Черный определит свершившееся на его глазах и при его участии (в Пскове он был избран заместителем комиссара Совета солдатских депутатов Северного фронта) словами «Русская Помпея». Большевики попытались обуздать эту дикую стихию, установив диктатуру пролетариата, неизбежно сопряженную с насилием, деспотизмом, подавлением инакомыслия. Для Саши Черного, обостренно воспринимавшего всякую несправедливость и превыше всего ставившего независимость, усиливающийся идеологический диктат и политизация слова были непереносимей, нежели физические лишения. Спор художника с властью, равно как и конформизм, обычно губителен для первого. Речь идет здесь не только о прямой физической расправе, но шире – о потере таланта, распятии духа, ибо, как писал Саша Черный, «искусство за себя мстит и рабства не терпит». Режим, установившийся в отечестве, посягал, по его мнению, на тайную свободу, которая потребна поэту, чтобы вольно говорить с миром. Есть ли надежда охранить от посягательств свои нравственные принципы, достоинство, свободное перо в Совдепии, как называли тогда Советскую Россию? В результате мучительных раздумий поэт выбрал из двух зол, как ему казалось, меньшее. Ибо...

...Ибо эмиграция, что там ни говори, вовсе не благо, а прежде всего ущерб, излом в судьбе человека, для которого слова «родина-мать» не пустой звук. Вынужденная изоляция несет с собой, в первую очередь, не обретения, а потери. Вростание в чужой этнос, в чужую культуру – процесс болезненный и едва ли возможный (потому-то эмигранты так упорно держатся вместе до конца дней своих). Недаром и Саша Черный, оказавшись по *ту* сторону, ощутил себя загнанным в тупик: «Всякий честный человек должен покончить с

эмиграцией. Осталось два выхода: пуля в лоб или принять жизнь Запада, раствориться в ней, отыскать свое место и перестать быть эмигрантом». Но последнее – обычно удел тех, у кого нет ничего за душой: те приспособятся к любым условиям, легко сменят отечество, как ненужную одежду.

Есть и еще одна сторона этой проблемы – этическая. Разве менее предпочтительна и достойна позиция искупления, занятая Ахматовой, как бы бросившей упрек всем, оставившим разоренный дом:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,—
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Каждый выбирает жизненный путь по себе и у каждого своя правота. И потому поостережемся воздавать хвалу или, напротив, осуждать за тот или иной выбор. Трагична и тяжела была участь тех, кого исторический потоп захлестнул на родной земле, и тех, кто пытался спастись в эмигрантском ковчеге.

Когда-то, в предвидении грядущих, смутно чаемых жизненных метаморфоз, Саша Черный заверял: «Подожди! Я сживусь со своим новосельем – как весенний скворец запою на копые!» Увы, совсем не такое новоселье мнилось ему. Вновь предстала перед ним столица Германии, где он не раз бывал в качестве туриста. Но теперь в ином статусе, не без едкой горечи титулованная Ходасевичем «мачехой российских городов».

Впрочем, многим из прибывших сюда россиян ситуация на первых порах не представлялась столь уж катастрофичной. Начальный этап изгнания ознаменовался бурным всплеском книгоиздательства, рассчитанного не только на эмигрантский рынок, но и на Советскую Россию, с которой заключались многочисленные договоры, оформлялись заказы на взаимные поставки книг. Границы пересекали и книги, и люди. Оттуда, из метрополии, постоянно шел приток творческой интеллигенции, которой удавалось вырваться на время за кордон. «Здесь бездна всяческого литературного дела», – пишет Саша Черный в Париж Куприну. Позднее, сам оказавшись во

Франции, он еще не раз вспомнит со вздохом «о прекрасных днях берлинской жизни».

«Берлинский Аранжуэц», как Саша Черный именовал издательский бум, был недолог – три-четыре года. За это время поэт успел переиздать в новом, дополненном виде двухтомник – «Сатиры» и «Сатиры и лирика», выпустить целую вереницу книжек для самых маленьких, прежде всего «Детский остров». И наконец, увидела свет третья книга стихов Саши Черного. Книга, с обложки которой звучит скорбное и неутолимое слово «Жажда». В выходных данных значится, что вышла она «в издании автора». Что сие означает, поэт, с присущей ему самоиронией, раскрывает в письме к А. Куприну: «„Издание автора“ – очень сложная комбинация из равнодушного к моей музе типографа, остатков случайно купленной бумаги, небольших сбережений и аванса под проданные на корню экземпляры. Типографию уже окупил, бумагу тоже выволакиваю. Вот до чего доводит жажда нерукотворных памятников».

Состав и структура книги продиктованы самой жизнью – не только судьбой автора, но ходом истории всей страны. Первой в череде бедствий, обрушившихся на Россию, была «та самая великая, идиотская война, от которой все и пошло...». Именно это короткое и страшное слово «война» вынесено в заголовок раздела, которым открывается книга. С первых дней войны поэт был отправлен в действующую армию и все три года не снимал солдатское сукно. Пацифист до мозга костей, он не мог привыкнуть к взаимоуничтожению людей. И тем более гордиться, под стать Н. Гумилеву, что «творишь великое дело войны». Из всеобщего сумасшествия и одичания поэт не видел иного выхода, кроме единственного, могущего прийти в голову разве что ребенку, либо... Саше Черному – выхода, столь же гениально простого, сколь и утопичного. Своими мыслями он поделился с писателем А. М. Федоровым, встретившимся с ним на фронтовых дорогах:

«– Дико и страшно все это. <...> Я не понимаю, как там на войне те, которые воют, убивают и погибают сами, не опомнятся, не крикнут во весь дух – „Не хотим больше воевать! Не можем!.. Это страшно!..“

– А не будет ли еще страшнее, если найдутся такие, которые крикнут это?.. Ведь все сразу крикнуть не смогут.

– Нет, все, все сразу должны крикнуть... Только так... Только когда все сразу, – как-то по-детски восторженно и вместе с тем болезненно вырвалось у него».

На этой человеческой бойне ему довелось воочию и вдосталь наглядеться на людское горе, на изувеченные солдатские тела, на физические и душевные мучения (ведь – напомним, на войне он был санитаром), изведать всю неизмеримую глубину народных страданий. Недаром в стихах, написанных позже, когда поэт вырвался из этого пекла, война была явлена как великая страда, то есть страдание и одновременно изнурительная работа, с которой справляются всем миром. Они лишены какой-либо ура-патриотичности и героических славословий. В сугубо прозаических, почти документальных зарисовках с натуры (сборный пункт, этап, постоянная квартира, разгрузка вагонов, постирушка на привале, окоп, лазарет, операционная) предстает будничная изнанка войны.

Но, «внимая ужасам войны», не следует забывать, что именно година испытаний выявляет все лучшее, что есть в народной душе. Тяготы солдатчины Саше Черному довелось переносить бок о бок с простым людом – крестьянами и рабочими, облаченными в казенное сукно, и именно в них нашел поэт заряд бодрости, жизнестойкости и то здоровое начало, что способно противостоять нравственному распаду человечества. Наблюдения эти найдут отклик много позже в «Солдатских сказках» Саши Черного.

Следующий этап переломного времени, который получил отражение в поэзии Саши Черного, – беженская эпопея. Гражданская усобица лишила крова и разметала по просторам бывшей Российской империи тысячи мирных обывателей. Рок событий вынес Сашу Черного в Виленскую губернию. Здесь он задержался на год с лишним, пережив чехарду властей и режимов. То было время мучительных раздумий, осмысления происшедшего. «Почему у нас после революции столько интеллигентов разбежалось куда глаза глядят?» – полюбопытствовала однажды гостья Саши Черного, виленская гимназистка. Поэт усмехнулся и быстро ответил: «Раньше видели прекрасные сны, а потом проснулись».

Что говорить – пробуждение было горьким. Не избавиться от тягостных дум – можно лишь попытаться отгородить себя от них, как

ширмой, работой. Скажем, поселиться где-нибудь на хуторе под Вильно.

Именно здесь родились небольшие поэмы и стихи, объединенные впоследствии поэтом в раздел «На Литве». Подспудно стихи пронизаны ожиданием, что скоро закончится этот кошмар, и одновременно безысходностью. Любая мирная картина – пусть это будет гнездо аистов – вызывает строки, исполненные пронзительной боли и тоски:

В тумане дороги и цели,
Жестокие черные дни...
Хотя бы, хотя бы неделю
Пожить бы вот так, как они!

То же можно сказать о стихах, написанных уже по ту сторону границы, когда поэт из «чистилища» – остановки перед дорогой в рай или в ад, каким стала для него Литва, перебрался в Германию. Они были собраны воедино под общим заглавием «Чужое солнце». Не правда ли, что-то знакомое слышится в этом словосочетании? Ну как же! «Чужое небо» – так назвал книгу стихов Н. Гумилев. Его неожиданная, мученическая смерть явилась для современников олицетворением расправы красного режима над свободным искусством. Взгляд этот разделял и Саша Черный, о чем без обиняков сказано в его предисловии к подборке стихов из «Шатра».

Но кроме этой переклички с Гумилевым, в названии раздела присутствует потаенная связь с собственным «веселым духом» Саши Черного. У каждого истинного поэта присутствуют некие сквозные образы, которые могут служить своего рода знаками их поэтического мира. К примеру, у Тютчева это ночь, у Блока – вьюга, у Пастернака – ливень... Если бы мы задались целью выделить подобный символ поэзии Саши Черного, то, безусловно, им бы явилось слово «солнце». Дело даже не в частотной его повторяемости, а в том, что солнечными лучами пронизано, освещено, согрето все написанное Сашей Черным. И подлинно: есть ли что слаще этой изначальной радости бытия, дарующей жизнь всему существу.

Вчера играло солнце,
И море голубело,—
И дух тянулся к солнцу,
И радовалось тело.

Эта вполне реальная зависимость мироощущения от капризов погоды с улыбкой подмечена в анонимной эпиграмме, появившейся на страницах «Сатирикона» и принадлежащей перу Саши Черного.

Солнце светит – оптимист,
Солнце скрылось – пессимист.

Сочетание слов «чужое» и «солнце» для Саши Черного – антитеза, нечто противоестественное и даже трагическое. Заметим мимоходом, что померкший свет – одна из распространенных метафор литературы первых лет изгнания. «Солнце мертвых» И. Шмелева, «Европейская ночь» В. Ходасевича. Выскажу еще одну догадку: не себя ли самого, бредущего во «тьме чужой и зарубежной», увидел Саша Черный в образе слепца на берлинской панели.

Ведет собачонка
Вдоль стен, как ребенка,
Слепого солдата...
И солнце на нем
Пылает огнем.
Оно ль виновато?

Нет, оно, конечно, не виновато, ибо, даже став чужим, давало возможность продолжить жизнь на «двоюродной родине новой». Поэт иными глазами начинает присматриваться к Германии – стране, давшей приют ему и его соотечественникам. После «русского бушующего ада» отраднo было наблюдать жизнь, протекающую «в извечных медленных трудах», видеть в местных жителях то, от чего давно отвык, – «вежливость, и честность, и веселость». И словно затем, чтобы «забыть проклятый день вчерашний», поэт раз за разом

устремляется из Берлина то в готическое средневековье немецких городков, то в сельскую тишь, то на морское побережье или в горы («как вам каменный бунт описать?»). Описания эти, по правде говоря, зачастую походят на добросовестный отчет о вояже, состоящий из путевых фиксаций и перечислений. Они могли бы показаться скучными и утомительными, если бы не особая избирательность поэтического видения Саши Черного («лягушонок уходит в канаву припрыжкой смешной»). И еще. Если бы от этих прогулок по шумной и пестрой ярмарке жизни не возникало ощущение какого-то бездонного, щемящего сердце одиночества и горечи: «Только мы – полынь в чужих полях». Можно сколько угодно повторять как заклинание: «Ничего не случилось в далекой несчастной земле», но над пышными кронами буков, над черепицей немецких крыш, над пустыней морских вод вновь и вновь перед мысленным взором поэта будет всплывать сияющий купол Святого Исаакия. Не раз он совершит во сне или в воображении прогулки по Петербургу.

Истинно говорят: нельзя унести родину на подошвах башмаков. Да и много ли увезешь в «беженских чемоданах»? Подчас даже маститые писатели, задумав переиздать на чужбине свои старые сочинения, но не имея текстов, вынуждены были давать объявления в газетах о розыске собственных книг. Но вот единственное, что удалось вывезти и сберечь почти всем им – и пишущим, и читающим – это память сердца. Должно быть, пространственная удаленность обостряет духовное зрение, а невозвратность потери заставляет особенно упорно держаться за родное слово, поклоняться национальным святыням. «Ни внутри России – ни прежде – не выстанывалось и не выпевалось столько любви, тоски и веры, сколько у них, оторванных от материнского тела. Надо согласиться: в разлуке они обрели ее больше, глубже, чище и кровней, чем мы здесь, где черты ее от холодной и слепой близости стали стираться» – эти слова принадлежат нашему современнику В. Распутину, пораженному взлетом национального самосознания, открывшегося ему в «возвращенной» литературе эмиграции.

Ностальгия – этот горчайший вздох литературы изгнания – с течением лет не оставался неизменным. Поначалу, когда боль была еще свежа и краски не выцвели, Саша Черный создал целую вереницу стихотворений, объединенных под знаменательным заголовком

«Русская Помпея». Поэт пытался в них воссоздать потерянный и, увы, невозвратимый рай, каким теперь ему виделась прежняя жизнь. Открывался этот раздел строками, в которых чудесным образом соединена трагическая поступь эпитафии и воздушная недостижимая реальность сновидений:

Прокуроров было слишком много!
Кто грехов Твоих не осуждал?..
А теперь, когда темна дорога
И гудит-ревет девятый вал,
О тебе, волнуясь, вспоминаем,—
Это все, что здесь мы сберегли...
И встает былое светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли...

И точно так же, как нельзя вернуть детство, невозможно вернуть былое, вернуться в «огромную, несуразную и милую страну, называвшуюся Россией». Правда, кое-кто подумывал, что со временем обстановка в стране станет более нормальной и тогда начнется возврат на родину. Однако Саша Черный решил для себя окончательно и бесповоротно: «Что бы ни случилось, я не вернусь обратно. Потому что *моей России* более нет и никогда не будет!»

Между тем ситуация в мире менялась. Германия оказалась охваченной жесточайшим экономическим кризисом. Существовавшие и без того на птичьих правах эмигранты вновь были вынуждены пуститься в кочевье. Вот только куда: на восток или на запад? Одни, подобно чеховским сестрам взывавшие: «В Москву! В Москву!», мечтали о советской визе. Другие стремились попасть в Париж, приобретший к 1923 году неофициальный статус общественного и культурного центра русского зарубежья. А что же Саша Черный? Не привыкший «действовать скопом», он неожиданно выбрал «вечный город». Но не потому, что все пути ведут в Рим, как гласит древнее изречение, а скорее всего из-за того, что с Италией были связаны воспоминания о самых светлых и безмятежных днях его жизни.

На сей раз Рим был увиден поэтом не глазами форестьера — путешественника чужестранца, а изнутри — глазами не слишком

желанного гостя, нагрянувшего без приглашения и без средств к существованию. Древний город предстал перед поэтом не своей музейной стороной, не великолепием цветущей природы. Здесь довелось ему встретиться с нагло марширующими фашистскими молодчиками и грохочущими новостройками, теснящими вечность. Для своих прогулок Саша Черный избирает обычно тихие, недостопримечательные уголки, куда не добираются болтливые гиды. Именно здесь он начал заполнять страницы «Римской тетради» – стихотворного цикла, который долго пребывал в рукописном виде, ибо печататься было негде. Русских в Риме проживало мало, а стало быть, своих газет, журналов, издательств там не было. Вот почему, год спустя, Саша Черный решает вновь сменить местожителство и не без труда перебирается в Париж – город, которому суждено было стать конечным пунктом его беженской одиссеи и где он обосновался до конца своих дней.

Дотоле не бывавший в Париже, он с интересом присматривается к будням французской столицы. Рядом шумела чужая, манящая жизнь, со своими соблазнами, обычаями, укладом. Неудивительно, что в его поэтический мир входит простой люд, парижане: каменщики, неспешно беседующие в угловом бистро, и рыболовы, застывшие у парапета Сены, и мастеровые, гоняющие на пустыре мяч, и разноликий контингент парижской подземки, и «собачий парикмахер» – старик, «с лицом значительным и тонким»... Всех их объединяет, по мнению Саши Черного, прочный, обстоятельный быт, в котором воплощены исконные человеческие ценности – добросердечие, порядочность, уважение к своему мастерству, национальная гордость, семейные радости... Все то, к чему так отраднo прикоснуться, хотя бы зрительно, «тайному соглядатаю», каким ощущает себя поэт. Бывает, правда, сорвется что-нибудь едко-острое по адресу «сотен пар двухспальных», заставляющее вспомнить бывшего сатириконца, беспощадного насмешника и ирониста.

Вообще поразительна эта метаморфоза – превращение желчного и ядовитого сатирика в художника иного склада – «самого грустного из тех, кто шутит по профессии, самого незлобного из тех, кто бичует». Это определение, принадлежащее М. А. Осоргину – одному из самых значительных писателей русского зарубежья, перекликается с другим – «невинная проказливость», которое дал юмору Саши

Черного А. Куприн. По-видимому, не только жизнь пообтесала ершистого поэта – само вынужденное и бессрочное плавание в эмигрантском ковчеге заставляло поумерить сатирический пыл, ограничить смех целым рядом табу: «Лежачего бей осторожно, особенно если он твой брат-эмигрант. Помни, что в эмиграции есть своя юмористическая теща из старого „Будильника“: карт-д’идантите (право на жительство. – А. И.), падение курса, оборванный эмигрант, сидящий на чемодане у швейцарской границы, и т. п. милые вещи. Если можно, дорогой Смех, никогда не касайся этих тем... Пожалуйста!»

Но была тема, ради которой Саша Черный не расставался со своим сатирическим колчаном и на чужой стороне. Это – большевизм. Казалось бы, СССР – отрезанный ломоть, что до него поэту? Но он, как и большинство россиян, потерявших отчизну, был прикован мысленно не только к прошлому, но и к творящемуся *там* сегодня, по словам Саши Черного, к «горестной и темной современности, угрюмому и ущемленному советскому быту, столь же непонятному для нас, как Китай иностранцам». Потому, наверное, эмигранты так жадно и ревниво вчитывались в случайно попадавшие на Запад советские газеты и переданные с оказией письма, недоверчиво прислушивались к речам залетных «соловьев», расписывающих красную новь, стараясь уловить хотя бы крупницы правды и уразуметь происходящее в Советской России. Да, родина никак не отпускала их. В сущности, все это было проявлением той же любви, принимавшей порой болезненную форму отрицания. Пожалуй, наиболее емко Саша Черный выразил это раздиравшее его чувство в двуединой поэтической формуле:

Никогда я не забуду,
Никогда я не прощу!

За этими словами кроется многое: и все, что потеряно, и все, кто повинны в этой утрате, кому нет прощения. Отсюда понятно, почему сатиры и эпиграммы Саши Черного в адрес тех, кто внес свою лепту в поругание отечества, в попрание гуманистических устоев, дышат таким «неугасимым неприятием и ненавистью к красному быту,

красному политическому иезуитству и бесчеловечности». Но, как писал А. Блок, ирония – явление не создающего, а разлагающего смеха. Злоба – плохой советчик, и ненависть бескрыла. И еще одно замечание: смех только тогда полнокровен, когда питается непосредственными, живыми впечатлениями, а не их отражениями и пересказами. И потому, мне кажется, далеко не всегда политические инвективы позднего Саши Черного убедительны и достойны его дарования. Впрочем, будем судить по лучшему, что создано в эмиграции: где поэт так же по-донкихотски непримирим, его газетная муза по-прежнему воинственна и язвительна («подсыпает в чернильницу перцу»), а «отравленное перо» остро, гневно и беспощадно.

Мучительное состояние раздвоенности – «ноги здесь, а сердце – там, далече, уплывает с тучей на восток» – не могло длиться долго. Надо было как-то обустроиваться, принаравливаясь к обычаям и условиям жизни общества, давшего приют «осколкам разбитого вдребезги». Мало-помалу начал складываться обособленный «эмигрантский уезд», как не без иронии окрестил Саша Черный это «государство в государстве», почти неслиянное с окружающей действительностью. Оно имело свою прессу, театры, клубы, рестораны, детские приюты и школы, свои землячества, союзы, конгрессы и свои праздники (как традиционные – Рождество, Пасха, так и вновь заведенные – «День русской культуры», «День инвалида», балы прессы и др.). Естественно, что у русской диаспоры появились свои бытописатели и историографы. Так, Н. Тэффи, с присущим ей сарказмом, положила начало жизнеописанию «русского Парижа»: «Это был небольшой городок – жителей в нем было тысяч сорок, одна церковь и непомерное количество трактиров». И впрямь, уездный городишко.

А если всерьез, что, собственно, мы знаем о наших соотечественниках, в силу различных жизненных обстоятельств оказавшихся на чужбине и сполна испивших там чашу физических и душевных страданий? При слове «эмиграция» (речь идет о «первой волне») прежде всего вспоминают прославленные имена – Шалапин и Вертинский, Анна Павлова и Михаил Чехов, Дягилев и Балиев, Рерих и Билибин, Рахманинов и Стравинский, Бердяев и Шестов, Бунин и Алехин... Всех не перечить. Но не следует забывать, что это даже не

надводная часть, а только самая вершина огромного айсберга. Ведь жили и творили те, кто составил цвет русской культуры, не на олимпийских высотах, отъединенных от дольного мира, а среди своих соотечественников, плывущих вместе с ними, «как путники в бурю, на темном чужом корабле». И обращались они прежде всего к ним, в рассеянии сущим, мыкающим долю от Берлина до Харбина, от Сан-Франциско до Сан-Паулу.

Эмигрантское столпотворение перемешало народности, сословия, иерархии старой России. Чистых и нечистых. Сановников и простолудинов. Тех, кто были верноподданы и законопослушны, и тех, кто встречал в штыки любые реформы, направленные на укрепление государственности. И даже тех, кто знаками одобрения встречал сообщения о террористических актах и с упоением выкликал: «Буря! Скоро грянет буря!» Вот и накликали. Теперь этот ковчег, представляющий скелет России, влекло незнамо куда, все далее от родимого порога.

...Как-то мне довелось лицезреть необычное природное явление: плавающий остров. Изрядный кусок суши размером в несколько десятков метров медленно двигался вдоль волжских берегов. Словно видение, мираж – и в то же время достоверно реален и обозрим. На нем колыхались травы; над цветами, казавшимися ярче и привлекательней, нежели те, что росли под ногами, порхали как ни в чем не бывало бабочки. По-своему он был прекрасен, этот отторженец, унесенный бурей. Прекрасен, но обречен. Не суждено ему было прикрепиться к иным берегам. Разве что какие-то семена могли перелететь на материк и, пав на чужую почву, дать всходы среди непривычной флоры, вдали от родимого предела. Вот таким кочующим островом – прекрасным и обреченным – представляется мне эмигрантская Россия. Плыть ей и плыть...

«Куда ж нам плыть?» – над этим мучительным вопросом бились лучшие умы зарубежья. Ответы были разные. Так И. А. Бунин с непререкаемостью библейского пророка провозглашал: «Мы, как Ивиковы журавли, разлетелись по всему поднебесью, чтобы свидетельствовать против русских убийц, и у каждого из нас за пазухой гвоздь для советского гроба». Другие видели миссию русской эмиграции в сохранении духовных родников и национальных святынь, повторяя как девиз: «Мы не в изгнании, мы в послании». Ну а что

оставалось безъязыковой эмигрантской массе, простым бедолагам – доживать свои скудные дни в борьбе за существование и сгинуть без следа в чужой земле? А может – чего уж там! – постараться поскорей отрешиться от прошлого, приспособиться к новым условиям, европеизироваться или американизироваться, найти свою житейскую нишу? Правда есть в каждом из этих путей. Да и возможен ли, право, однозначный ответ?

Но все же что объединяло это множество человеческих одиночеств, заброшенных волей судеб к черту на кулички? Ужели только борьба за выживание заставляла их держаться сообща? Должно быть, ближе других к уразумению смысла русской эмиграции подошел В. Набоков, сформулировав идеалы, под знаком которых жили изгнанные из России, так: презрение, верность и свобода. Это то, что укрепляло дух и жизнеспособность русского человека на чужбине. Если мы сегодня в отечестве своем, имея крышу над головой, с опаской вглядываемся в завтрашний день, то каково было им – без собственного крова, без средств к существованию, без гражданских прав, без знания языка, без навыков к какому-либо ремеслу, ибо в большинстве своем это были люди умственного труда. И тем не менее, они – герои Саши Черного, оказавшиеся на чужбине, – несмотря ни на что сохранили лучшие качества, которые отличали интеллигенцию, – нравственную чистоплотность, добропорядочность, совесть, готовность искупить свои убеждения собственной судьбой.

Стоп! Помнится, в дореволюционных сатирах Саши Черного интеллигент был представлен в иных красках: «худосочный, жиденький и гадкий», «разрешитель проблем мировых»... Но противоречия здесь нет. Надо отличать зло в чистом виде (пошлость, глупость, хамство), которое Саша Черный именовал человеческим бурьяном, рухлядью людской, от недостатков обычного, среднего человека, который «то змей, то голубь – как повернуть». Если по молодости лет поэт-сатирик пытался «повернуть» – исправить нравы, выставляя пороки в кривом зеркале смеха, то испытания и опыт прожитых лет утвердили его в другой истинности: «мудрость жалости порой глубже мудрости гнева». Надо вовсе не изничтожить сатирой «малых сих», придавленных грузом забот и горестей, а помочь им.

Саша Черный не только уверовал в «мудрость жалости» как в некий общий жизненный принцип, но и следовал ему сугубо утилитарно. Надо помочь! Таков смысл многих его стихотворений, призывающих сделать пожертвования на детский приют или приглашающих соотечественников на писательский бал в пользу нуждающихся. Движимый чувством сострадания и любви, поэт никогда не отказывался от практической помощи всем страждущим. Об этом прекрасно сказал М. А. Осоргин: «Всегда, когда бывали сборы на бедных-безработных, на детей или благотворительные вечера, – в числе первых с воззванием выступал А. Черный, участвовал в организации разных такого рода дел и на эстраде выступал не раз. И по личной доброте, и по личному пониманию, что такое нужда, и, конечно, ради единственного радостного удовлетворения, – что вот можно, ничего как будто не имея, дать больше, чем дает имеющий».

Ясно, что этим стихотворным однодневкам, имеющим чисто прикладной характер, суждено было кануть в Лету. Сколько времени и сил поэта ушло на эту черновую работу в ущерб свободному вдохновению! Но недаром любители поэзии втайне уверены, что поэт и в жизни должен походить на свои стихи. Саша Черный, всем своим творчеством исповедующий любовь и добро, не мог быть иным в реальной жизни, в своей земной юдоли.

Думается мне, что подавляющая часть созданного поэтом за годы изгнания носит подвижнический характер. Перед ним, как и перед большинством его собратьев по перу, оказавшихся за границей, возник вопрос: о чем писать и во имя чего? Абстрагироваться ли от горестной и темной действительности, от трагедии русского бездорожья и направить свою творческую фантазию в бесконечность пространств и времен? Избравших эту стезю было немало.

Выбор Саши Черного содержится в его же вопросе, заданном им в одном из писем: «О чем писал бы сейчас Чехов, если бы жил с нами в эмиграции?» Неспроста из всего пантеона отечественной литературы выбран Чехов – писатель, повествовавший о повседневности, об обычной людской мелкоте, обо всех сырых и обездоленных, бредущих во мраке безысходности. Однако, следуя его заветам, надо было не упиваться общей бедой, а, напротив, постараться поднять дух читателя, заставить его улыбнуться,

обнаружив в самой безвыходной ситуации комическое. Безоглядного веселья, конечно, ждать не приходится. В любой усмешке позднего Саши Черного слышатся меланхолические, даже щемящие нотки. Почему?

Потому что только старка
С каждым годом все душистей,
Все забористей и крепче,—
А Цирцеи и поэты...
Вы видали куст сирени
В средних числах ноября?

Подобно неким столпам в эмигрантском наследии Саши Черного возвышаются две поэмы, как бы определяющие круг тем и устремлений поэта в зарубежье: «Дом над Великой» – о прошлом и «Кому в эмиграции жить хорошо» – о настоящем.

В поэме «Дом над Великой» нет пронзительной тоски и боли первых лет изгнания. Любовно и с тщанием поэт фрагмент за фрагментом воссоздает в слове затонувшую «русскую Атлантиду»:

Любой пустяк из прежних дней
Так ненасытно мил и чуден...

Вспомните! Вы помните? – словно рефрен, звучит этот то ли призыв, то ли вопрос. Так ли уж важны бытовые подробности и детали? Зачем цепляться, будто за соломинку, за никчемный сор бытия?

Быт, обиход – это данность, это нечто само собой разумеющееся. Его не замечают, не ценят, как воздух, о котором вспоминают только тогда, когда его не хватает. В сущности, все, что приносит нам удобство, удовольствие, радость, – это и есть жизнь, ее плоть, ее естество, сама фактура. А политические страсти, словесная война, на что тратится столько души и нервов, необходимы лишь затем, чтобы утвердить нормальную жизнь, воплощенную в устойчивом и бесконечно разнообразном укладе. Вот почему Саша Черный не уставал извлекать из своей образной памяти и развешивать перед

читателями «русские миражи», чтобы не забывали «о чудесной, великой стране, в которой мы когда-то жили».

В поэзии русского зарубежья Саша Черный едва ли не единственный, кто взял на себя роль певца и бытописателя «эмигрантского уезда», если, конечно, не считать бойкие перья газетных «злобистов», обычно не идущие в общелитературный счет. Собственно говоря, писательская аристократия и Сашу Черного числила среди подзаборной, шутейной братии. «Стихотворцев-фельетонистов Лоло и Сашу Черного нельзя печатать в „Современных записках“», – обронила в своих мемуарах Н. Берберова. Впрочем, Саша Черный никогда и не стремился в престижные издания, понимая, что самый короткий путь к массовой читательской аудитории – через газету. Вероятно, поэтому все последние годы поэт печатался почти исключительно на страницах «Последних новостей» – самой распространенной и популярной газеты русской эмиграции.

Именно здесь Саша Черный опубликовал поэму «Кому в эмиграции жить хорошо», завершённую незадолго до его кончины. Поэт будто торопился исполнить некий высший долг или предназначение (хотя сам он, разумеется, никогда не выражался столь высокопарно). Кто-то должен был в нашей поэзии эмиграции оставить целостную, масштабную картину уникального явления, о котором В. Набоков писал: «Мы – волна России, вышедшая из берегов, мы разлились по всему миру, – но наши скитания не всегда бывают унылы, и мужественная тоска по родине не всегда мешает нам насладиться чужой страной, изощренным одиночеством в чужую электрическую ночь на мосту, на площади, на вокзале. И хотя нам сейчас ясно, сколь разны мы, и хотя нам кажется иногда, что блуждают по миру не одна, а тысяча тысяч Россией, подчас убогих и злобных, подчас враждующих между собой, – есть, однако, что-то связующее нас, какое-то общее стремление, общий дух, который поймет и оценит будущий историк».

Тема, что называется, носилась в воздухе. Пройтись с некрасовским вопросом по различным кругам эмиграции попытался еще в 1924 году поэт Евг. Тарусский. Правда, его попытка ограничилась всего несколькими главами, помещенными в парижской газете «Вечернее время». Фарсовая тема дореволюционной юмористики «Наши в Европе» обернулась ныне трагедией. Вернее

сказать, трагикомедией, поскольку в беженском быту невзгоды, горести и мороки перемежались с улыбками и гримасами.

Поэма Саши Черного «Кому в эмиграции жить хорошо» представляет собой поистине энциклопедию «русского Парижа» и его окрестностей. Иногда действие переносится в Италию, Африку, на корабль в Индийском океане. Куда только судьба не заносила россиян! Какая разноликая и густонаселенная картина нарисована Сашей Черным! Если обратиться к живописным аналогиям, ее можно уподобить полотнам Брейгеля, где каждая фигура, каждая деталь самоценны. Но в целом разобщенные эпизоды образуют некое композиционное единство, как бы символизирующее многообразие и непрерывность жизни. Причем не оставляет чувство, что многое осталось за рамой – за пределами поэмы.

Герои ее – это знакомые нам по чеховской прозе приват-доценты, курсистки, учителя прогимназий, агрономы, адвокаты, но перенесенные в иноземную обстановку и вынужденные переквалифицироваться в маляров, гадалок, массажисток, книжных коробейников, пансионодержателей... Дела их по преимуществу идут не ахти как хорошо – рискованные предприятия обычно терпят фиаско. Но каким-то чудом они все равно остаются на плаву, не теряют присутствия духа и чувства юмора.

С годами все определенной пристрастие Саши Черного к ординарным, ничем не примечательным людям, где красками не возьмешь, где серые тона могут быть расцвечены только тогда, когда поэт проникает в душу маленького человека. Саша Черный заставляет нас любоваться своими обыденными персонажами. Недаром он вопрошал с некой даже запальчивостью: «Разве тот, кто любит до конца природу, отвергнет крапиву, потому что роза, лучше?» Он как бы преднамеренно идет на самоограничения: имена и фамилии, встречающиеся в его стихах и прозе, стерто-непримечательные – Иван Петрович, Лидия Павловна и т. п. Да что там далеко ходить – главные персонажи поэмы, шествующие по всем ее главам в поисках счастливых: «чернильные закройщики, три журналиста старые – Козлов, Попов и Львов». Именно любовь к простым русским людям позволила автору обнаружить в смешении национальных обычаев, в суеете европейских буден, в тщете и ущербности существования эмигрантов жизнеутверждающее начало и некий проблеск надежды.

Надежды – быть может, иллюзорной и напрасной – на подрастающее поколение, на «маленький народ, не знающий России». Прежде всего для него считает нужным писать Саша Черный. Он хлопочет об издании русских классиков, отобранных им в расчете на маленьких читателей, затевает альманахи «Молодая Россия» и «Русская земля», которые знакомили бы детей эмиграции «с далекой, никогда не виданной, лежащей за тридевять земель родиной». Видимо, лелеял он надежду, что его маленькие друзья вернутся на землю отцов («Когда-нибудь в России ты вспомнишь обо мне»). И надо ли удивляться тому, что в финале поэмы, после хождений по всем кругам «русского Парижа», найден «единственный, без примеси, счастливый эмигрант» – младенец по имени Мишка, «румяный отпрыск Наденькин, беззубый колобок»...

Нам остается перевернуть последнюю страницу эмигрантской эпопеи Саши Черного – самую светлую и самую печальную. Мы начали с того, что полное освобождение поэт испытывал только в единении с природой. Все эти годы он мечтал сменить городскую оседлость, поселиться где-нибудь в мирной и живописной глуши. Удивительно, но на склоне лет его надеждам почти суждено было исполниться. Приобретен был клочок земли близ Средиземного моря, в Ла Фавьере, где обосновалась колония русских эмигрантов (художников, ученых, общественных деятелей). Вскоре на холме, откуда открывался чудесный вид на море и долину, вырос домик, ставший последними пенатами поэта. Здесь поэт мог наконец предаться простым земным отдохновениям и трудам в окружении близких и симпатичных ему людей. Когда-то, давным-давно, еще в России Саша Черный в стихотворном цикле «Мои желания» признался в самом затаенном и казавшемся несбыточным:

Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты...

Сбылось: почтовыми путями полетели отсюда в Париж, на газетную полосу, стихи из «Летней тетради», напоенные звоном цикад, шумом прибоя и солнечным зноем. Но этот полет, как выстрелом, был оборван внезапной смертью поэта. Так получилось,

что в номере с траурной рамкой опубликовано стихотворение «С холма», ставшее, как бы в подтверждение своего названия, вершинным достижением поэта. Оно представляется своеобразным «памятником», имевшим сугубо прикладной, земной и одновременно запредельный характер – что так похоже на музу Саши Черного. Это... скамейка, которую на вершине холма смастерил сам поэт:

В дар любому пилигриму,
Чтоб присел, забыв земное,
И, попыхивая трубкой,
Власть смотрел, как парус в море
Дышит гоголем над шляпкой...

Сколько сказано о высокой простоте, к которой приходят истинные поэты в конце пути. Видимо, это действительно так. По крайней мере судьба Саши Черного – тому подтверждение: словно само Провидение вело поэта. Когда-то, на взлете славы, он отказался от всего, что так нравилось публике, – от яркой образности и эксцентричности стиха. Правда, одного волевого решения, как видно, было недостаточно – нужно было еще пройти через горнило потерь, страданий, изгнания, чтобы в конце концов обрести ту моцартианскую легкость, которой ведаема вся сложность и трагичность жизни. Талант его не потерпел ущерба от тяжести лет. Напротив – приобрел прозрачную отстоенность мудрости и просветленную оптику поэтического видения: отсюда, с вершины, «вдруг стало видимо во все концы света», любо с мудрой и снисходительной улыбкой созерцать человеческую комедию. И еще: какая-то грустная прощальность чудится в этой улыбке, в угасании последней строки, оборванной как бы на полупhrазе...

* * *

Несколько слов о кончине поэта. Произошло это 5 августа 1932 года. Саша Черный помогал тушить лесной пожар (что было не редкостью в Провансе в жаркую пору). Усталый и взволнованный, он

после этого еще трудился на своем участке – на самом солнцепеке, не прикрыв голову неизменной шляпой-канотье. Соседские ребята заметили, что он упал, внесли его в дом, где Александр Михайлович скончался до прибытия доктора. Тихо отошел он в ту страну, откуда никто не возвращается. Так неожиданно оборвалась жизнь, с которой было связано еще столько надежд и чаяний.

Эта трагическая развязка как бы предсказана еще на заре века Андреем Белым. Ему был ведом удел поэта-солнцепоклонника.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.

Хоронили Сашу Черного всем поселком – русские, дети и взрослые, и местные фермеры-французы, с которыми он был дружен. Всеми, кто близко был знаком с поэтом и кто знал его только по книгам, эта утрата была воспринята как личное горе.

...Настоящая фамилия Саши Черного – Гликберг, что означает «счастливая гора». Горестный парадокс судьбы: действительно, в конце пути была «гора», показавшаяся поэту счастливой и в земле которой он навеки успокоился. М. А. Осоргин, сам полжизни бродивший по путям и перепутьям зарубежья, сказал в прощальном слове о Саше Черном: «Счастья ему эта чужая земля дать не могла, как никому из нас не дала и не дает».

И все же фортуна, подарившая поэту «счастливую» фамилию, думается мне, не была слепа. Ибо, несмотря на все превратности судьбы, Саша Черный состоялся как поэт. И сегодня его книги возвращаются из эмигрантского небытия на родину – трудно и не так быстро, как хотелось бы, но они входят в наш духовный обиход.

Анатолий Иванов

Слухи*

Ой, как страшно, ой, как жутко...
Не лишиться бы рассудка!..
Слухов – тьма, как пыли в поле...
Под матрас забраться что ли?
Кто их сеет, – страх иль тупость?
По базару ходит глупость,
То в платке, то в шляпке модной
И горланит всенародно:
«Новость! Чудо! Новость! Чудо!
В Вятке поп родил верблюда,
Фиолетового цвета –
Не к добру, родные, это.
Девять дней все спал да спал он,
На десятый промычал он:
„Запасайтесь, братцы, чаем,–
В сентябре война с Китаем“».
А в Воронеже, слышали,
В бане лешего поймали:
Влили в плотку керосину
И взорвали, словно мину...
Комиссара оглушило...
Восемь банщиков убило!
Прокурор тотчас о лешем
Папе в Рим донес депешей.
Ой-ли-ой! Под Оренбургом
Цеппелин плыл с Гинденбургом,
Зацепил крючком за тучу
И хохочет, пес линючий...
Трубочистов вверх пустили –
Еле-еле отцепили!
Две старухи от испуга
В воду бросили друг друга.
А вчера у Петрограда

По Неве шел слон без зада:
На спине сундук из цинка,
В сундуке с замком корзинка,—
А в корзинке, вот ведь хитрый,
Бывший царь играл на цитре...
Наострил к пруссакам лыжи,
Да поймали... ишь, бесстыжий!
Иль таких рассказов мало?
И не то еще бывало...
С крыши в печь, из печки в двери
Так и бегают, как звери.
А вокруг, развесив уши,
Все стоят и бьют баклуши,
Прибавляют, раздувают
И от страха подвывают.

<1917>

Жажда*

Война*

Песня войны

Прошло семь тысяч пестрых лет –
Пускай прошло, ха-ха!
Еще жирнее мой обед,
Кровавая уха...

Когда-то эти дураки
Дубье пускали в ход
И, озверев, как мясники,
Калечили свой род:
Женщин в пламень,
Младенцев о камень,
Пленных на дно –
Смешно!

Теперь – наука мой мясник, –
Уже средь облаков
Порой взлетает хриплый крик
Над брызгами мозгов.

Миллионы рук из года в год
Льют пушки и броню,
И все плотней кровавый лед
Плывет навстречу дню.
Вопли прессы,
Мессы, конгрессы,
Жены, как ночь...
Прочь!

Кто всех сильнее, тот и прав,
А нужно доказать, –
Расправься с дерзким, как удав,
Чтоб перестал дышать!
Враг тот, кто рвет из пасти кость

Иль – у кого ты рвешь.
Я на земле – бессменный гость,
И мир – смешная ложь!
 Укладывай в гроб,
 Прикладами в лоб,
 Штыки в живот,–
 Вперед!

<<1913?>>

<1923>

Сборный пункт

На Петербургской стороне в стенах военного училища
Столичный люд притих и ждет, как души бледные
чистилища.
Сгрудясь пугливо на снопах, младенцев кормят грудью
женщины,–
Что горе их покорных глаз пред темным грохотом
военщины?..
Ковчег-манеж кишит толпой. Ботфорты чавкают и хлюпают.
У грязных столиков врачи нагое мясо вяло щупают.
Над головами в полумгле проносят баки с дымной кашею.
Оторопелый пиджачок, крестясь, прощается с папашею...
Скользят галантно писаря, – бумажки треплются под
мышками,
В углу – невинный василек – хохочет девочка с
мальчишками.
У всех дверей, склонясь к штыкам, торчат гвардейцы
меднолицые,
И женский плач, звеня в висках, пугает близкой
небылицею...
А в стороне, сбив нас в ряды, – для всех чужие и безликие,
На спинах мелом унтера коряво пишут цифры дикие.

1914

На фронт

За раскрытым пролетом дверей
Проплывают квадраты полей,
Перелески кружатся и веют одеждой зеленой
И бегут телеграфные нити грядой монотонной...
Мягкий ветер в вагон луговую прохладу принес.
Отчего так сурова холодная песня колес?

Словно серые птицы, вдоль нар
Никнут спины замолкнувших пар,—
Люди смотрят туда, где сливается небо с землею,
И на лицах колеблются тени угрюмою мглою.
Ребятишки кричат и гурьбою бегут под откос.
Отчего так тревожна и жалобна песня колес?

Небо кротко и ясно, как мать.
Стыдно бледные губы кусать!
Надо выковать новое крепкое сердце из стали
И забыть те глаза, что последний вагон провожали.
Теплый ворот шинели шуршит у щеки и волос,—
Отчего так нежна колыбельная песня колес?

1914, август

Репетиция

Соломенное чучело
Торчит среди двора.
Живот шершавый вспучило,—
А сбоку детвора.

Стал лихо в позу бравую,
Штык вынес, стиснул рот,

Отставил ногу правую,
А левую – вперед.

Несусь, как конь пришпоренный:
«Ура! Ура! Ура!»
Мелькает строй заморенный,
Пылища и жара...

Сжал пальцы мертвой хваткою,
Во рту хрустит песок,
Шинель жжет ребра скаткою,
Грохочет котелок.

Легко ли рысью – пешему?
А рядом унтер вскачь:
«Коли! Отставить! К лешему...»
Нет пафоса, хоть плачь.

Фельдфебель, гусь подкованный,
Басит среди двора:
«Видать, что образованный...»
Хохочет детвора.

<1923>

На этапе

Этапный двор кишел людьми – солдатскою толпой.
Квадрат казарм раскинул ввысь окошек ряд слепой.
Под сапогами ныла грязь, в углу пестрел ларек:
Сквозь гроздья ржавой колбасы дул вешний ветерок.
Защитный цвет тупым пятном во все концы распух,
От ретирадов у стены шел нудный смрадный дух...
Весь день плывет сквозь ворота солдатская река:
Одни на фронт, другие в тыл, а третьи – в отпуски...
А за калиной, возле бань, в загоне – клин коров:

Навоз запекся на хребтах... Где луг? Где лес? Где кров?..
В глазах – предчувствие и страх. Вздыхают и мычат...
Солдаты сумрачно стоят, и смотрят, и молчат.

<1923>

Атака

На утренней заре
Шли русские в атаку...
Из сада на бугре
Враг хлынул лавой в драку.

Кровавый дым в глазах.
Штыки ежами встали,–
Но вот в пяти шагах
И те и эти стали.

Орут, грозят, хрипят,
Но две стены ни с места –
И вот... пошли назад,
Взбивая грязь, как тесто.

Весна цвела в саду.
Лазурь вверху сквозила...
В пятнадцатом году
Под Ломжей это было.

<1923>

Один из них

Двухпудовые ботфорты,
За спиной мешок – горбом,
Ноги до крови натерты.

За рекой – орудий гром...
Наши серые когорты
Исчезают за холмом.

Я наборщик из Рязани,
Беспокойный человек.
Там, на рынке, против бани,
Жил соперник пекарь-грек:
Обольстил модистку Таню,
Погубил меня навек...

Продал я пиджак и кольца,
Все равно ложиться в гроб!
Зазвенели колокольцы,
У ворот мелькнул сугроб...
Записался в добровольцы
И попал ко вшам в окоп.

Исходил земные дали,
Шинеленка, как тряпье...
Покурить бы хоть с печали,
Да в кисете... Эх, житье!
Пленным немцам на привале
Под Варшавой роздал все.

Подсади, земляк, в повозку,
Истомился, не дойти.
Застучал приклад о доску,
Сердце замерло в груди –
Ветер гнет и рвет березку,
Пыль кружится на пути.

За оврагом перепалка:
Пули елочки стригут...
Целовала, как русалка,
А теперь – терзайся – тут!
Хочешь водки? Пей, не жалко!

Завтра все равно убьют.

<1923>

Привал

У походной кухни лентой –
Разбитная солдатня.
Отогнув подол брезента,
Кашевар поит коня...

В крышке гречневая каша,
В котелке дымятся щи.
Небо – синенькая чаша,
Над лозой гудят хрущи.

Сдунешь к краю лист лавровый,
Круглый перец сплюнешь вбок,
Откроишь ломоть здоровый,
Ешь и смотришь на восток.

Спать? Не клонит... Лучше к речке –
Гимнастерку простирать.
Солнце пышет, как из печки.
За прудом темнеет гать.

Желтых тел густая каша,
Копошась, гудит в воде...
Ротный шут, ефрейтор Яша,
Рака прячет в бороде.

А у рощицы тенистой
Сел четвертый взвод в кружок:
Русской песней голосистой
Захлебнулся бережок.

Солнце выше, песня лише:
«Таракан мой, таракан!»
А басы ворчат все тише:
«Заполз Дуне в сарафан...»

<1923>

Пленные

У «Червонного Бора» какие-то странные люди.
С Марса, что ли, упали? На касках сереют чехлы,
Шинелями, как панцирем, туго затянуты груди,
А стальные глаза равнодушно-надменны и злы.

Вдоль шоссе подбегают пехотные наши михрютки:
Интересно! Воюешь, – а с кем, никогда не видал.
Тем – табак, тем – краюшку... Трещат и гудят прибаутки.
Люди с Марса стоят неподвижнее скал.

«Ишь, как волки!» – «Боятся?» – «Что сдуру трепать
языками...
В плен попал, – так шабаш. Все равно что воскрес...»
Отбегает пехота к обозу, гремя котелками.
Мерно двинулись каски к вокзалу под темный навес.

<1923>

Письмо от сына

Хорунжий Львов принес листок,
Измятый розовый клочок,
И фыркнул: «Вот писака!»
Среди листка кружок-пунктир,
В кружке каракули: «Здесь мир»,
А по бокам: «Здесь драка».

В кружке царила тишина:
Сияло солнце и луна,
Средь роз гуляли пары,
 А по бокам – толпа чертей,
 Зигзаги огненных плетей
 И желтые пожары.

Внизу в полоске голубой:
«Ты не ходи туда, где бой.
Целую в глазки. Мишка».
 Вздыхнул хорунжий, сплюнул вбок
 И спрятал бережно листок:
 «Шесть лет. Чудак, мальчишка...»

<1923>

В операционной

В коридоре длинный хвост носилок...
Все глаза слились в тревожно-скорбный взгляд.
Там за белой дверью красный ад:
Нож визжит по кости, как напилочек,—
Острый, жалкий и звериный крик
В сердце вдруг вонзается, как штык...
За окном играет майский день.
Хорошо б пожить на белом свете!..
Дома – поле, мать, жена и дети –
Все темней на бледных лицах тень.

А там, за дверью, костлявый хирург,
Забрызганный кровью, словно пятнистой вуалью,
Засучив рукава,
Врезает острою сталью
Зловонное мясо...
Осколки костей

Дико и странно наружу торчат,
Словно кричат
От боли.
У сестры дрожит подбородок,
Чад хлороформа, как сладкая водка, –
На столе неподвижно желтеет
Несчастное тело.
Пскович-санитар отвернулся,
Голую ногу зажав неумело,
И смотрит, как пьяный, на шкаф...
На полу безобразно алеет
Свежим отрезом бедро.
Полное крови и гноя ведро...
За стеклами даль зеленеет –
Чета голубей
Воркует и ходит бочком вдоль карниза.
Варшавское небо – прозрачная риза
Все голубей...

Усталый хирург
Подходит к окну, жадно дымит папироской,
Вспоминает родной Петербург
И хмуро трясет на лоб набежавшей прической:
Каторжный труд!
Как дрова, их сегодня несут,
Несут и несут без конца...

<1923>

Легенда

Это было на Пасху, на самом рассвете:
Над окопами таял туман.
Сквозь бойницы чернели колючие сети,
И качался засохший бурьян.

Воробьи распевали вдоль насыпи лихо.
Жирным смрадом курился откос...
Между нами и ими печально и тихо
Проходил одинокий Христос.

Но никто не узнал, не поверил виденью:
С криком вскинулись стаи ворон,
Злые пули дождем над святою мишенью
Засвистали с обеих сторон...

И растаял – исчез он над гранью оврага,
Там, где солнечный плавился склон.
Говорили одни: «сумасшедший бродяга», –
А другие: «жидовский шпион»...

<1920>

В штабе ночью

В этом доме сумасшедших
Надо быть хитрей лисы:
Чуть осмыслишь, чуть очнешься –
И соскочишь с полосы...
Мертвым светом залит столик.
За стеной храпит солдат.
Полевые телефоны
Под сурдинку верещат.
На столе копна пакетов –
Бухгалтерия войны:
«Спешно». «В собственные руки»...
Клоп гуляет вдоль стены.
Сердце падает и пухнет,
Алый шмель гудит в висках.
Смерть, смеясь, к стеклу прильнула...
Эй, держи себя в руках!
Хриплый хохот сводит губы:

Оборвать бы провода...
Шашку в дверь! Пакеты в печку! –
И к собакам – навсегда.
Отошло... Забудь, не надо:
С каждым днем – короче счет...
Перебой мотоциклета
Закудахтал у ворот.

<1923>

Чужая квартира

Поручик Жмых, сорвав с дверей печать,
Нас водворил в покинутой квартире:
Железная, разрытая кровать,
На синей печке кафельные лиры,
На стенке, позабытый впопыхах,
Портрет пригостишки в новой форме.
Лишь час назад, на чьих-то сундуках,
Мы под дождем дрожали на платформе.
Чужой уют... Увы, не в первый раз
Влезаем мы в покинутые гнезда...
Кто у окна, не осушая глаз,
В последний час сквозь сад смотрел на звезды?
Кто вырос здесь, в узорном городке,
Под сенью лип и старого костела?..
Фонарь дрожит в протянутой руке,
Нырнула мышь у шкафа в щелку пола...
«Где чайник, эй?» Раскрыт походный стол.
Трещит свеча в замусленной бутылке,
И вестовой, работая, как вол,
У светлой печки сало жжет на вилке.
Штабс-капитан, разрыв до дна чулан,
Вернулся с книжкой и смеется: «Чехов!»
Спирт – на столе. Кряхтит старик-диван.
Закуска? Хлеб и горсти две орехов...

А завтра вновь отхлынем мы назад,
И, может быть, от этого уюта
Останется обугленный фасад,—
И дажемышь не сыщет здесь приюта.
Храпят носы из серых одеял...
Не оторвать ресниц от милой книжки!
А с койки кто-то сонно пробурчал:
«Возьми с собой портрет приготовишки...»

<<1915?>>

<1923>

Замброво

Под лазаретом

Тих подвал библиотечный.
На плите клокочет суп.
Над окошком чиж беспечный
Молча чистит в клетке чуб.
В нише старого окошка
Спит, клубком свернувшись, кошка,
И, свисая над вазоном,
Льются вниз дождем зеленым,
В ярком солнце трепеща,
Кудри буйного плюща.
На комодe, как павлины,—
Два букета из тафты:
Изумрудные жасмины
И лиловые кусты...
Пред фаянсовым святым
Тени плавают, как дым,
И, томясь, горит на складке
Темно-синий глаз лампадки.
Толстый заяц из стекла
Спит на вязаной салфетке,
Чижик слабо пискнул в клетке

И нырнул под сень крыла.
Летний день горит на шторах.
Там под сводом у дуги
Зашуршал протяжный шорох –
Это раненых шаги...

.....
Скучно им... Порой сюда
Костыли, гремя, сползают:
Люди смотрят и вздыхают,–
И в глазах горит: «Когда?»...

<<1914>>?

<1923>

Варшава. Здание университета

Будни

Мелкий дождик так и чешет,
Так и лупит, так и льет!

По грязному перрону
Шагает тусклый штык...
К товарному вагону
Подъехал грузовик:
Нас пять, у всех лопаты,
Льет дождик... Мгла и мразь.
Понурые солдаты
Слезают молча в грязь.
Рванули дверь вагона
С присловием родным...
Картофельное лоно
Торчит горбом крутым.
Скребем, пыхтим и роем,
Горланит паровик.
Картошка тусклым роем
Влетает в грузовик.

Бросаем взлет за взлетом,
В ногах пищит гнилье,
Дымит солдатским потом
Промокшее белье...
«Шабаш! К собакам! Буде!»
Закрыв рогожей лбы,
Сгрудились в кучу люди,
Как темные гробы.
Друг друга молча греем,
Трясетя грузовик,
А капли липким клеєм
Ползут за воротник.

Мелкий дождик так и чешет,
Так и лупит, так и льет...

<1923>

Отступление

Штабы поднялись. Оборвалась торговля и труд.
Весь день по шоссе громяют обозы.
Тяжелые пушки, как дальние грозы,
За лесом ревут.
Кругом горизонта пылают костры:
Сжигают снопы золотистого жита,—
Полнеба клубами закрыто...
Вдоль улицы нищего скарба бугры.
Снимаются люди — бездомные птицы-скитальцы,
Фургоны набиты детьми, лошаденки дрожат...
Вдали по жнивью, обмотав раздробленные пальцы,
Угрюмо куда-то шагает солдат.
Возы и двуколки, и кухни, и девушка с клеткой в телеге,
Поток бесконечных колес,
Тревожная мысль о ночлеге,
И в каждом глазах торопливо-пытливый вопрос.

Встал месяц – оранжевый щит,
Промчались казаки. Грохочут обозы,–
Все глуше и глуше невидимых пушек угрозы...
Все громче бездомное сердце стучит.

<1923>

Ревизия

Генерал сидит, как Будда.
Вьется пыль...
Словно ржавая посуда,
Дребезжит автомобиль.
Морды встречных лошадей
Столбенеют от испуга,–
Брички лезут друг на друга,
А шофер молчит, злодей...
«Что ж ты, так тебя и так,
Не даешь сигнала, леший?!»
Генерал разжал кулак
И, смутясь, провел по плечи:
«Не выходит... Дуролом!
Ты б, того-с, потише, Павел».
Тот склонился над рулем
И помчался, словно дьявол.
Генерал сидит, как Будда,
Сбоку врач, как Ганнибал,
А мотор, стальная груда,
Ржет, как пьяный Буцефал.
Быстро в госпиталь вошли:
Сбоку шашки, снизу шпоры.
Два служителя вдали
Дуют вскачь по коридору...
Канцелярия, как гроб:
Омертвел письмоводитель,
Перед ним, понутив лоб,

Умиравший смотритель.
«Что ж вы, а? Где главный врач?»
– «Он, Ва-ва-шество, в отлучке...»
Генерал вскочил, как мяч,–
С полчаса тянулась взбучка!
«Где талоны на дрова?
Где фуражный лист ваш? Черти...
Не подсчитан?! Черта-с два!
Эскулап, вы их проверьте!»
Генерал ушел по делу.
Врач остался с фуражом –
Липкий пот пополз по телу
И к ногам скользнул ужом:
Из соломы ль вычесть сено,
Иль с овсом сложить ячмень?
Сколько ест кобыла в день?
Сколько влезет, – несомненно...
Но раскрыть свое профанство,–
Окончательный провал.
Врач геройски подсчитал
И сказал, зевнув в пространство:
«Все в порядке-с. Вот ваш лист.
Экономите на сене...
Впрочем, я специалист
По врачебной гигиене...»
Генерал под шорох шин
Жмет врача тяжелым задом.
Справа рядом
Краснокрестный важный чин.
Между ними, как в гнезде,
Врач сидит с довольной миной.
Вон у ржи по борозде
Важно ходит аист чинный...
Ветер ластится в лицо,
Тело робко молодеет,
Свежий лес, раскрыв кольцо,
За шоссе, кружась, темнеет...

Сердце сильного мотора
Бьется скоро-скоро-скоро,
За спиной
Промелькнула старушонка,
Васильки спешат вдогонку,
Желтый хлеб бежит волной...
Генералу генерал
Молча всунул в рот леденчик,—
И врачу конфету дал,
Улыбаясь, как младенчик...
Вьется пыль,
Дребезжит автомобиль.
Генерал опять, как Будда...
А за лесом вновь разгул:
Эхо пушечного гуда
И протяжный, нудный гул.

<1923>

Ода на оставление доктором Држевецким 18-го полевого госпиталя

Вы слышите сдержанный внутренний плач,
Исполненный скорбью недетской?
Покинул, покинул нас главный наш врач,
Коллежский советник Држевецкий!
Он светел был духом и черен лицом,
И матерью был нам, и был нам отцом...

Всегда у руля, сквозь туманы и тьму
Он вел свой корабль госпитальный.
Со всякою всячиной лезли к нему
И врач, и сестра, и дневальный —
Но все разрешал он, как царь Соломон:
Разумно — согласен, нелепица — вон!

Любил чистоту он, как юноша ром,
Чуть что, багровел он, как свекла,
Зато даже мухи не смели при нем
Садиться и гадить на стекла...
И щетки, и швабры, и метлы весь день
За каждым окурком гонялись, как тень.

С утра он по лестнице мчался в галоп:
То в ванной мелькнет, то у пробы,
Минута – сидит и глядит в микроскоп,
Как вертят хвостами микробы,
Мгновенье: стоит в амуничных дверях –
И мчится фельдфебель к нему на рысях...

Больных обряжали ли спешно в отъезд, –
Как тигр, он гонял по палатам,
С челом непокрытым летал на подъезд
И черта сулил провожатым...
Отправит – и снова грохочут слова:
«Не шаркай туфлями! Халат в рукава!»

О том, как умел он писать рапорта,
Здесь память еще не угасла:
Об отпуске ль дойных коров из гурта,
Об отпуске риса и масла...
И рок никогда к нему не был суров:
Давали и масло, и дойных коров...

А как восседал он за общим столом!
Как шах, как пружина из стали!
И сестры с опущенным долу челом
Гирляндой его окружали...
Сидел он и ел, и за всем его взор
Следил, как за хором следит дирижер.

Ушел... Овдовели теперь мы, увы...
Воскликнем же с нежностью детской:

Да будут пути его мягче травы!
Да здравствует доктор Држевецкий!
Он светел был духом и черен лицом,
И матерью был нам, и был нам отцом.

*1917, 2 февраля
Псков*

Памяти генерала К. П. Губера

Жил старик в Житомире, в отставке,
Яблони окапывал в саду,
А пришла война, поднялся с лавки
И, смеясь, сказал родным: «Пойду!
Стар? Ну что ж, и старики нужны.
Где мои с лампасами штаны?»

Днем и ночью ездил он вдоль фронта,
Воевал с холерой, с сыпняком.
Козырек огромный в виде зонта
Всем врачам был в армии знаком.
Пищу пробовал, нещадно гнал воряг,
Не терпел ни трусов, ни бумаг.

Лез в окопы проверять приказы:
Как одеты? Что едят и пьют?
И у всех ли есть противогазы?
Чуть не так – наладит в пять минут.
И в окопах вслед ему порой
Раздавалось: «Это, брат, герой!»

А когда в дни лютой суматохи,
В дни, когда ломился русский стан,
Лазареты мчались, словно блохи,
И на станциях томились сотни ран,—
Сколько раз бессонный генерал,

Как коня, смирял безумный шквал.

Труд бессменный, слякоть, ночи в поле,
Все он снес – такой уж был закал.
В Петербург далекий поневоле
С армией на отдых он попал –
Простудился и в крупозке злой
Сгинул в утро, брезжущее мглой.

Хоронили в полдень на Смоленском.
Пели трубы, люди в ногу шли.
На гробу, овеян плачем женским,
Козырек защитный плыл вдали.
Воробьи чирикали кругом...
Все-таки не голый фронт, а дом.

Спи, старик! Ты был и прост и честен.
Сколько жизней ты сберег в полях...
Подвиг твой был людям неизвестен –
Пусть цветет в моих простых стихах.
Пусть цветет... Ты вовремя ушел
В тишину лазурных, вечных сел.

<1923>

Сестра

Сероглазая женщина с книжкой присела на койку
И, больных отмечая вдоль списка на белых полях,
То за марлей в аптеку пошлет санитаря Сысойку,
То, склонившись к огню, кочергой помешает в углях.

Рукавица для раненых пляшет, как хвост трясогузки,
И крючок равномерно снует в освещенных руках,
Красный крест чуть заметно вздыхает на серенькой блузке,
И, сверкая починкой, белье вырастает в ногах.

Можно с ней говорить в это время о том и об этом,
В коридор можно, шаркая туфлями, тихо уйти –
Удостоит, не глядя, рассеянно-кротким ответом,
Но починка, крючок и перо не собьются с пути.

Целый день она кормит и чинит, склоняется к ранам,
Вечерами, как детям, читает больным «Горбунка»,
По ночам пишет письма Иванам, Петрам и Степанам,
И луна удивленно мерцает на прядях виска.

У нее в уголке, под лекарствами, в шкафике белом,
В грязно-сером конверте хранится армейский приказ:
Под огнем из-под Ломжи в теплушках, спокойно и смело,
Всех в боях позабытых она вывозила не раз.

В прошлом – мирные годы с родными в безоблачном Пскове,
Беготня по урокам, томленья губернской весны...
Сон чужой или сказка? Река человеческой крови
Отделила ее навсегда от былой тишины.

Покормить надо с ложки безрукого парня-сапера,
Казака надо ширмой заставить – к рассвету умрет.
Под палатой галдят фельдшера. Вечеринка иль ссора?
Балалайка затенькала звонко вдали у ворот.

Зачинила сестра на халате последнюю дырку,
Руки вымыла спиртом, – так плавно качанье плеча,
Наклонилась к столу и накапала капель в пробирку,
А в окошке над ней вентилятор завился, журча.

<1923>

На поправке

Одолела слабость злая,
Ни подняться, ни вздохнуть:
Девятнадцатого мая
На разведке ранен в грудь.

Целый день сижу на лавке
У отцовского крыльца.
Утки плещутся в канавке,
За плетнем кричит овца.

Все не верится, что дома...
Каждый камень словно друг.
Ключ бежит тропой знакомой
За овраг в зеленый луг.

Эй, Дуняша, королева,
Глянь-ка, воду не пролей!
Бедра вправо, ведра влево,
Пятки сахара белей...

Подсобить? Пустое дело!..
Не удержишь – поплыла,
Поплыла, как лебедь белый,
Вдоль широкого села.

Тишина. Поля глухие,
За оврагом скрип колес...
Эх, земля моя Россия,
Да хранит тебя Христос!

На Литве*

Докторша

I

Шумит, поет и плещет Вилия.
Качается прибрежная пшеница...
У отмели – сырая колея,
А в чаще дом – приземистая птица.
Я поведу вас узкою тропой, –
Вы не боитесь жаб и паутины? –
Вдоль мельницы пустынной и слепой,
Сквозь заросли сирени и малины...
Вот здесь, за яблоней, уютно и темно:
Под серым домом борт махровой мальвы.
Игрушка детская уставилась в окно,
А у порога щит с приветом «Salve»^[1]
Скорее спрячьте в яблоню лицо!
На песню пчелок в липовых сережках
Ребенок пухлый вышел на крыльцо,
Качаясь робко на неверных ножках.
Как хорошо жужжит в траве родник!
Как много в небе странной синей краски!
И вдруг свинье, взрывающей цветник,
Смеясь, грозит кистями опояски...
А мать сквозь сад идет на шум в овин,
В высоких сапогах, в поблекшем платье,
Спешит, перелезает через тын, –
Хранит свое добро от местных братьев.
Грубеют руки, сердце и душа:
Здесь сад, там хлев, и куры, и коровы.
Старуха нянька бродит, чуть дыша,
И все бубнит, вздыхая, о Тамбове...

Муж пал в борьбе с мужицким сыпняком.
Одна среди полей и печенегов,
Она, как волк, хранит дитя и дом
От злых поборов и лихих набегов...
Продаст – обманут, купит – проведут,
За каждый ржавый гвоздь тупая свара,–
Звериный быт сжал сердце, словно спрут,
Все дни в грызне – от кухни до амбара.
Но иногда, как светлый добрый гость,
Зайдет кузнец иль тихая крестьянка –
И вот, стыдясь, бежит из сердца злость...
Войдут, вздохнут. В платочке меду банка.
О муже вспомнят: как он их лечил.
Посетуют на новые затеи.
Кузнец серьезный, – руки в сетке жил,
Тугой платок прильнул к воловьей шее...
Комод раскроет, зазвенев замком,
Даст кузнецу пакет грудного чая,
А гостье лифчик с синим пояском –
И вновь в окно засмотрится, скучая.
Клубясь, плывут над садом облака.
Работа ждет: все злей торопит лето...
В стекло стучится детская рука
С багряно-желтой кистью бересклета.

II

Уходит в даль грядой литовский лес.
Внизу полотна розовой гречихи.
Сквозь клочья сосен мреет плушь небес,
А в бурой чаще бродит ветер тихий...
Клокочет ключ, студеная вода.
На мшистом пне, к струям склонивши плечи,
Сидит она, сбежавши от труда,
И жадно ловит плеск болтливой речи.

Вода звенит о радости земной,
Вода шумит о вечности мгновенья.
На ярких мхах горит веселый зной,
И муравьи бегут у ног в смятенье.
У пня в лукошке пестрый клад грибов:
Лимонные в оборочках лисички,
Моховики – охапки толстых лбов
И ветка лакированной бруснички.
Она встает, вздыхая, и идет:
Спешит сквозь лес к полям и огороду,
Теленка приласкает у ворот
И бросит в будку хлеба псу-уроду.
Табак подсох, на нижних листьях пыль,
Пора срывать, развешивать вдоль крыши...
Под грушу грузную, кряхтя, воткнет костыль,
Шугнет свиненка из балконной ниши...
Пройдет к реке и долго смотрит вдаль:
Там, далеко, за виленской землею,
Угрюмо бродит Русская Печаль
В пустых полях, поросших лебедою.
Там близкие: сестра, и брат, и мать.
Но где? Но живы ль? Нет путей оттуда...
Когда б их всех под этот кров собрать,
Вся жизнь вокруг здесь расцвела б, как чудо!
Проснулся б серый дом и огород...
Что ей одной и кровля и избыток!
И труд бы стал ей радостью забот,
И плыл бы день за днем, как светлый свиток...
Она глядит: вдоль бора ожил путь,
В песке клячонки напрягают ноги,
Плетутся беженцы. В глазах тупая жуть.
В телегах скарб, лохматый и убогий.
Так каждый день: как будто из могил,
Они бредут за шагом шаг оттуда, –
И каждый ей желанен был и мил,
Как старый гость среди чужого люда.
Бежит, – расспросит... Горек их ответ.

Телеги завернет к своей калитке:
Идет в чулан, и вмиг готов обед,
И все, что есть, спеша раздаст до нитки...
И вот опять в долину новых бед,
Скрипя, ползут невзрачные повозки.
Она стоит и молча смотрит вслед.
Шумит река. Качаются березки.

III

Седая ночь из сада смотрит в дом.
Шуршат кусты, и сонно стонут ставни.
Спираль обоев свесилась винтом,
Под ней на стенке – замок стародавний.
Горит свеча. На тонкое лицо
Дрожащий свет упал косым румянцем.
На рваной скатерти домашнее винцо,
И чай, и сыр, и булки с темным плянцем.
У докторши сегодня пир горой:
И дом другой, и вся она другая –
Сегодня утром в тишине сырой
К ней постучалась путница чужая.
С большим мешком на худеньких плечах,
Косясь сквозь сад на алые амбары,
Она, сияя в утренних лучах,
Спросила: «Где дорога в Кошедары?»
И как-то так, как в поезде порой,
Они разговорились незаметно, –
Ребенок рассмешил ее игрой,
И яблони кивнули ей приветно...
И вот осталась. В поздний темный час,
Как две сестры, они шептались тихо,
И пальцы их сплетались много раз,
А ночь в окно смотрела, как волчиха:
Россия – заушенье – боль – и стыд,

И лисье бегство через сто рогаток,
И наглый бич бессмысленных обид,
И будущее – цепь немых загадок...
Вплетая в шепот все растущий плеск,
В саду запел дорожный колоколец.
Беспечный смех – и черных веток треск,
И лай собак из всех глухих околиц...
Трещит крыльцо. Влетают впопыхах
Веселые, как буйные цыганки,
С кулками и пакетами в руках
Три гости, три знакомых хуторянки.
Под темным небом толстый самовар
Опять гудит и мечет к звездам пламя,
А в комнате раздолье и угар, –
Хохочет докторша, трясется замок в раме...
Журчит-звонит болтливый разговор:
«В обмен на соль добыли две холстины,
И воз жердей купили на забор!
И засушили куль лесной малины!..»
Мужчины *там*... Вернутся ли назад?
Воюют? Сгинули? С востока нет ни слова.
А жизнь не ждет – и хлев, и луг, и сад
Зовут к работе властно и сурово.
Ни книг, ни нот... Движенья их резки,
И руки жестче дланей амазонок...
Смеются, пьют. К свече летят жуки.
В соседней спальне кротко спит ребенок.

IV

Проходят дни... В аллее свет и тень,
Под липами лениво пляшут блики.
Тяжелый жернов, вдвинутый на пень,
Оброс вокруг усами ежевики...
В конце аллеи севший на бок склеп:

За ржавой грудью выгнутой решетки
Портрет врача, венки, истлевший креп,
И глаз лампадки, розовый и кроткий.
Кричит петух. В колодезной бадье
Полощутся лохматые утята.
Сквозь сеть малины промелькнул в ладье
Старик-кузнец, отчаливший куда-то.
Перед крыльцом понурый пегий конь,
В тележке куль: мука – одежда – птица...
Раскрыла двери смуглая ладонь,
И вышла докторша и новая жилища.
Опять на Запад, к новым берегам, –
Напрасно та всю ночь ее молила
Остаться здесь, где кров и птичий гам,
Поля и труд, и гладь речного ила...
Нельзя! На Запад! Где-то там отец,
Она его напрасно ищет с мая...
Ее знакомый, виленский купец,
Видал его в Дармштадте у трамвая...
Возница влез на козлы и молчит.
Уходит гостя в дом обнять ребенка,
Вернулась, села, – мягкий гул копыт,
И вот опять в кустах нырнула лошаденка...
Опять одна... Веранда спит в лучах.
В окне играет мирно с нянькой Лиза.
Собака спит на старых кирпичках,
И тмин висит у пыльного карниза.
Пошла полоть в дремучий огород,
За ней гурьбой вихлястые утята...
Но труд постыл, – и снова от ворот
Идет в поля на зов реки косматой.
Слетелись галки к отмели косой.
За Вилией штыки на солнце блещут...
Хлеба под ветром льются полосой,
И волосы из-под платка трепещут.
Вдали у бора снова цепь телег:
Скрипят-ползут печальным длинным рядом.

Безудержный, мятущийся набег
Из русского бушующего ада.
Она стоит и смотрит: не понять!..
Тучнеет хлеб в томлении ленивом,
Синеет даль. Стрижей веселых рать
Влетает в гнезда под речным обрывом.
У отмели – сырая колея.
Ребята плещутся. Щенок за уткой мчится...
Шумит, поет и плещет Вилия,
Качается прибрежная пшеница.

<1922>

Оазис

*Они войдут в сады эдемские, по которым
текут реки: там для них все, чего ни захотят.*

Коран, гл. 16, ст. 33

Когда душа мрачна, как гроб,
И жизнь свелась к краюхе хлеба,
Невольно поднимаешь лоб
На светлый зов бродяги Феба,—
 И смех, волшебный алкоголь,
 Наперекор земному аду,
 Звеня, укачивает боль,
 Как волны мертвую наяду...

Любой зеленый летний день,
Домишко, елка у оврага,
Добряк-приятель, зной и тень –
Волнуют небывалой сагой...
 Сядь, Муза, вот тебе канва,—
 Распутай все шелка и гарус,
 И пусть беспечные слова

Заткут узором вольный парус!

.....
Матвей Степаныч, адвокат,
Владелец хутора под Вильно,
Изящно выгнув торс назад,
Сказал с улыбкою умильной:
 «Ну что ж, задумчивый поэт,
 Махнем-ка к тетушке на хутор?
 Там воздух сладок, как шербет,
 Там есть и сыр, и хлеб, и буттер...»

И вот пошли. Плывут поля...
Гудит веселый столб букашек.
Как паруса вдоль корабля,
Надулись пазухи рубашек.
 Бормочет пьяный ветерок,
 От елок тянет скипидаром.
 Степаныч жарит сквозь песок,
 А я за ним плетусь омаром.

Пришли! Внизу звенит река
Живой и синенькой полоской.
Вверху с ужимкой старика
Присел на горке домик плоский.
 На кухне тетушка стучит.
 В столовой солнце – древний пращур...
 Матвей Степаныч ест, как кит,
 А я, как допотопный ящур!

Еда – не майский горизонт
И не лобзание русалки,
Но без еды и сам Бальмонт
В неделю станет тоньше палки...
 Господь дал зубы нам и пасть
 (Но, к сожаленью, мало пищи),–
 За целый тощий месяц всласть

Наелись мы по голенище!..

Ведро парного молока!
Горшок смоленской жирной каши,
Бедро соленого быка
И две лоханки простокваши!!!
Набив фундамент, адвокат
Идет, икая, на крылечко.
Я сзади, выпучив фасад,
Как растопыренная печка.

Перед крыльцом свирепый пес
Раскрыл зловеще глазнапы,
Но вдруг раздумал, поднял нос
И положил на грудь мне лапы.
Сирень, как дьявол, расцвела!
Глотаю воздух жадной глоткой.
Над носом дзыкает пчела,
И машет липа мощной щеткой.

Пошли в лесок и сели в тень.
Степаныч сунул в рот былинку,
Надвинул шляпу набекрень
И затянул свою волынку:
«Интеллигентный блудный сын,
К сосцам земли припал я снова...
Как жук, взобравшийся на тын,
Душа в лазурь лететь готова!

Старик Руссо вполне был прав:
Рок горожан ужасно тяжек...
Как славно среди коров и трав
Дня три прошляться без подтяжек!
Поесть, поспать, пойти в поля,
Присесть с пастушкой возле ели...
Земля! Да здравствует земля!..
Какого черта, в самом деле!..»

«Какой, вздохнул я, там Руссо!
Здесь – хутор, в городе – клиенты.
Лицо, как круглое серсо...
Бывают, брат, милей моменты:
 Пиджак редет, как вуаль,
 В желудке – совестно поведать...»
Племянник, пасть уставив вдаль,
Орет нам издали: «О-бе-дать!»

Опять едим! О, суп с лапшой,
Весь в жирных глазках, желтый, пылкий...
На стул трехногий сев пашой,
Степаных ест, как молотилка...
 «Что слышно в городе?» – «Угу».
 Напрасно тетушка спросила:
 Кто примостился к пирогу,
 Тот лаконичен, как могила...

В гостиной – рыхлая софа,
На дне софы – живот и пятки.
Дымится трубочка. Лафа!
Синьор, уснули? – Взятки гладки.
 Как морж, храпит мой визави,
 На лбу колышется газета,
 И мухи в бешенстве любви,
 Жужжа, флиртуют вдоль жилета.

На стенке в бусах и чадре
Висит грудастый бюст Тамары.
Запели пилы на дворе,
Душа напевнее гитары...
 Шуршат страницы под рукой:
 «Война и мир», «Новейший сонник».
 Слежу, прильнув к столу щекой,
 Как едет в небо подоконник...

Но вот в стекло ползет закат,
Краснея, словно алкоголик.
В столовой мисками стучат...
Не обойтись, увы, без коллик!
 Кряхтя, приятель мой встает,
 Ворчит спросонья заклинанья
 И долго смотрит на живот,
 Как Чингисхана изваянье.

Хлопочет тетушка опять
И начиняет нас, как уток.
Вдвоем пудов, пожалуй, с пять
Съедим мы здесь в течение суток!
 «Матвей, дай гостю бурачков»...
 Трещат все швы! Жую, как пьяный,—
 А сон, знай, мажет вдоль зрачков
 Тягучим клейстером нирваны.

Племянник Степа, свесив зоб,
Сопит и тычет гвоздь в винтовку.
Лень встать, а то как ахнет в лоб,
Так будешь к празднику с обновкой...
 Клопочет толстый самовар.
 Внутри – четыре круглых рожи...
 Зудит, как муха, сонный пар.
 Внизу рычит ночной прохожий.

Бросаем «Ниву» к псам под стол,—
Пред тетушкой склоняем шею
И, зверски вдавливая пол,
Плетемся к старичку Морфею.
 Увы, ужасный диссонанс!
 О, где перо Торквато Тассо?!
 Мильоны блох, прервав свой транс,
 Вонзились сразу в наше мясо...

На чреве, бедрах и боках

Мы били их, как львов в Сахаре!
Крутили яростно в перстах,
На свечке жгли... Какие твари!..
Мой друг в рубашке на полу
Сидел бледнее туберозы
И принимал, гремя хулу,
Невероятнейшие позы...

Едва к рассвету замер бой.
Вокруг кольцом белье мерцало.
Лохматый, сонный и рябой,
Я влез с башкой под одеяло
И слышал, как, во сне бурля,
Степаныч ерзал по постели:
«Земля! Да здравствует земля!
Какого черта, в самом деле!»...

1919, Вильно

Американец

I

Осенний день. Ленивый веер солнца
Озолотил зловонные дворы.
В разинутые с улицы ворота
Прохожие оглядывали хмуро
Знакомый с детства виленский пейзаж:
Извилистые, старые дворы,
Жестянки у склоненного забора,
Дымящиеся кучи у помоек,
Углы сырых, заросших грязью стен
И желтые навозные ручьи.
А улица? Ущелье нищеты:
Горб мостовой, телегами изрытый,

Потоки жидкой слякоти с боков,
Мостки, как клавиши, избитые до дыр,
И коридор домов, слепых, как склепы.
Но солнце, старый, опытный художник,
В куске пивной бутылки и в алмазе
Горит одним божественным огнем...

* * *

Снопы лучей сквозь чахнувший калинник
Широко брызнули на длинный хвост детей:
В платках, в отрепьях, в полах одеял,
В облезлых материнских кацавейках
Змеилась тихая понурая толпа –
И лишь глаза, как мокрые галчата,
Блестели ярко в этой куче рвани.
В худых руках, повисших вяло вниз,
Болтались кружки, крынки и жестянки.
Близ самых маленьких, как факелы тоски,
Стояли матери иссохшие Рахили...
Сейчас вздохнет заплатанная дверь,
Кирпич, дрожа, на блоке вверх ползет –
И каждый сморщенный покорный человечек
Свое сокровище вдоль улиц понесет:
Дымящееся темное какао,
И молоко, и белый ломоть хлеба
С блестящей коркой нежно-золотистой...
У матерей заискрятся глаза, –
Пусть, как всегда, лишь горстью чечевицы
Они обманут голод свой тупой,
Для матери, так повелось от Евы,
Улыбка сытого ребенка слаще манны...

* * *

Из двери вышел бритый человек.
Он точно с Марса в эту грязь попал:
Прищуренные зоркие глаза,
Неспешные спокойные движенья,
Полупоходная манчестерская куртка,
Ботинки – два солидных утюга,
Как зебра, полосатый макинтош,
Портфель под мышкой, трубка меж зубов...
Такой же точно, только без портфеля,
И в шлеме пробковом на круглой голове –
Качался б он средь двух горбов верблюда,
Исследуя излучины Замбези...

* * *

Внимательно склонившись к первой паре,
Он матери сказал: «Сейчас откроют» –
И медленно пошел вдоль мостовой,
Передобеденный свершая моцион.
Романтиком он не был, видит Бог,
Но если в мире вымирают дети
(Какие, где и как – не все ль равно?) –
Нельзя сидеть, склонясь над прейскурантом,
Подсчитывать в конторе барыши
И равнодушно отмечать в газетах:
«Погибло столько-то. Зимой вымрут все».
Есть общества «защиты лошадей»
И «поощренья шахматных турниров»,
О детях только люди позабыли.
Прервав «дела» с такими же, как он,
Он переплыл в далекую Европу

И вот попал в нелепый город Вильно...

* * *

Передобеденный свершая моцион,
Он шел вдоль стен и думал в сотый раз:
Вокруг леса и тучная земля,
И нет чумы, и солнце мягко светит,—
Откуда эта злая нищета,
Берлоги, грязь, приниженность и стоны?
За ряд веков не научились жить?
Медведь в бору живет сытей и чище...
А здесь – война, разгромы, темный бред,
Пещерный век под знаком пулемета...
Что ж, накормить нетрудно. И одеть...
Но дальше? Как из этой дряблой глины
Построить радостный, достойный жизни дом?

* * *

Он шел, – и у замызганных лавчонок,
С селедкой одинокою в окне
И мухами засиженной лепешкой,—
Его почтительно поклоном провожали
Старухи в париках и старики-кощеи,
Замученные кашлем и трахомой.
Он хмуро отвечал и ускорял шаги,
Как будто чувствовал себя немного виноватым
За свой здоровый вид, приличную одежду
И твердый взгляд собой владевших глаз.

Спускаясь с осенью раскрашенных холмов,
Где кладбище немецкое дремало,—
Невольно он сдержал упругий шаг.
Кольцо лесов на дальних мягких склонах
Узорной лентой окружало город.
Над рябью крыш вставали колокольни,
В лиловой дымке пела тишина...
Проспект Георгиевский сразу охладил
Декоративный пыл осенней кисти:
В запряжке пленные, чуть двигая ногами,
Везли к реке в возах военный скарб.
По сторонам лениво полз конвой.
Один из пленных, сдернув боком шапку,
За милостыней робко подбежал.
У фонаря проплыл балетной рысью
Чиновник польский в светлом галуне,
Расшитый весь до пяток алым кантом.
За сумасшедшей, нищею старухой.
Похожей на испуганную смерть,
Гурьбой бежали дети и визжали,
Лупя ее рябиной по плечам.
С угла сорвался, ерзая локтями,
Лихач на худосочной Россинанте...
Американец выколотил трубку,
Сердито буркнул: «Дикая страна» —
И в ресторан направился обедать.

II

Лил гулкий дождь. Вдоль ржавых желобов
Свергались с монотонным плеском струи.
Последний человек, торчавший на углу

С своей столетней неизменной фразой:
«Пальто резиновое, может быть, вам надо?»,
Давно исчез и жалобно храпел
В подвале под тряпичным одеялом...
На мертвой площади в зловещие лари
Врывался вихрь и хрипло в щелях выл.
Гремели вывески. На лужах билась рябь.
Патруль укрылся в банковском подъезде.
Далекие ночные фонари
Перекликались бледными лучами...

* * *

По улице шел бритый человек
С портфелем вечным, стиснутым под мышкой.
Косящий дождь, заборы, ребра стен
И плещи луж его не угнетали.
Он был лишь зрителем – как будто перед ним
Чернела четкая, старинная гравюра.
Ему казалось: к этой жизни злой
С войной и голодом, болезнями и грязью
Такой пейзаж подходит до смешного...
Он возвращался от знакомого врача:
Шагая вкось по комнате угрюмой,
Врач говорил ему, что там и сям
В кварталах старых вспыхнули болезни,
Что люди мрут в зловонной тесноте,
Что мало рук, что иссякают средства...
Американец быстро про себя
Перебирал, шагая вдоль заборов,
Кому писать, кто даст и кто не даст,
И как верней беду схватить за плотку.
Он шел к себе – работать до утра, –
Он иногда любил работать ночью...

Но вдруг во тьме среди подъема в гору,
Пять силуэтов заградили путь:
Безмолвная игра. Смысл и без слов был ясен.
Он прыгнул вбок, сжал браунинг в ладони,—
Тьма, пять зверей и ни души кругом...
В портфеле – документы, письма, деньги,
Фонарь проклятый у врача остался,—
А в темноте, увы, плохая драка...
Что ж, надо защищаться. Тусклая луна
Сквозь тучу рваную блеснула вдруг по склону...
Как он упал, увы, не знал он сам,
Кого-то в грудь ногой, как пса, отбросил,
И, лежа на плече в ночной грязи,
Тупую боль в боку вдруг ощутив,
Приподнялся на локте, стиснул рот
И вытянул вперед стальную руку:
Рванулся снап мгновенного огня,
За ним – другой, и третий, и четвертый...—
Треск разорвал молчание холмов,
Клубком сплелись крик, хриплый стон и брань,
Кого-то волокли в дыру забора –
Поспешный шорох шлепающих ног,
Далекий хруст кустов... и тишина.
Американец вытер влажный лоб,
Встал на колени, быстро чиркнул спичкой:
Рука в крови, портфель пробит ножом,
Бок? Ничего... Саднит, – но так, не очень.
Встряхнулся, встал и медленно пошел
Назад к врачу дорогою пустынной.
«Собаки! Впятером на одного...
Трусливые ночные обезьяны –
Ограбить даже толком не умеют!»

* * *

Служанка-полька вышла на звонок
И, на груди придерживая платье,
Невольно отшатнулась: «Матерь Божья!»
И в самом деле странная картина –
Недавний гость их, прислонясь к перилам,
В грязи, как негр, валявшийся в канаве,
Ее же успокаивал глазами
И быстро палец приложил к губам.
В квартире вспыхнула ночная суета,
Склонясь к клеенке узкого дивана,
Врач обнажил темневший кровью бок:
– «Ну, пустяки. Удар был не испанский.
Или, верней, портфель вас спас, мой друг.
Я ведь просил остаться у меня...
Кто по ночам теперь по Вильно рыщет?
Ночные сторожа – и те, забившись в будки,
Рассвета ждут и проклинаяют ночь».

* * *

Американец распрямил колени
И, отдыхая после перевязки,
Ему глазами на пол указал,
Где, колесом раскинув рукава,
Пальто валялось грязное у кресла:
«В кармане трубка и табак. Спасибо».
Сквозь нос пуская пряди голубые,
Под абажур струящиеся вверх,
Гость вдруг привстал и куртку застегнул:
«Я отдохнул. Благодарю – прощайте!»
Врач вспыхнул: «Сумасшедший человек!
Куда же вы? Ей-Богу, странный спорт...»

Американец, одеваясь, усмехнулся:
«Я не игрок, и я в своем уме.
Напрасно вы шумите. Дождь утих...
А те трусливые полночные гиены
Давно рассеялись, поверьте мне, во тьме
И где-нибудь в харчевне за рекой
Дрожат от страха и зализывают раны.
Другие? Что ж... Кто может запретить
Своим путем домой мне возвращаться?»
И, отклонив настойчивые просьбы,
Он вежливо простился, взял фонарь,
По лестнице спустился осторожно
И тою же дорогою обратно
Пошел к себе, спокойный, словно дог.

III

За окнами осклизлый скат холма.
Размытой глины рваные зигзаги
Сбегали вниз к промокнувшим мосткам.
Рябина реяла уныло на юру.
Колючей проволоки темные узоры
Края холма сетями заплели.
Прильнув к стеклу балконной старой двери,
Пробитой пулями почти у потолка,
Стояла девушка, смотрела в вышину,
На голову седой косматой тучи,
Сердито проплывавшей над оврагом.
У входа в лог, в песчаном углубленьи
Три дня уже лежало чье-то тело:
Глухой старик, больной бездомный нищий,
Шел тихо в гору после девяти,—
Он не откликнулся на оклик патруля
И пулей в спину был убит на месте...
Вздыхнула девушка, как каждый день вздыхала,

Ей этот холм всю душу измотал.

* * *

На кашель тусклый повернув плечо,
Она угрюмо посмотрела в угол:
Собрат по бегству, русский агроном,
И местный адвокат играли в шашки...
Так каждый день. А после – разговор
О том, что было б, если б да кабы...
К холодной печке строгий взор склонив,
Она сама с собой заговорила:
«Так странно. Здесь весь город говорит
Об этом янки... Ах, герой, герой!
А он, должно быть, и забыл давно
Об этом приключении нелепом.
Ему не снится даже, что вокруг
Его героем трусы величают.
Он так же методично, как всегда,
В свои столовые шагает неизменно,
А если завтра темной ночью вновь
Его судьба столкнет с пятью ножами –
Он так же хладнокровно, как тогда,
Один бесстрашно будет защищаться...
Все это так же просто для него,
Как утром чашка кофе или чая...
Кто он – не знаю. Квакер, может быть,
А может быть, делец с хорошим сердцем...
Но вы слышали ли в былые дни у нас,
Чтоб кто-нибудь в Москве иль Петербурге
Оставил кров свой, близких и дела
И к голодающим вдруг в Индию помчался?
Ведь на диване всласть поговорить
Гораздо легче, чем срываться с места».
Она умолкла. Шашки на столе

Все так же по доске передвигались...
«Так странно... – вновь она сказала тихо,
Сама с собой печально рассуждая,–
Когда б у нас такие люди были,
Бежать бы было незачем сюда».

* * *

Съев у врага все шашки до последней,
Ей агроном, зевая, возразил:
«Увы, мы не Ринальдо Ринальдини,–
Но вы слышали, Лидия, не раз
О тысячах погибших на войне
Отважных до безумья русских людях?
Да и в гражданской бойне, с двух сторон,
Немало смелых сгинуло в сраженьях.
О них тома бы можно написать,
Которые не снились и Майн Риду.
А наше бегство? Сколько нас, таких,
Чей каждый шаг опаснее, пожалуй,
Чем путешествие средь австралийских дебрей».
Она взглянула на далекий холм.
Косые капли вновь о стекла бились.
«Все знаю, знаю... Бегство и война,
Война и бегство... Шалая отвага.
Костер до неба, через день – горсть пепла,
Все – судьи, и никто не виноват...»

* * *

Допив холодный чай свой, адвокат
Протер пенсне и с кротким сожаленьем
(Так с дамами всегда он говорил,

Когда они пускались в рассужденья)
Сказал: «О чем вы спорите, – не знаю.
Принципиально – я белобилетник
Во всех военных и гражданских войнах.
Я не эксперт – кто храбр и кто не храбр.
Но если б ваш герой-американец
Обыкновенным был совдепским смертным
И где-нибудь в Москве на Вшивой горке
Подвергся вдруг ночному нападению –
И браунинг отважно в ход пустил,
То, смею думать, в случае успеха
Его б постигла все же злая участь:
Примчавшийся на выстрелы патруль
Героя вашего ухлопал бы на месте
За... незаконное ношение оружия...
Все это принимая во вниманье,
Пожалуй, он бы там не защищался,
А как и все – покорный, как баран,
Уныло б поднял обе лапы кверху...»
Рассматривая плачущую даль,
Она ему ни слова не сказала...
Опять лишь стены поняли ее.
Опять три правды... Этот краснобай,
Практичный трус, влюбленный лишь в себя,
Ведь тоже прав с своей ужасной правдой...
Размытой глины рваные зигзаги
Желтели под дымящимся дождем,
И даль была так тускло-безнадежна,
Что серые, печальные глаза
Невольно позавидовали трупу,
Лежавшему в песчаном углубленьи
Недвижным и сереющим клубком.

В тот день американец, как всегда,
В свой ресторан отправился обедать.
Когда он наклонился над тарелкой,
К нему слуга неслышно подошел
И положил на стол хрустящий сверток.
Он развернул холодную бумагу
И удивленно опустил глаза:
Средь чайных роз таинственно белел
Клочок картона с именем его
И надписью косою по-французски:
«От русской девушки». И больше ничего.
Американец добродушно усмехнулся,
Понюхал розы, повертел записку
И снова наклонился над тарелкой,
Дымившей паром в бритое лицо.

<1923>

Яблоки

На рогадинах корявых ветви грузные лежат.
Гроздья яблок нависают, как гигантский виноград...
Их весь день румянит солнце, обвеваает ветерок,
И над ними сонно вьется одуревший мотылек.
А внизу скосили травы, сохнет блеск густых рядов,
И встревоженные пчелы ищут, жалуясь, цветов...
Сколько яблок! В темных листьях сквозь узлы тугих сетей
Эти – ярче помидоров, те – лимонов золотей.
Подойдешь к тяжелой ветке и, зажмуривши глаза,
Дух их радостный вдыхаешь, как хмельная стрекоза...
Посмотри! Из-под забора поросята влезли в сад –
Приманил и их, как видно, духовитый аромат:
Оплянулись вправо-влево, как бы не было беды,
И накинулись гурьбою на опавшие плоды.
Ходят ноги, ходят уши, ходят хвостики винтом,
А взволнованная кошка притаилась за кустом...

Непонятно ей и странно: разве яблоки еда?
В синем небе сонно тает белоснежная гряда.
И до самого забора, до лохматой бузины
Гроздь яблонь расцвели тень зеленой глубины.
Пахнет осенью и медом, пахнет яблочным вином.
Петушок веселым басом распевает за гумном...

<<1919>>

<<1921>>

Кошечары

«На миг забыть – и вновь ты дома...»

На миг забыть – и вновь ты дома:
До неба – тучные скирды,
У риги – пыльная солома,
Дымятся дальние пруды,
Снижаясь, аист тянет к лугу,
Мужик коленом вздел подпругу,–
Все до пастушьей бороды,
Увы, так горестно знакомо!
И бор, замкнувший круг небес,
И за болотцем плеск речонки,
И голосистые девчонки,
С лукошком мчащиеся в лес...
Строй новых изб вдаль вывел срубы.
Сады пестреют в тишине.
Печеным хлебом дышат трубы,
И Жучка дремлет на бревне.
А там под сливой, где белеют
Рубахи вздернутой бока,–
Смотри, под мышками алеют
Два кумачовых лоскутка!
Но как забыть? На облучке
Трясется ксендз с бадьей в охапке,
Перед крыльцом, склонясь к луке,

Гарцует стражник в желтой шапке.
Литовской речи плавный строй
Звенит забытою латынью...
На перекрестке за горой
Христос, распластанный над синью.
А там, у дремлющей опушки
Крестов немецких белый ряд:
Здесь бой кипел, ревели пушки...
Одни живут – другие спят.

Очнись. Нет дома – ты один:
Чужая девочка сквозь тын
Смеется, хлопая в ладони.
В возах – раскормленные кони,
Пылят коровы, мчатся овцы,
Проходят с песнями литовцы –
И месяц, строгий и чужой,
Встает над дальнею межой...

<1922>

Утром («Если взять насос за хобот...»)

Если взять насос за хобот,
Всхлипнет мерный скрип,
В глубине раздастся ропот,
Вздохи, плеск и хрип,
И из темного раструба
Хлынут в чан ключи:
Подставляй ладони... Любо!
Мойся и рычи...

Утро в двор вползло туманом.
Яблони молчат.
Солнце факелом румяным
Подожгло весь сад.

Не узнать утят весенних:
Ростом с матерей,
С гвалтом лезут на ступени
Кухонных дверей.

Щепка взвилась, как галчонок,
Из-под топора.
Замечтался поросенок
Посреди двора...
За крыльцом у мшистой будки
Власть зевает пес.
«Что? Не выпался за сутки?
Стыдно? Спрятал нос?»

В огороде вянет вяло
Чахлая ботва.
Покосить?.. В саду у вала
Есть еще трава...
Грудь в плену размахов гибких,
Цокает коса,
Лоб и плечи в каплях липких,
Над спиной – оса.

<1922>

Подарок

Видали вы литовские, цветные пояса?
Как будто вдоль овса –
Средь маков васильковая струится полоса.

Я у ксендза-приятеля в июле был в гостях.
Средь белых стен, как стяг,
Из поясов настеганных ковер дышал в дверях.

Хозяин сузил щелочки веселых, добрых глаз:

«Понравилось? Алмаз!
От прихожан в день ангела. Хоть шаху напоказ!..»

В окошко к нам тарасился подсолнечник дугой,
На скатерти рябой
Штоф сидра, мед, вареники и окорок тугой.

Смеясь, мне ксендз показывал мозоли крепких рук:
«Все сам – и сад, и луг,
И свиньи с поросятами, и огород, и плуг».

Мадонна в звездном венчике сияла со стены.
Кот жался у спины.
У сада жеребеночек звенел среди тишины.

Хозяин на прощание полез в свой сундучок:
«На память, мой дружок!»
И подарил мне радужный, литовский поясок.

Веселым этим поясом я очень дорожу...
Сказать вам? Я скажу:
Какая книга нравится, ту им и заложу.

<1922>

Аисты

В воде декламирует жаба.
Спят груши вдоль лона пруда.
Над шапкой зеленого граба
Топорщатся прутья гнезда.

Там аисты, милые птицы,
Семейство серьезных жильцов...
Торчат материнские спицы
И хохлятся спинки птенцов.

С крыльца деревенского дома
Смотрю – и, как сон для меня,
И грохот далекого грома,
И перьев пушистых возня...

И вот... От лугов у дороги,
На фоне грозы, как гонец,
Летит, распластав свои ноги,
С лягушкой в клюве отец.

Дождь схлынул. Замолкли перуны.
На листьях – расплавленный блеск.
Семейство, настроивши струны,
Заводит неслыханный треск.

Трещат про лягушек, про солнце,
Про листья и серенький мох,–
Как будто в ведерное донце
Бросают струю горох...

В тумане дороги и цели,
Жестокие, черные дни...
Хотя бы, хотя бы неделю
Пожить бы вот так, как они!

<1922>

Табак

Над жирной навозной жижей
Кустанся табачные листья.
Подойдем вдоль грядок поближе,
Оборвем порыжевшие кисти.
Ишь, набухли, как рыхлые губки...
Подымайте-ка, ксендз, ваши юбки!

Под крышей, над тихой верандой
Мы развесим листья пучками
И, плавно качаясь гирляндой,
Они зажелтеют над нами.

Такой же пейзаж янтарный
Я видал на коробке сигарной.

Будем думать, что мы на Цейлоне...
Впрочем, к черту Цейлон, – не надо!
Вон пасется на солнечном склоне
Литовское пестрое стадо:

Мчатся черные свиньи, как шавки,
Конь валяется томно на травке.

Набьем табаком наши трубки.
Пусть струится дымок лиловатый...
Как пестры деревенские юбки
Вдоль опушки у новой хаты!

На закате туда мы нагрянем
И душистого меду достанем.

Я поэт, а вы ксендз литовский, –
Дай вам Бог и сил и здоровья!
Налетает ветер чертовский
И доносит мычанье коровье,
А за дымом, вдоль склонов нагорий
Колыхается сизый цикорий.

<1922>

Могила в саду

В заплохшем саду колыхаются травы.
Широкие липы в медвяном цвету
Подъемлют к лазури кудрявые главы,

И пчелы гудят на лету.
 Под липой могила:
 Плита и чернеющий орденский крест.
 Даль – холм обнажила.
 Лесные опушки толпятся окрест.

От сердца живого, от глаз, напоенных цветеньем,
К безвестным зарытым костям потянулась печаль...
Кто он, лейтенант-здоровяк, навеки спеленутый тленьем,
Принесший в чужие поля смертоносную сталь?
 Над Эльбою в замке
 Мать дремлет в стенах опустелых,
 А в траурной рамке –
 Два глаза лучистых и смелых...

Литовское небо дрожит от пчелиного хора.
Пушистый котенок лениво прижался к щеке.
Осколок снаряда торчит из земли у забора –
Клуб ржавых колючек сквозь маки сквозит на песке...
 Вдали над оврагом
 Конь плугом взрывает пласты
 И медленным шагом
 Обходит густые кусты.

<1923>

Чужое солнце*

С приятелем («Сероглазый мальчик...»)

I

Сероглазый мальчик, радостная птица.
Посмотри в окошко на далекий склон:
Полосой сбегает желтая пшеница,
И леса под солнцем, как зеленый сон.
Мы пойдем с тобою к ласковой вершине
И орловской песней тишину вспугнем.
Там холмы маячат полукругом синим,
Так играют пчелы над горбатым пнем...
Если я отравлен темным русским ядом,
Ты – веселый мальчик, сероглазый гном...
Свесим с камня ноги, бросим палки рядом,
Будем долго думать, каждый о своем.
А потом свернем мы в чащу к букам серым.
Сыроежек пестрых соберем в мешок.
Ржавый лист сквозит там, словно мех пантеры,
Белка нас увидит – вскочит на сучок.
Все тебе скажу я, все, что сам я знаю:
О грибах-горькушах, про житее ежей,
Я тебе рябины пышной наломаю...
Ты ее не помнишь у родных межей?
А когда тумана мглистая одежда
Встанет за горой, – мы вниз сбежим свистя.
Зрей и подымайся, русская надежда,
Сероглазый мальчик, ясное дитя!..

II

Мы с тобой два знатных иностранца:
В серых куртках, в стоптанных туфлях.
Карусель кружится в ритме танца
И девчонки ввысь летят в ладьях...
Вдосталь хлеба, смеха и румянца,
Только мы – полынь в чужих полях.

Опустивши худенькие плечи,
Теребишь ты тихо мой мешок
И внимаешь шумной, чуждой речи,
Как серьезный, умный старичок.
Ноги здесь, а сердце там, далече,
Уплывает с тучей на восток.

Над лужком холмов зеленый ярус
Манит нас раздольной тишиной.
Бок шатра надул под ветром парус,
Собачонка лает за спиной...
Карусель взвевает свой стеклярус
И кружится, словно шар земной!

Солнце – наше, горы – тоже наши...
Ты послушай, что поет поток:
В голубой, для всех раскрытой чаше,
Тонет все – и запад и восток...
Будет жизнь и радостней и краше...
Хочешь, купим глиняный свисток?

На углу закрикали тромбоны:
Впереди двенадцать медных труб.
Сзади – пары, девочки-бутоны.
Сколько ярких, деревенских губ!
Закачались белые колонны
И пошли плясать в прохладный клуб.

Улыбнись, поправь свою подвязку,
Веет ветер, в путь зовет, злодей!

Мы в лесу напишем нынче сказку,—
Там, где пахнет сыростью груздей,—
Про людей, любивших смех и пляску,
Никого не мучивших людей...

III

Все местечко засыпает,
На закате – сноп пожаров.
С колокольни долетает
Девять медленных ударов.
 Мальчик, спать!
Под немецкую перину, в исполинскую кровать.

Рано? Дай мешок со стула,
Перечтем-ка небылицу,
Как летал кузнец Вакула
На чертенке к нам в столицу.
 Знаешь, да?
Эта сказка, словно песня у полтавского пруда...

Кот немецкий в удивленье
Водит спинкою сутулой.
Ты раскрыл глаза в волненье,
Ты умчался за Вакулой...
 Вечер тих.
Электрическая лампа освещает нас троих.

Прочитали. Спит мальчишка.
Кот колдует на пороге.
На полу – родная книжка.
В небе – месяц златорогий.
 Проживем!..
Завтра утром к водопаду на свидание пойдем.

Кем ты будешь? Ученым, свободным ученым!
Мясников слишком много и так.
Над блевотиной лжи, над погостом зловонным
Торжествует бездарный кулак...
 Дьявол сонно зевает,
 Лапой нос зажимает:
Двадцать слов, корка хлеба и мрак.

Может быть, ты откроешь бациллу прохвостов?
Против оспы ведь средство нашли.
Гроздя лозунгов новых наряднее тостов,—
В середине – холодные тли.
 Каин тучен и весел,
 Нож сверкает у чресел,
Холм невинных все выше вдали...

Может быть, ты сумеешь в достаточных дозах
Суп из воздуха выжать для всех?
Укрощенное брюхо возляжет на розах,
Вспыхнет радость, беспечность и смех –
 И не будет причины
 Верить в святость дубины,
В ритуал людоедских потех.

Ты в оглобли труда запряжешь водопады,
И приливы, и ветер, и град:
Полчаса поработал и пой серенады,
Дуй в свирель и соси виноград...
 Шахт не будет бездонных,
 Глаз не будет бессонных,
Люди станут добрее цыплят.

Что-нибудь с идиотами сделать бы надо:
Обязательно средство найди!

С каждым часом растет их крикливое стадо,—
Рот под мышкой, глаза позади,
 Дважды два – то семнадцать,
 То – четыреста двадцать,
Граммфон в голове и в груди.

Я, увы, не увижу... Что поделаешь, – драма...
Ты дождешься. Через лет пятьдесят –
(Говорила в Берлине знакомая дама) –
Вся земля расцветет, словно сад...
 Спит мальчишка, не слышит,
 Разметался и дышит.
В небе мертвые звезды горят.

V

Каждый встречный на дороге
Говорит нам: «Добрый день!»
Мир и вам, чужие люди
Из окрестных деревень!

Оглядят нас – улыбнутся...
Ясен взор их добрых глаз,
Но тоска непримирима,
Но в душе глухой отказ.

Мальчик мой, пойдем скорее!
Вон тропинка вьется в лес:
Там безлюдно, как в пустыне,—
Шум ветвей и ширь небес.

Ты мне сны свои расскажешь,
Я тебе их объясню.
Улыбнемся старой елке,
Камню, бабочке и пню...

К скалам в глушь пойдём мы в гости
По зеленому хвощу.
Никогда я не забуду,
Никогда я не прощу!

<1920>

Солнце («На грязь вдоль панели...»)

На грязь вдоль панели
Из облачной щели
Упали лучи –
Золотые мечи.
Запрыгало солнце
На прутьях балконца,
Расплавилось лавой
На вывеске ржавой,
От глаз через рынок
Столб рыжих пылинок,
Бульдог на повозке
Весь в блеске, весь в лоске,
Отрепья старушки,
Как райские стружки –
Трепещут и блещут,
Сквозят и горят...
В окне ресторанном,
Цветисты и пылки,
Бенгальским фонтаном
Зарделись бутылки,
На шапках мальчишек
Зыбь пламенных вспышек,
Вдоль зеркала луж –
Оранжевый уж...
И даже навоз,
Как клумба из роз.

А там на углу,
Сквозь алую мглу,
Сгибаясь дугой,
На бечевке тугой
Ведет собачонка
Вдоль стен, как ребенка,
Слепота солдата...
И солнце на нем
Пылает огнем.
Оно ль виновато?

<1923>

Берлин

«На берлинском балконе...»

На берлинском балконе
Солнце греет ладони,
А усатый и дикий густой виноград –
Мой вишневый сегодняшней сад.
Много ль надо глазам?
Наклоняюсь к гудящим возам,
На мальчишек румяных глазаю,
И потом в виноград, как в аллею,
Окунаю глаза.
А вверху – бирюза,
Голубой, удивительный цвет,
Острогранной больницы сухой силуэт,
Облака
И стрижей мимолетно-живая строка...
Надо мной с переплета жердей
Темно-рыжий комочек глядит на прохожих людей.
Это белка – мой новый и радостный друг...
Жадно водит усами вокруг,
Глазки – черные бусы.

Ветер, солнце и я – ей по вкусу...
Посидит-посидит,
А потом, словно дикий бандит,
Вдруг проскачет галопом по зелени крепкой,
Свесит голову вниз и качается цепко
Над моей головой,
Как хмельной домовой...
Достаю из кармана тихонько орех:
Вмиг мелькнет вдоль плеча переливчатый мех,
И толкает в кулак головой, как в закрытый сарай:
– «Открывай!» –
Солнце греет ладони...
Посидим на балконе
И уйдем: белка в ящик со стружками спать,
Я – по комнате молча шагать.

<1923>

Поденщица

Рано утром к русским эмигрантам
В дверь влетает с сумкой Эльза Шмидт.
Влезет в фартук с перекрестным бантом
И посудой в кухне загремит.
В бледных пальцах вьется мыло с тряпкой,
На лице – фиалки честных глаз.
На плите змеисто-синей шапкой
Под кофейником ворчит веселый газ...
В лавку вниз, как легкий вихрь, помчится,
Ищет-рыщет, где бы посходней:
«Чужестранцы эти, словно птицы», –
Чуть косит усмешка круг бровей...
И опять на кухне пляшут локти,
Шелуха винтом сползает вниз,
Наклонясь над раковиной, ногти
В светлых брызгах моют скользкий рис.

Как пчела, она неутомима...
Вытрет кафель, заведет часы.
Вдоль стены чисты, как херувимы,
Спят на полках банки и весы.
Руки моют, а глаза мечтают –
Завтра праздник, день «своих» хлопот:
Там за Шпрее, где вишни зацветают,
Ждет ее игрушка-огород.
С сыном Максом, увальнем-мальчишкой,
Сельдерей посадит и бобы...
На плите котел запрыгал крышкой –
Заструились белые столбы...
В дверь всплывает эмигрант-учитель,
Бородатый, хмурый человек.
На плечах российский старый китель,
За пенсне мешки опавших век.
Эльза Шмидт приветливее солнца:
«Кофе, да? Устали? Я налью...»
И в стакан, туманя паром донце,
Льет кофейник черную струю.
«Дети? Я давно их напоила.
В сквер ушли – сегодня славный день...
Закупила сахару и мыла...
И сирени... Чудная сирень!»
Эльза Шмидт закалывает ворот,
Сняв свой фартук, словно крылья, с плеч.
«Побегу». – «Куда?» – «На стирку в город».
И ушла, убрав ведро под печь.
Китель свесил с табурета полость, –
Засмотрелся эмигрант в окно:
Вежливость, и честность, и веселость...
Он от них отвык уже давно.

<1923>

Весна в Шарлоттенбурге

Цветет миндаль вдоль каменных громад.
Вишневый цвет вздымается к балкону.
Трамваи быстрые грохочут и гремят,
И облачный фрегат плывет по небосклону...
И каждый луч, как алая струна.
Весна!

Цветы в петлицах, в окнах, на углах,
Собаки рвут из рук докучные цепочки,
А дикий виноград, томясь в тугих узлах,
До труб разбросил клейкие листочки –
И молодеет старая стена...
Весна!

Играют девочки. Веселый детский альт
Смеется и звенит без передышки.
Наполнив скрежетом наглаженный асфальт,
На роликах несутся вдаль мальчишки,
И воробьи дерутся у окна.
Весна!

В витрине греется, раскинув лапы, фокс.
Свистит маляр. Несут кули в ворота.
Косматые слоны везут в телегах кокс,
Кипит спокойная и бодрая работа...
И скорбь растет, как темная волна.
Весна?

<1921>

В Гарце

Из белых полей, замутненных разгулом метели,
Врывается в улицы дикий, разнузданный рев,
Злой ветер взбивает-клубит снеговые постели,
Дымятся высокие кровли, заборы и штабели дров...

Мальчишки довольны: им в вязаных куртках не зябко,
Младенца на санках везут, метель не собьет их с пути,
Мигают витрины, спит башня под снежной шапкой,–
Забитых январскою пудрой часов не найти...
Глаза фонарей в сетку хлопьев ныряют устало,
Встревоженный пес человека зовет на углу,
Острее впивается в щеки морозное жало,
И елки лопочут за садом на снежном валу.
К почтовому ящику цепко иду я сквозь вьюгу,
Фонарь, как маяк, излучает мерцающий свет:
Сегодня письмо отправляю далекому другу –
Заложнику скифов – беспомощный, братский привет.

<1923>

«Когда, как бес...»

Когда, как бес,
Летишь на санках с гор,
И под отвес
Сбегает снежный бор,
И плещет шарф над сильною рукой,–
Не упрекай за то, что я такой!

Из детства вновь
Бегут к глазам лучи...
Проснулась кровь,
В душе поют ключи,
Под каблуком взлетает с визгом снег,–
Благословен мальчишеский разбег!

Но обернись:
Усталый и немой
Всползаю ввысь,
Закованный зимой...
За легкий миг – плачу глухой тоской.

Не упрекай за то, что я такой.

<1923>

Корчевка

Хочешь сказку? Нынче днем
Я бродил в лесу по склонам,
Видел яркий мох под пнем
И лужок в пуху зеленом.
На холмах – январский снег,
А в бору трава живая!
Вглубь стремя веселый бег,
Нить журчала ключевая...

По шоссе везли дрова,
Кони были шире печки.
В небе стыла синева
И волнистые колечки.
Возле бора среди камней
Люди молча, шаг за шагом,
Обошли вокруг старых пней –
И исчезли за оврагом...

Гулко рявкнул динамит:
Сноп земли поднялся с пнями...
Словно тысячи копыт
В медь ударили над нами!..
Я смотрел: здесь будет Новь,
Труд упорный вспашет поле –
И под темным бором вновь
Зашумят хлеба на воле.

<1923>

Гарц

В старом Ганновере

В грудь домов вплывает речка гулко,
В лабиринте тесном и чужом
Улочка кружит сквозь переулки,
И этаж навис над этажом.
Карлики ль настроили домишек?
Мыши ль грызли узкие ходы?
Черепицы острогранных вышек
Тянут к небу четкие ряды.

А вода бежит волнистой ртутью,
Хлещет-плещет тускло-серой мутью,
Мостики игрушечные спят,
Стены дышат сыростью и жутью,
Догорает красный виноград.

Вместе с сумерками тихо
В переулок проскользни:
Дня нелепая шумиха
Сгинет в дремлющей тени...
Тускло блещет позолота
Над харчевней расписной,
У крутого поворота
Вязь пословицы резной.
Переплеты балок черных,
Соты окон – вверх до крыш,
А внизу, в огнях узорных,
Засияли стекла ниш, –
Лавки – лакомее тортов:
Маски, скрипки, парики,
Груды кремовых ботфортов
И слоновые клыки...
Череп, ломаная цитра,
Кант, оптический набор...
Как готическая митра,
В синей мгле встает собор:
У церковных стен застывших –
Лютер, с поднятой рукой,

Будит пафос дней уплывших
Перед площадью глухой...
Друга нет – он на другой планете,
В сумасшедшей, горестной Москве...
Мы бы здесь вдвоем теперь, как дети,
Рыскали в вечерней синеве.
В «Золотой Олень» вошли бы чинно,
Заказали сыра и вина,
И молчали б с ним под треск камина
У цветного, узкого окна...
Но вода бежит волнистой ртутью,
Хлещет-плещет тускло-серой мутью.
Мостики игрушечные спят.
Стены дышат сыростью и жутью.
Друга нет – и нет путей назад.

1922

Глушь

Городок, как сон средневековый:
Красных кровель резкие края,
В раме улиц – даль, поля, коровы
И речонки синяя струя...

А октябрьский ветер реет-свищет,
Завивает плащ вокруг плеча.
И тоска чего-то жадно ищет
Средь уютных складок кирпича.

Целый день брожу неутомимо
По горбатой старой мостовой.
Строй домишек проплывает мимо.
Фонари кивают головой.

На порогах радостные дети.

За дверями мир и тишина.
Пышный плющ вдоль стен раскинул сети.
Сверху девушка смеется из окна...

За углом скелет пустого храма:
Кирпичи и палка с петухом.
Дремлет сад – цветная панорама,
Сонно бродят гуси с пастухом.

Прохожу вдоль старого погоста.
Спят кресты, краснеет виноград.
Жили долго – медленно и просто –
Внуки их во всех дворах шумят...

Машет мельница веселыми крылами,
Мелет хлеб. Вдоль роц скрипят возы.
Прохожу под серыми стволами,
Сквозь гирлянды вянущей лозы.

Никого. Вокруг цветная осень.
Тишина. Густой и прелый дух.
Руки буков расцветили просинь.
Тихо вьется паутинный пух...

Кролик вынырнул из норки под сосною.
Пятна солнца. Ласковая тень.
Опускаюсь, скован тишиною,
И лежу, как загнанный олень.

Ветер треплет заросли ореха.
Черепица рдеет за рекой.
Бог, услышь! – В ответ смеется эхо.
Даль зияет вечной пустотой.

У Эльбы

Внизу, над всей террасой,
Цветущих груш каскад
Качает белой массой
С весенним ветром в лад,
 И бабочки-летуньи –
 Кольцо крылатых снов,
 Как желтые колдуньи,
 Снуют в дыму цветов...
А ручей вдоль стен лопочет,
Толстых уток пеной мочит,
С легким плеском плиты точит
 И стремглав через карниз
Прямо к Эльбе, к быстрым водам,
К хриплым старым пароходам
 Мчится вниз!

Балкон тесней коробки.
Сноп солнца прямо в грудь.
Все прошлое – за скобки...
А дальше? Как-нибудь!
 Вон алые подушки
 Свисают кипой роз.
 Вдоль скал сквозят опушки
 Застенчивых берез.
Мреют грифельные крыши,
В мгле ущелья дремлют ниши.
Кто поверит? Кто услышит?
 Жабы в складках влажных плит?
Скорбь на облаке далеком
Смотрит вдаль бессонным оком
 И молчит...

У Эльбы пляшут сходни.
Сойти к парому? Ленъ.
Миндаль раскрыл сегодня

Коралловую сень.
В магнолии цветущей
Шуршанье птичьих крыл,
А бор зубчатой кущей
Все дали затопил.
Каждый куст мудрей Сократа,
Каждый пенёк милее брата...
Наклоняюсь виновато:
С плеском брызнула волна.
По траве прошли три утки.
Кошка вылезла из будки.
Тишина...

<1923>

В Саксонской Швейцарии

С фрейлен Нелли и мистером Гарри
Мы покинули мутный Берлин.
Весь окутанный облаком гари,
Поезд мчался среди тусклых равнин.
Очертели нам плоские дали...
Но вдоль Эльбы за Дрезденом вдруг
Лента скал среди туманной вуали
Потянулась гирляндой на юг.

Мы приехали в тихую Шмильку,
Деревушку среди складок двух гор.
Женский труп, вдвинув плечиком шпильку,
Нам принес бутербродов бугор.
Мы сидели в отеле «Zur Mühle»^[2]
Пел ручей на семьсот голосов,
Печь сверкала, как солнце в июле,
Домовой куковал из часов.

Ночью было мучительно трудно:

Под перину прокрался мороз!
В щель балкона тоскливо и нудно
Рявкал ветер, как пьяный матрос...
Коченели бездомные пятки,
Примерзали к подушкам виски,
На рубашке застыли все складки,
И живот замирал от тоски.

Утром в стекла ударило солнце.
Мутно-желтый и заспанный диск
Был скорее похож на японца,
Но в восторге мы подняли писк.
Скалы к окнам сбегались зигзагом,
Расползался клочками туман.
Под балконом за мшистым оврагом
Помахал нам платком старикан.

Если вы не взбирались на скалы,—
Как вам каменный бунт описать?..
Вниз сбегают зубцами провалы,
К небу тянется хвойная рать...
Шаг за шагом, цепляясь за корни,
Ноги вихрем вздымают труху.
Только елка трясется на дерне,
Только эхо грохочет вверху...

Ах, как сладко дышать на вершине!
За холмами сквозят города,
Даль уходит в провал бледно-синий,
Над грядою взбегает гряда.
В глубине — хвост извилистой Эльбы
И козлов одичалых гурьба...
Эх, пальнуть всем втроем в эту цель бы,—
Да из палок какая ж стрельба!

День за днем — пролетели орлицей,
Укатило за лес Рождество...

У плененных берлинской столицей
Так случайно с природой родство...
Женский труп, украшенье «Zur Mühle»,
Подавал нам сногшибательный счет:
Затаивши дыханье, взглянули
И раскрыли беспомощно рот.

На пароме мы плыли в тумане.
Цвел огнями вокзальный фасад,
Пар над Эльбой клубился, как в бане,
Блок, визжа, разбудил всех наяд.
Мутный месяц моргал из-за ели...
Хорошо ему, черту, моргать!
Ни за стол, ни за стены в отеле
Ведь нельзя с него шкуру содрать...

Влезли в поезд – в туристскую кашу,
Дым сигарный вцепился в зрачки.
Подпирая чужую мамашу,
В коридоре считал я толчки.
Чемоданы барахтались в сетке.
Вспыхнул сизый, чахоточный газ.
За окошком фабричные клетки
Заструились миллионами глаз...

1922, Рождество

Мираж

С девчонками Тосей и Инной
В сиреневый утренний час
Мы вырыли в пляже пустынном
Кривой и глубокий баркас.

Борта из песчаного крема.
На скамьях пестрели кремни.

Из ракушек гордое «Немо»^[3]
Вдоль носа белело в тени.

Мы влезли в корабль наш пузатый.
Я взял капитанскую власть.
Купальный костюм полосатый
На палке зареял, как снасть.

Так много чудес есть на свете!
Земля – неизведанный сад...
– На Яву? – Но странные дети
Шепнули, склонясь: – В Петроград.

Кайма набежавшего вала
Дрожала, как зыбкий опал.
Команда сурово молчала,
И ветер косички трепал...

По гребням запрыгали баки.
Вдали над пустыней седой
Сияющей шапкой Исаакий
Миражем вставал над водой.

Горели прибрежные мели,
И кланялся низко камыш:
Мы долго в тревоге смотрели
На пятна синеющих крыш.

И младшая робко спросила:
«Причалим иль нет, капитан?..»
Склонившись над кругом штурвала,
Назад повернул я в туман.

<1923>

I

Суша тверже, я не спорю, –
Но морская зыбь мудрей...
Рано утром выйдешь к морю –
К пляске светлых янтарей:
Пафос мерных колыханий,
Плеск волнистых верениц, –
Ни фабричных труб, ни зданий,
Ни курортов, ни темниц...
Как когда-то в дни Еноха,
Неоглядна даль и ширь.
Наша гнусная эпоха
Не вульгарный ли волдырь?
Четвертуем, лжем и воем,
Кровь, и грязь, и смрадный грех...
Ах, Господь ошибся с Ноем, –
Утопить бы к черту всех...
Парус встал косою тенью,
Трепыхнулся и ослаб.
Горизонт цветет сиренью.
– Здравствуй, море! – Кто ты? – Раб.

II

У воды малыш в матроске,
Пухлый, тепленький цветок,
Плачет, слизывая слезки,
И куда-то смотрит вбок.
Спинки волн светлее ртути...
«Что с тобой? Давай играть!»
Он шепнул тихонько: «Mutti»...
«Mutti» – это значит – мать.
Мать в кабинке ржет с кузенком,

И купальное трико
Над упитанным коленом
Впилося в бедра глубоко.
Мальчик, брось! Смотри – из сеток
Рыбаки невдалеке
Сыпят крошечных креветок...
Ишь, как вьются на песке...
Ах, как сладко к теплой грудке
Ухом ласковым прильнуть!
Mutti выползла из будки.
– Ну, прощай! – Куда ты? – В путь.

III

На волне всплыла медуза.
Я поймал ее в кувшин:
В киселе сквозного пуза
Жилки алых паутин.
Мерно дышит и колышет
Студень влажный и живой,
И не видит, и не слышит...
Ах, как трудно с головой!
Теснота. На взрытом пляже
Скоро негде будет лечь.
В синеве над морем даже
Человеческая речь!
В гидропланной этажерке
За сто марок – флирт для всех...
Лет чрез двести всем по мерке
Отведут клочок в орех.
Впрочем... дьявол революций –
Ненасытный вурдалак...
Что же, мой морской Конфуций,
Хочешь в море? Вот чудак!

IV

В загороженной берлоге
Греем мясо на песке:
Бедрa, спины, груди, ноги –
Всё в одном сплошном куске.
Волосатые Адамы
Вяло шлепают девиц.
Раскоряченные дамы
С балыками вместо лиц...
У воды орет фотограф:
«Эй, сниматься! Поскорей...»
О Колумб, шатун-географ,
Ты не видел дикарей!..
Девы, выпятивши груди,
Загораживают дам.
Луч блаженства в общей груди
Так и реет по рядам...
А в волнах, вздев дам на плечи,
Рой самцов выводит па...
Наслаждайся, человече:
Это – голая толпа.

V

За обедом скифский боров,
В пиджачке à la Кокó,
Всласть разводит сеть узоров,
Лая звонко и легко:
«Я – инструктор пчеловодства.
Сотни курсов! Пчелы – вот!
Всю Европу от банкротства
Лишь советский мед спасет...»
Врал и жрал – свиная челюсть

Хлопотала над жарким.
Стол решил: «Ах, мед, вот прелесть!..»
Я, томясь, следил за ним.
Вот он весь, с нутром и кожей,
Из замученной страны:
Мутноглазый, пухлорожий,
Черт с душою сатаны...
Фрау Флакс, отставив палец,
Вдруг ко мне склонила рот:
«Вы ведь русский?» – Португалец.
Что сказать ей?.. Не поймет.

VI

Лунный щит молчит над пляжем.
Зыбь в серебряной пыли.
Море матовым миражем
Оградилось от земли.
В вилле лупят на рояле
Разухабистый фокстрот.
Бегемот в испанской шали
Семенит в курзальный грот...
Львы в штанах с чеканной складкой
Жмут грудастых белых фей...
На веранде, в позе сладкой
Голосит тенор – Орфей.
Рвутся вскрики флиртоблуда,
Тишину воды дробя...
О любовь, земное чудо,
Приспособили тебя!
К черту!.. Точка... Завтра рано
Влажный парус рыбака
В зыбь рассветного тумана
Окунет мои бока.

<1921>
Albeck

Над всем

Сквозь зеленые буки желтеют чужие поля.
Черепицей немецкой покрыты высокие кровли.
Рыбаки собирают у берега сети для ловли.
В чаще моря застыл белокрылый хребет корабля.
 Если тихо смотреть из травы, – ничего не случилось,
 Ничего не случилось в далекой, несчастной земле...
 Отчего же высокое солнце туманом затмилось,
 И холодные пальцы дрожат на поникшем челе?..

Лента школьников вышла из рощи к дороге лесной,
Сквозь кусты, словно серны, сквозят загорелые ноги,
Свист и песни, дробясь откликаются радостно в логе,
Лягушонок уходит в канаву припрыжкой смешной.
 Если уши закрыть и не слушать чужие слова,
 И поверить на миг, что за ельником русские дети –
 Как угрюмо потом, колыхаясь, бормочет трава,
 И зеленые ветви свисают, как черные плети...

Мысль, не веря, взлетает над каждым знакомым селом,
И кружит вдоль дорог и звенит над родными песками...
Чингисхан, содрогаясь, закрыл бы ланиты руками!
Словно саван белеет газета под темным стволом.
 Если чащей к обрыву уйти, – ничего не случилось...
 Море спит – переливы лучей на сквозном корабле.
 Может быть, наше черное горе нам только приснилось?
 Даль молчит. Облака в голубеющей мгле...

<1923>
Kölpinsee

«Грубый грохот северного моря...»

Грубый грохот северного моря.
Грязным дымом стыннут облака.
Черный лес, крутой обрыв узоря,
Окаймил пустынный борт песка.
Скучный плеск, пронизанный шипеньем,
Монотонно точит тишину.
Разбивая пенный вал на звенья,
Насыпь душит мутную волну...
На рыбацьем стареньком сарае
Камышинка жалобно пищит,
И купальня дальняя на сваях
Австралийской хижинкой торчит.
Но сквозь муть маяк вдруг брызнул светом,
Словно глаз из-под свинцовых век:
Над отчаяньем, над бездной в мире этом
Бодрствует бессонный человек.

1922

Kölpinsee

«Лесов тенистые покровы...»

Лесов тенистые покровы
Взбегают вверх до облаков.
Шоссе бежит среди холмов.
В возах – вальяжные коровы.
Внизу снопы косматой ржи,
По пашне гуси ходят чинно,
И с резвым криком вдоль межи
Бегут две девочки с корзиной.

Картошка радостно цветет,
Ботва темнеет полосами.
Играет ветер волосами,
Пчела танцует над усами
И телеграфный столб поет.

Ах, если б сжечь все корабли,
Забить проклятый день вчерашний,
Добыть кусок зеленой пашни
И взрезать плугом грудь земли!

Пусть там в безумных городах
Друг другу головы срывают
И горы лжи нагромождают –
Здесь мир в полях, в лесах, в садах...
В извечных медленных трудах.
Струится жизнь сквозь дым столетий,
И люди чисты – словно дети.

<1923>

Искусство

Бог, злой Отец, нас соблазнил Эдемом
И предал псам и выгнал скорбных в тьму,
И только Музы ласковым гаремом,
Как отзвук рая, сходят к нам в тюрьму.

Глаза их манят радостью могучей,
Бессмертный свет дрожит на их челе...
Вставай, мой ближний, бьющийся в падучей,
Есть мир иной на этой злой земле!

Нет Бога? Что ж... Нас обогреют Музы,
Нет правды? – Пусть... Сны жажду утолят.
Распятый дух срывает гневно узы
И все безумней рвется в Светлый Сад.

Из века в век звенит мечта живая,
Всех палачей она переживет –
Она одна, всех праведных венчая,

Нетленной скорбью плещет в эшафот.

Без слов Христа, поэта из поэтов,
Без слез Бетховена, без Фидиевых грез
Одни холмы бесчисленных скелетов
Сковал бы смертью мировой мороз.

Вставай, мой брат... И робкий, и печальный
К твоим ногам склоняюсь я во тьме:
Есть мир иной, загадочный и дальний,—
Любовь поет и в склепе, и в тюрьме.

Цветут цветы. Томясь, шумят деревья:
Пока у нас не выкололи глаз,
Мы, забывая горькие кочевья,
В ладье мечты утешимся не раз...

<1921>

«Здравствуй, Муза! Хочешь финик?»

Здравствуй, Муза! Хочешь финик?
Или рюмку марсалы?
Я сегодня именинник...
Что глядишь во все углы?
 Не сердись: давай ладошку,
 Я к глазам ее прижму...
 Современную окрошку,
 Как и ты, я не пойму.

Одуванчик бесполезный,
Факел нежной красоты!
Грохот дьявола над бездной
Надоел до тошноты...
 Подари мне час беспечный!
 Будет время – все уснем.

Пусть волною быстротечной
Хлещет в сердце день за днем.

Перед меркнувшим камином
Лирой вмиг спугнем тоску!
Хочешь хлеба с маргарином?
Хочешь рюмку коньяку?
И улыбка молодая
Загорелась мне в ответ:
«Голова твоя седая,
А глазам – шестнадцать лет!»

<1923>

Мандола

Лакированный, пузатый,
Друг мой нежный и певучий,
Итальянская мандола –
Восемь низких гулких струн...
В час вечерний и крылатый
Ропот русских перезвучий –
Слободская баркарола –
Налетает, как бурун...

Песня бабочкой гигантской
Под карнизами трепещет,
Под ладонью сердце дышит
В раскачавшейся руке...
В этой жизни эмигрантской
Даже дождь угрюмой хлещет...
Но удар струну колышет –
Песня взмыла налегке.

В старой лампе шепот газа.
Тих напев гудящих звеньев:

Роща, пруд, крутые срубы,
Приозерная трава...
«Из-под дуба, из-под вяза,
Из-под липовых кореньев»,—
Вторая песне, шепчут губы
Изумрудные слова.

<1923>

«Тех, кто страдает гордо и угрюмо...»

Тех, кто страдает гордо и угрюмо,
Не видим мы на наших площадях:
Задавлены случайною работой
Таятся по мансардам и молчат...
Не спекулируют, не пишут манифестов,
Не прокурорствуют с партийной высоты,
И из своей больной любви к России
Не делают профессии лихой...
Их мало? Что ж... Но только ими рдеют
Последние огни родной мечты.
Я узнаю их на спектаклях русских
И у витрин с рядами русских книг —
По строгому, холодному обличью,
По сдержанной печали жутких глаз...
В Америке, в Каире иль в Берлине
Они одни и те же: боль и стыд.
Они — Россия. Остальное — плесень:
Валюта, декламация и ложь,
Удобный символ безразличных — «наплевать»,
Помойка сплетен, купля и продажа,
Построчная истерика тоски
И два десятка эмигрантских анекдотов.....

<1923>

Русская Помпея*

«Прокуроров было слишком много!»

Прокуроров было слишком много!
Кто грехов Твоих не осуждал?..
А теперь, когда темна дорога,
И гудит-ревет девятый вал,
О Тебе, волнуясь, вспоминаем,—
Это все, что здесь мы сберегли...
И встает бывшее светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли...

<1923>

Игрушки

I

У Тучкова моста жил художник,
Бородато-пухлое дитя.
Свежий и румяный, как пирожник,
Целый день работал он свистя:
Медь травил шипящей кислотой,
Затирал на досках пемзой фон,
А потом, упершись в пол пятою,
Налегал на пресс, как грузный слон.
Зимний ветер хныкал из-под вьюшки.
Вдоль лазурно-снежного окна
В ряд стояли русские игрушки —
Сказочная, пестрая страна:
Злой Щелкун с башкою вроде брюквы,
Колченогий в яблоках конек,

Ванька-встанька с пузом ярче клюквы
И олифой пахнувший гусек.
В уголке медведь и мужичонка
В наковальню били обухом,
А Матрешка, наглая бабенка,
Распускала юбки кораблем...
Разложивши влажные офорты,
Отдыхал художник у окна:
Щелкуна пощелкает в ботфорты,
Попищит собачкой. Тишина...
Пыль обдует с глиняных свистулк,
Двухголовой утке свистнет в зад,
Передвинет липовых бабулек
И зевнет, задрав плечо назад.
Поплывет весна перед глазами –
Пензенская ярмарка, ларьки,
Крестный ход, поддевки с образами
И гармонь, и знойные платки...
За окном декабрь. Вся даль – в закате.
Спит Нева под снежною фатой.
Между рам, средь гаруса на вате,
Янтареет рюмка с кислотой.
Тихо снял с гвоздя художник бурку –
Синей стужей тянет из окна –
И пошел растапливать печурку,
Чтоб сварить с корицею вина.

II

Праздник был. Среди пустой мансарды
На столе дремало деревцо.
Наклонясь, тучковский Леонардо
Спрятал в елку круглое лицо...
У подножья разложил игрушки.
На парче, сверкавшей полосой,

Ром, кутья, румяные ватрушки
И тарелки с чайной колбасой.
В двери лупят кулаками гости –
Волосатый, радостный народ.
Сбросив в угол шапки, шубы, трости,
Завели вокруг елки хоровод...
Пели хором «Из страны далекой»,
Чокались с игрушками, рыча.
На комод в рюмке одинокой
Оплывала толстая свеча.
Звезды млели за окном невинно,
Рождество плыло над синевой...
Щелкуна раскрасили кармином,
А Матрешку пичкали халвой.
Ваньку-встаньку выпороли елкой,
Окунули с головой в бокал,
Вбили в пуп огромную иголку,
Но злодей назло опять вставал.
Быть все время взрослыми нелепо:
Завернувшись в скатерть, гость-горняк
Уверял знакомых: «Я Мазепа!»
Но они кричали: «Ты дурак!»
А потом, схватив конька в объятья,
Взлез хозяин, сняв пиджак, на печь
И сказал, что так как люди братья,
То игрушки нечего беречь!
Раздарил друзьям свое богатство,
Грузно слез, лег на пол и застыл,
А слегка упившееся братство
Над усопшим спело: «Кто б он был?..»
Одному тогда досталась утка
Со свистком под пиняным хвостом.
Дунешь в хвост, и жалобная дудка
Спрашивает тихо: «Где мой дом?»

На резной берлинской этажерке
У окна чужих сокровищ ряд:
Сладкий гном в фарфоровой пещерке,
Экипаж с семейством поросят,
Мопс из ваты... Помесь льва с барашком
В золотой фаянсовой траве,
Бонбоньерка в виде дамской ляжки
И Валькирия с копилкой в голове...
Скучно русской глиняной игрушке
На салфетке вязаной торчать:
Справа две булабочных подушки,
Слева козлоногая печать.
Тишина. Часы солидно дышат,
На стене поблекшие рога.
За стеклом ребром взбегает крыша.
Чахлый снег и фонарей дуга.
У окна застыл чужак в тужурке.
Проплывает прошлое, как миф:
Май – Ромны – галдеж хохлушек юрких,
В гущи свиток пестротканый лиф...
Вдоль стекла ползут бессильно хлопья,
И миражи тают и плывут:
Лес оглобель поднял к солнцу копыя,
Гам, волы, беспечный праздный люд.
Здесь – копною серые макитры,
Там – ободья желтые в пыли.
За рекой курганы, словно митры,
Над зеленой степью спят вдали.
Выступают гуси вдоль дороги
Белою горластой полосой...
И дитя у хаты на пороге,
И барвинок, сбрызнутый росой...
Обернулся... Газ, рога, обои.
Взял игрушку милую в ладонь:
Хвост отбит, свисток шипит и воет,—
Все, что спас он в злые дни погонь.

Ночь гудит. Часы кряхтят лениво.
Сотни лет прошли над головой...
Не она ль, блестя в стекле поливой,
Там в окне стояла над Невой?

<1921>

Невский

Здесь в Александровском саду
Весной – пустой скамьи не сыщешь:
В ленивом солнечном чаду
Вдоль по дорожкам рыщешь-свищешь.
Сквозь дымку почек вьется люд.
Горит газон огнем бенгальским,
И отдыхающий верблюд
Прилег на камень под Пржевальским...
Жуковский, голову склоня,
Грустит на узком постаменте.
Снует штабная солдатня,
И Невский вдаль струится лентой.
У «Александра» за стеклом
Пестрят японские игрушки.
Внезапно рывкнул за углом
Веселый рев полдневной пушки.
Мелькнуло алое манто...
Весенний день – отрада взору.
В толпе шинелей и пальто
Плывешь к Казанскому собору:
Многоколонный полукруг
Колеблет мглу под темным сводом,
Цветник, как пестротканый луг,
Цветет и дышит перед входом...
Карнизы банков и дворцов
Румяным солнцем перевиты.
На глади шахматных торцов

Протяжно цокают копыта.
У кучеров-бородачей
Зады подбиты плотной ватой,
А вдоль панелей гул речей
И восклицаний плеск крылатый...
Гостиный двор раскрыл фасад:
Купить засахаренной клюквы?..
Над белизной сквозных аркад
На солнце золотятся буквы.
Идешь-плывешь. Домой? Грешно.
В канале бот мелькнул дельфином,
Горит аптечное окно
Пузатым голубым графином.
Вот и знакомый, милый мост:
С боков темнеют силуэты –
Опять встают во весь свой рост
Все те же кони и атлеты...
К граниту жметя строй садков,
Фонтанка даль осеребрила.
Смотри – и слушай гул подков,
Облокотившись на перила...
Гремят трамвайные звонки,
Протяжно цокают копыта,–
Раскинув ноги, рысаки
Летят и фыркают сердито.

<1922>

Весна на Крестовском

А. И. Куприну

Сеть лиственниц выгнала алые точки.
Белеет в саду флигелек.
Кот томно обходит дорожки и кочки
И нюхает каждый цветок.

Так радостно бросить бумагу и книжки,
Взять весла и хлеба в кульке,
Коснуться холодной и ржавой задвижки
И плавно спуститься к реке...
Качается пристань на бледной Крестовке.
Налево – Елагинский мост.
Вдоль тусклой воды серебрятся подковки,
А небо – как тихий погост.
Черемуха пеной курчавой покрыта,
На ветках мальчишки-жулье.
Веселая прачка склонила корыто,
Поет и полощет белье.
Затекшие руки дорвались до гребли.
Уключины стонут чуть-чуть.
На веслах повисли какие-то стебли,
Мальки за кормою, как ртуть...
Под мостиком гулким качается плесень.
Копыта рокочут вверху.
За сваями эхо чиновничьих песен,
А ивы – в цыплячем пуху...
Краснеют столбы на воде возле дачки,
На ряби – цветная спираль.
Гармонь изнывает в любовной горячке,
И в каждом челне – пастораль.
Вплываю в Неву. Острова, как корона:
Волнисто-кудрявая грань...
Летят рысаки сквозь зеленое лоно.
На барках ленивая брань.
Пестреет нарядами дальняя Стрелка.
Вдоль мели – щетиной камыш.
Все шире вода, голубая тарелка,
Все глубже весенняя тишь...
Лишь катер порой пропыхтит торопливо,
Горбом залоснится волна,
Матрос, словно статуя, вымпел, как грива, –
Качнешься – и вновь тишина...

О родине каждый из нас вспоминая,
В тоскующем сердце унес
Кто Волгу, кто мирные склоны Валдая,
Кто заросли ялтинских роз...
Под пеплом печали храню я ревниво
Последний счастливый мой день:
Крестовку, широкое лоно разлива
И Стрелки зеленую сень.

<1921>

На «островах»

На Крестовском возле конки
Санки пестренькие ждут.
У пузатой лошаденки
Пляшет в гриве красный жгут...
Бубенцы нежны и звонки...
У возницы взяли кнут...

Промелькнул орел аптеки.
Солнце кажет алый щит.
Спит Нева. Снег режет веки,
Мост под полозом гудит.
Ветлы – старые калеки...
Сбоку валенка висит...

Острова несутся мимо,
Машут снежной бородой.
Словно крылья серафима
Иней искрится седой,
Облака, как клочья дыма,
Стынут розовой грядой...

Сзади мчатся три чинуши,–
Вожжи вкось, лошадка вбок,

Две девчонки-хохотуши
Отскочили за дубок...
Ветерок кусает уши,—
Не боимся, голубок!

Расскакалась лошаденка.
Не удержишь. Эх ты, мышь!
Заиграла селезенка.
Не свались, держись, малыш...
Бубенцы легко и звонко
Заливают плеском тишь.

Прокатились. Вон наш вейка:
Ждет на тумбе за ларем.
«Сколько?» — «Ридцать пять копейка».
Побренчали серебром...
А теперь домой, скорей-ка,—
Чаю с бубликом попьем.

<1921>

Псков

Над ширью величавых вод
Вдали встает копна собора.
Гудит далекий пароход...
А здесь за мшистой тьмой забора
Желтеют кисти барбариса,
Над грядкой жимолость цветет...
В саду распелась Василиса.
Искрясь, Великая плывет.
Вдали, весь беленький, у мыса
Молчит игрушка-монастырь,—
Синеют главы на лазури.
Река, полна весенней дури,
Бормочет радостный псалтырь.

Налево мост – горбатый змей –
Разлегся дугами над гладью.
На мост ползет телега с кладью:
Конь – карлик, ломовой – пигмей...
У богадельни старички
На солнце мирно греют кости,
Низы домишек у реки
Все в грязных брызгах, как в коросте.
На кладках писарь и портниха
Воркуют нежно у ворот.
Шипит крапива: тихо-тихо...
К воде идет гусиный взвод.

<1917>

С моста над Псковой

На Пскове, где рыбный ряд,
Барки грузные скрипят:
Здесь – снитки, там – груды клюквы,
Мачты – цвета свежей брюквы,
У руля тряпье шатра...
Зеленеет заводь речки,
А на мачтах флюгера, –
Жестяные человечки, –
Вправо-влево, с ветром в лад
Сонно вьются и пищат.
На мощеном берегу
Бабы клонятся в дугу
И серебряную рыбу
Собирают молча в глыбу.
Чешуя вокруг в вершок...
Крепок рыбный запашок!
Под откосом ряд ларей.
Спят амбары, сном объаты,
И пестреют, как заплаты,

Латы кованых дверей...
Кот взобрался на трубу.
Ива чуб к воде склонила...
У харчевни ждет кобыла,
Оттопыривши губу.

<1918>

Гостиный двор

Как прохладно в гостиных рядах!
Пахнет нефтью, и кожей,
И сырою рогожей...
Цепи пыльною грудой темнеют на ржавых пудах,
У железной литой полосы
Зеленеют весы.
Стонут толстые голуби плухо,
Выбирают из щелей овес...
Под откос,
Спотыкаясь, плетется слепая старуха,
А у лавок, под низкими сводами стен
У икон янтареют лампадные чашки,
И купцы с бородами до самых колен
Забавляются в шашки.

<1921>

Псков

Псковитянка

Поганкины палаты
Белее изразца.
На столбиках пузатых
Свисает свод крыльца.
Трава ежом зеленым

Замшила тихий двор,
А ветер вздохом сонным
Кружит в воротах сор.

Томясь, спускается с крыльца
Телеграфистка Глаша.
Над крышей – небо без конца...
Овал румяного лица,
Как греческая чаша.
Над темно-русой головой
Вуаль играет рыбкой,
В глазах, плененных синевою,
Ленивая улыбка.

Там, в Поганкиных палатах,
За стеклом в пустых покоях
Столько древней красоты:
Сарафаны в перехватах,
Зыбь парчи в густых левкоях,
Кички – райские цветы.
Усмехнулась, помечтала.
Ах, как пресно в синем платье,
В колпачке из чесучи!
Ведь она еще не знала,
Что весенние объятья
Горячи и без парчи...

Стучит по мосткам каблучками...
С заборов густыми снопами
Лиловая никнет сирень.
Мелькнул подоконник с купчихой.
Как остров, среди заводи тихой,
Свободный раскинулся день...
Сорвала зелененький листик,
Вверху закачался шиповник,
Над церковкой птиц хоровод,—
И каждый прохожий чиновник,

И каждый малыш-гимназистик
Ей сердце свое отдает.

На базаре плеск и гам:
Кони – бабы – печенеги.
Глаша тянется к ларькам
И плазет на телеги.
На земле у старика
Косы синие – рядами.
Обступили, жмут бока,
В сталь защелкали ногтями.
Обошла галдящий круг.
Из трактира ржет машина.
В стороне – холм новых дуг.
Обернулась вниз: картина!
Пышут мальвы на платках...
Так чудесно в гору чинно
Подыматься на носках
Сквозь соборный двор пустынный.

На глади Великой смешной пароходик чуть больше мизинца,
Белеет безмолвный собор-исполин.
Под вышкой сереют корявые стены детинца.
На облаке – сонный, вечерний кармин.
Задумчиво Глаша идет, напевая, на вышку:
Глаза – два весенних пруда.
Стоит, улыбаясь, смиряя задор и одышку,
И смотрит, как гаснет внизу у обрыва вода.
Закат сквозит печальной лентой. Пора домой.
Пскова-река смывает барки лиловой тьмой.
Уже вдоль Запсковья в домишках зажгли огни.
Все купола давно уснули в седой тени.
Мать дремлет. На кривом балконе горит свеча,
Внизу в хлеву вздыхает телка, сквозь сон мыча,
И самовар бурлит-клокочет, ждет на столе...
Быстрее вихря мчится Глаша в знакомой мгле.

<1918>

В Одессе

Вдоль деревянной длинной дамбы
Хвосты товарных поездов.
Тюки в брезенте, словно ямбы,
Пленяют четкостью рядов.
Дымят гиганты-пароходы,
Снуют матросы и купцы.
Арбузной коркой пахнут воды –
И зыбь, и блеск во все концы.

На волнорезе так пустынно...
Чудак в крылатке парусинной
Снимает медленно с крючка
Вертляво-скользкого бычка.

Всю гавань тихо и лениво
Под солнцем добрым обойдешь...
Воркуют голуби учтиво,
Босяк храпит в тени рогож.
Кадит корицей воздух летний...
Глазеешь на лихой народ
И выбираешь, как трехлетний,
Себе по вкусу пароход.

Вперед по лестнице гигантской!
Жара бросает в пот цыганский,
Акаций пыльные ряды
С боков свергаются в сады.

Дополз до памятника «Дюку»...
День добрый, герцог Ришелье!
Щитком к глазам подносишь руку:
Спит море – синее кольцо...
В ребре средь памятника – бомба,
Жужжит кольцом цветник детей,
И грек, исполненный апломба,

Раскрыл, пыхтя, лоток сладостей.
Сажусь у лестницы на кладку,—
Мороженщик снял с круга кадку.
Сквозь Николаевский бульвар
Плывет змея беспечных пар.

Голландский шкипер белоснежный
Склонил к Кармен одесской лоб.
Взлетает смех, как жемчуг нежный,
Играет палкой местный сноб,
Горит над жирным турком феска,
Студент гарцует среди девиц...
Внизу среди морского блеска
Чернь пароводных верениц...
Казаки, статные, как кони,
Кружком расселись в павильоне...
Урядник грузен, как бугай.
Запели... Эх, не вспоминай!

<1923>

Полтавский рай

Славный садик у Дмитро —
Сероглазого мальчишки!
Тесно, тихо и пестро,
И прохладно, как в кубышке...

На заваленке сидим,
Пресерьезные, как турки.
Тень от листьев, словно дым.
Пахнет известь штукатурки...

Пышат охрой ноготки —
Деревенские цветочки.
Все на свете пустяки,

Кроме... писаревой дочки!

Черт ли нас разыщет здесь?
Тихий остров без названья –
И на всем густая смесь
Тени, красок и жужжанья...

Цвет настурций ярче ран.
Все проходит, все забвенно.
В клуне хрюкает кабан
Мелодично и блаженно.

Синий-синий сон небес.
Облака свернулись в вату,
И подсолнечников лес
Обступил, как джунгли, хату.

<1914>

«В пышной вишне дрожь и шорох...»

В пышной вишне дрожь и шорох.
Сбоку – лестницы ребро.
Гулко падает в ведро
Темно-красных вишен ворох.
Ветка к лестнице прижала
Загорелую ступню.
Сквозь шуршащую возню
Вьется песнь, острее жала,
В молодые небеса.

Приложив к глазам ладонь,
Смотрит Мотря над верхушкой:
У реки дымит огонь,
Чей-то конь бредет опушкой.
Луг полого льнет к реке...

Дед плывет на челноке.
На холме курчавый лес
Полон влажной, сонной тенью...
Пятка виснет над ступенью,
И душа полна чудес...

Вишни пляшут под рукой:
Две в ведро, – четыре в губы.
Терпкий сок окрасил зубы...
Кто-то крикнул за рекой...
Встрепенулась... Надо рвать,
Чтоб поспеть с ведром к закату!
Помогла б, пожалуй, мать,
Да сегодня белит хату.
Скрылась в листьях синева,–
Заходили рукава...

<1923>

Затон

Глазам показалось, что это олива,
Но олив в Малороссии нет –
Это старая дымчато-сизая ива
Наклонила к воде свой скелет.

Челнок зашипел о прибрежные стебли
И вплыл под кудрявый навес...
Колотится сердце от бешеной гребли,
Камыши обступают, как лес.

Один. За верхушками матовых копий
Кольшатся спины коров,
Подножья березок с пятнами топи
И зеленые шапки бугров.

Облака проплывают, как белые яхты.
Головастики ил бороздят.
За кустом, над водой из-под клетчатой плахты
Загорелые пятки висят.

<1923>

На току («В стогу молодой соломы...»)

В стогу молодой соломы
Сижу, как в гнезде.
Лошадиная морда в узде
Торчит из-за бревен дома:
Там в телеге, под тканью рогож,
Туго горбится новая рожь.

Дрожит бок веялки красной.
Взлетает столбом шелуха.
Скрипит рукоятка бесстрастно,
Склоняется плавно сноха,
Дед сыпет в устье все новую рожь.
В воздухе гулкая дрожь,
Прерывистый грохот и шелест зерна,—
А в стогу – тишина.

Тепло, и пахнет соломой...
Глаза потушены дремой.
Ветер клонит почти до земли
Густые ряды конопли
И над серой дорогой, внезапно вспыля,
Улетает в пустые поля...

Такая полная радость!
Простая и редкая радость...
Быть может, самый беспечный мой час:
Солома, полоска неяркого неба,

Шипение нового хлеба
И веялки старой плухой усыпительный тряс...

<1912>

Пруд

Зелененькою ряскою
Покрыта гладь пруда.
Под зыбкою замазкою
Кольшется вода...

У берега метелочки
Густого тростника,
А на бугре две елочки
Сквозят издалека.

В пруде колода дряхлая
Спит кверху животом.
Склонилась ива чахлая
Взлохмаченным кустом.

Кра-кра! Плывут от берега
Утята-малыши, –
С лягушками – истерика,
Удрали в камыши...

И только жаба важная,
Как будто напоказ,
Дородная и влажная
Из тины пучит глаз.

В воде бегут пузырьки,
Проснулись тростники,
И в сердце, полном лирики,

Рождаются стишки...

<1921>

Нянька
(лубок)

Где барчук? Удрал к реке
Покачаться в челноке...
Подобрав свои оборки,
Нянька села на пригорке,
С треском семечки грызет
И облизывает рот.
Молода: шестнадцать лет,
Груди рвутся за корсет,
Ноги – две литых колонны,
Глазки серенькие сонны,
Лоб в кудряшках, бант – в аршин,
Циферблат, как красный блин,
Пухлый нос в густых веснушках,
Два кольца трясутся в ушках...
Пропотела, пропеклась,
И, зевая, как карась,
Разлеглась шуршащей тушей
Под тенистой дикой грушей.

* * *

Затаив в восторге дух,
Смотрит, вытянувши шею,
На прекрасную Цирцею
Из-за ясеня пастух.
Пять коров ушло в овес –
Он не видит и не слышит,

Ветер ясень с ним колышет,
Словно он к стволу прирос...
«Вот так Питер! Ай да ну!»
А в запрошлую весну,
Как он хлопал на гумне
Эту Дуню по спине!..

<1912>

<1923>

Шалашик

Это шалашик деда Егора.
Вон его свитка лежит на золе.
Скоро придет он с лукошком из бора,
Будет грибы разбирать на земле.
Сохнут на жерди густые охапки –
Перед покосом дед тмин обобрал.
Палкой пучки обмолотит на тряпке,
Свеет, а семя – в мешочек. Видал?..
Вот чугунок с оттопыренным ухом...
Сварит дед кашу, до капельки съест.
Свежее сено покажется пухом –
Ляжет, закурит, посмотрит окрест...
Вечером, чуть пропадет за оврагом
Сонного солнца цветной ободок,
Вспыхнет костер ярко-розовым флагом
И озарит задремавший прудок.
К спящему саду наставит дед уши
И загремит в темноту: «Ого-го!»
Вынет из пепла шипящие груши,
Дунет – и в рот. «Горячо?» – «Ничего!..»

<1921>

Зима

I

Над черной прорубью дымится сизый пар.
Под валенками снег шипит и тает.
В далекой деревушке Жучка лает,
А солнце – алый шар!
Пойдем на остров... Пышный и седой,
В озерной белизне он спит глубоко,
Блестя заиндевавшею осокой
Над скованной водой...

II

Елки – беленькие свечи.
Здравствуй, дуб широкоплечий,
Очарованный старик!
Как живешь? Озяб? Еще бы!
У пяты – бугром сугробы,
Над челом – седой парик...
Ветер лютый и бесстыжий
Шелестит листвою рыжей,
С неба сыплется снежок...
Пусть... Весна не за горами:
Пестроглазыми цветами
Закудрявится лужок,
Понатужась, лопнут почки,
И зеленые комочки
Крикнут радостно: «Пора!»
Не ворчи... Ведь я терплю же,
У меня беда похуже:
Видишь – в валенке дыра?

III

Если взрыть снежок под елкою у кочки,
Под навесом зимних дымчатых небес
Ты увидишь чудо из чудес:
На бруснике изумрудные листочки!
Если их к щеке прижать нетерпеливо,
О, как нежен влажный их атлас!
Словно губы матери счастливой,
Перед сном касавшиеся нас...
Иней все березы запушил,
Вербы в белых-белых пышных сетках...
Спит зима на занесенных ветках,
Ветер крылья светло-синие сложил...
Горсть брусничных веток я связал в пучок,
Дома их поставлю в банку из-под меда –
Пусть за дверью воет непогода:
На моем столе – весны клочок...

IV

«Тишина!» – шепнула белая поляна.
«Тишина!» – вздохнула, вея снегом, ель.
За стволами зыбь молочного тумана
Окаймила пухлую постель.
Переплет теней вдоль снежного кургана...
Хлопья медленно заводят карусель,
За опушкой – тихая метель,
В небе – мутная, безбрежная нирвана...
«Тишина!» – качаясь, шепчет ель.
«Тишина!» – вздыхает белая поляна.

V

Домой! Через озеро, в пышном лиловом тумане...
Над синим холмом расцвела на окошке свеча.
Вдали убегают, болтая бубенчиком, сани,
И белые мухи садятся гурьбой вдоль плеча...
Под снегом и льдом дышат сонные, тихие щуки.
Над прорубью в дымке маячит безмолвный рыбак,
А ветер играет и дует в иззябшие руки
И с визгом уносит в снега переключку собак...
Там, дома, добуду в печурке горячих картошек,
Подую на пальцы – и с солью зернистой в рот,
Раздую лучину... В сенях из-под старых лукошек
Достану салазки – и свистну у наших ворот!
Соседский Ильюшка примчится веселою рысью,–
Ох, трудно в тулупчик рукою попасть на ходу,
Я сяду, он сядет – и с холмика тропкою лисьей
Помчимся, помчимся, помчимся, как птицы к пруду!..

<1921>

Бал в женской гимназии

I

Пехотный Вологодский полк
Прислал наряд оркестра.
Сыч-капельмейстер, сивый волк,
Был опытный маэстро.
Собрались рядом с залой в класс,
Чтоб рокот труб был глуше.
Курлыкнул хрипло медный бас,
Насторожились уши.
Басы сверкнули вдоль стены,
Кларнеты к флейтам сели,–
И вот над мигот тишины
Вальс томно вывел трели...

Качаясь, плавные лады
Вплывают в зал лучистый,
И фей коричневых ряды
Взметнули гимназисты.
Напев сжал юность в зыбкий плен, –
Что в мире вальса краше?
Пусть там сморкаются у стен
Папаши и мамыши...
Не вся ли жизнь хмельной поток
Над райской панорамой?
Поручик Жмых пронесся вбок
С расцветшей классной дамой.
У двери встал, как сталактит,
Блестя иконостасом,
Сам губернатор Фан-дер-Флит
С директором Очкасом:
Директор – пресный, бритый факт,
Гость – холодней сугроба,
Но правой ножкой тайно в такт
Подрыгивают оба.
В простенке – бледный гимназист,
Немой Монблан презренья.
Мундир до пяток, стан, как хлыст,
А в сердце лава мщенья.
Он презирает потолок,
Оркестр, паркет и люстры,
И рот кривится поперек
Усмешкой Заратустры.
Мотив презренья стар как мир...
Вся жизнь в тумане сером:
Его коричневый кумир
Танцует с офицером!

Антракт. Гудящий коридор,
Как улей, полон гула.
Напрасно классных дам дозор
Скользит чредой сутулой.
Любовь влетает из окна
С кустов ночной сирени,
И в каждой паре глаз весна
Поет романс весенний.
Вот даже эти, там и тут,
Совсем еще девчонки,
Ровесников глазами жгут
И теребят юбочки.
Но третьеклассники мудрей,
У них одна лишь радость:
Сбежать под лестницу скорей
И накуриться в сладость...
Солдаты в классе, развалясь,
Жуют тартинки с мясом.
Усатый унтер спит, склонясь,
Над геликоном-басом.
Румяный карлик-кларнетист
Слюну сквозь клапан цедит.
У двери – бледный гимназист
И розовая леди.
«Увы! У женщин нет стыда...
Продать за шпоры душу!»
Она, смеясь, спросила: «Да?»,
Вонзая зубы в грушу...
О, как прекрасен милый рот
Любимой гимназистки,
Когда она, шая, грызет
Огрызок зубочистки!
В ревнивой муке смотрит в пол
Отелло-проповедник,
А леди оперлась о стол,
Скосив глаза в передник.
Не видит? Глупый падишах!

Дразнить слепцов приятно.
Зачем же жалость на щеках
Зажгла пожаром пятна?
Но синих глаз не укротить,
И сердце длит причуду.
«Куда ты?» – «К шпорам». – «Что за прыть?» –
«Отстань! Хочу и буду».

III

Гремит мазурка – вся призыв.
На люстрах пляшут бусы.
Как пристяжные, лбы склонив,
Летит народ безусый.
А гимназистки-мотыльки,
Откинув ручки влево,
Как одуванчики легки,
Плывут под плеск напева.
В передней паре дирижер,
Поручик Грум-Борковский,
Вперед плечом, под рокот шпор
Беснуется чертовски.
С размаху на колени встав,
Вокруг обводит леди
И вдруг, взметнувшись, как удав,
Летит, краснее меди.
Ресницы долу опустив,
Она струится рядом,
Вся огнедышащий порыв
С лукаво-скромным взглядом...
О ревность, раненая лань!
О ревность, тигр грызущий!
За борт мундира сунув длань,
Бледнеет классик пуще.
На гордый взгляд – какой цинизм! –

Она, смеясь, кивнула...
Юнец, кляня милитаризм,
Сжал в гневе спинку стула.
Домой?.. Но дома стук часов,
Белинский над кроватью,
И бред полночных голосов,
И гул в висках... Проклятье!
Сжав губы, строгий, словно Дант,
Выходит он из залы.
Он не армейский адъютант,
Чтоб к ней идти в вассалы!..
Вдоль коридора лунный дым
И пар неясных пятна,
Но пепиньерки мчатся к ним
И гонят в зал обратно.
Ушел бедняк в пустынный класс,
На парту сел, вздыхая,
И, злясь, курил там целый час
Под картою Китая.

IV

С Дуняшей, горничной, домой
Летит она, болтая.
За ней вдоль стен, укрытых тьмой,
Крадется тень худая...
На сердце легче: офицер
Остался, видно, с носом.
Вон он, гремя, нырнул за сквер
Нахмуренным барбосом.
Передник белый в лунной мгле
Змеится из-под шали.
И слаще арфы – по земле
Шаги ее звучали...
Смешно! Она косится вбок

На мрачного Отелло.
Позвать? Ни-ни. Глупцу – урок,
Ей это надоело!
Дуняша, юбками пыля,
Склонясь, в ладонь хохочет,
А вдоль бульвара тополя
Вздывают ветви к ночи.
Над садом – перья зыбких туч.
Сирень исходит ядом.
Сейчас в парадной щелкнет ключ,
И скорбь забудет каскадом...
Не он ли для нее вчера
Выпиливал подчасник?
Нагнать? Но тверже топора
Угрюмый восьмиклассник:
В глазах – мазурка, адъютант,
Вертящиеся штрипки,
И разлетающийся бант,
И ложь ее улыбки...
Пришли. Крыльцо, как темный гроб,
Как вечный склеп разлуки.
Прижав к забору жаркий лоб,
Сжимает классик руки.
Рычит замок, жестокий зверь,
В груди – тупое жало.
И вдруг... толкнув Дуняшу в дверь,
Она с крыльца сбежала.
Мерцали блики лунных струй
И ширились все больше.
Минуту длился поцелуй!
(А может быть, и дольше.)

<1922>

Пожарный

В гудящем перезвоне
Плывут углы и рвы...
Летят шальные кони –
Раскормленные львы.
Пожарный в светлой каске,
Усатый кум Пахом,
Качаясь в мерной пляске,
Стоит над облучком.
«Тра-ра! Пошли с дороги!..»
Звенит-поет труба.
Гремя промчались дроги
У самого столба.
Блестят на солнце крупы
Лоснящихся коней.
Вдогонку мальчик глупый
Понесся из сеней...
Крик баб и визги шавок.
Свистки! Галдеж! Содом!
На площади у лавок
Горит-пылает дом.

Кони стали. Слез Пахом...
Ну-ка, лестницу живее!
Вьются дымчатые змеи...
Пламя в бешенстве лихом,
Словно рыжий дикий локон
Вырывается из окон...
Но пожарный наш не трус:
Слившись с лестницею зыбкой,
Вверх карабкается шибко,
Улыбаясь в черный ус.
Изогнувшись, словно бес,
Возле крыши в люк мансарды
Прыгнул легче леопарда
И исчез...
Дым и пламень... Треск и вой,
А внизу

Верещит городской,
Люд гудит, как лес в грозу...
Свищут юркие мальчишки,
Взбудораженные Гришки –
И струя воды столбом
Лупит в дом!
Две минуты – три – и пять...
Ах, как долго надо ждать!
Из раскрытого окна,
Раздвигая дым янтарный,
Черный, словно сатана,
Появляется пожарный:
А под мышкой у Пахома
Спит трехлетний мальчик Дема,
Прислонясь к щеке усатой
Головенкою лохматой...
Мать внизу кричит и плачет.
Верховой куда-то скачет.
Эй, воды, еще – еще!
Гаснет пламя. Пар шипящий
Встал над домом белой чашей,
Хорошо!

Переулками сонными едет обратно обоз,
Разгоняя бродячее стадо взлохмаченных коз.
Кони шеи склонили и пена на землю летит.
На последней повозке Пахом утомленный сидит.
Над заборами буйно синее густая сирень,
Дым из трубки Пахома струится, как сизая тень...
Наклонился Пахом – и слегка покачал головой:
Вся ладонь в пузырях... Ничего, заживет, не впервой!
Капли пота и сажи ползут по горячей щеке,
Кони тихо свернули за церковь к болтливой реке.
Солнце вспыхнуло в каске багровой закатной свечой...
За амбаром кружит голубок над родной каланчой.

<1921>

Репетитор

Тане Львовой захотелось в медицинский институт.
Дядя нанял ей студента, долговязого, как прут.

Каждый день в пустой гостиной он, крутя свой длинный ус,
Объяснял ей imperfectum^[4] и причастия на «us».

Таня Львова, как детеныш, важно морщила свой нос
И, выпячивая губки, отвечала на вопрос.

Но порой, борясь с дремотой, вдруг лукавый быстрый взгляд
Отвлекался от латыни за окно, в тенистый сад...

Там, в саду, так много яблок на дорожках и в траве:
Так и двинула б студента по латинской голове!

<1922>

О чем поет самовар

В животе горячо, в животе бурлит...
Держите меня! Сейчас побегу!
В стекла маленький, серенький дождик стучит...
И-и-и! У-у-у!
Бур-бур! Окно запотело...
Какое мне дело?
На улице сырость-слякоть-лужицы... Эх!
Напою и согрею всех:
Веселых, суровых,
Больных и здоровых,
Больших и крошечных-маленьких,
И самых седеньких-стареньких,—
В кишках теплее —

На свете милее...
Паф!
Где мальчик Васенька? Спит-спит-спит.
Глазки опухли...
Чайник простынет! Чаинки разбухли...
Пусть скорей-поскорей прибежит –
Сморщит кожицу,
Сделает рожицу,
Посмотрит в мой медный свирепый живот
И фыркнет во весь белозубый рот...
Кто дразнится, кто там поет на полу,
У печки – за шваброй – в углу?
Кот!
Пуф! Обормот.
Тоже сокровище.
Буль-буль-буль, подойди-ка, чудовище, –
Я-тебя, я-тебя, я-тебя каплей горячею в нос!
Что-с?
Паф! Испугался, убрался под шкаф...
Жду-жду... Скучно мне тут.
Пи!
Из крана крупные слезы текут.
Пи!
Ошалел от угара,
Задохся от пара,
Угольки раскалились, шипят и звенят.
Ах!
Бур-бур-бур! Я сердит – я волнуюсь – бурлю-клокочу.
Унесите меня... Не хочу!
Обливается потом конфорка и бок,
Пар свистит, пар пищит, как пожарный свисток!..
Распа-я-юсь! Подлейте во-ды! Не мо-гу!
И-и-и! У-у-у!

Змей

Облака плывут над пашней...
Из газетины вчерашней
Надо змея смастерить.
Раму склеим из лучинок,
Хвост из розовых шерстинок,
Ну а нить?

Нить? У бабушки в коробке
Есть большой моток для штопки,
Мигом к бабушке, айдá!
Ты голубушка! Ты дусик!
Ты милее всех бабусек!
Можно, да?

В мире нет добрей старушки...
Сели рядом у опушки
Перематывать клубок.
Справа – маки, слева – лютик,
Не спеши, верти на прутик –
В колобок!

Синькой вывели глазищи,
Углем – брови и усищи,
Клюквой – две ноздри и рот...
Хвост – как шлейф у генеральши...
Заноси-ка! Дальше, дальше!
До ворот!

Змей прыгнул вбок, метнулся ввысь –
Пора...
Как конь, во всю помчался рысь,
Ура!
Но нитка держит на вожжах,
Шалишь!
В лазури – белая межа

И тишь...
А ветер хвост относит вбок –
Пускай...
Быстрее разматывай клубок,
Лентяй!
Гудит наш змей, как паровоз...
Жара.
Эй, змей! Ты выше всех берез!
Ура!

Взяли промокашку,
Сделали старикашку,
Проткнули в животе калитку,
Посадили на нитку...
Ишь!
Запищал, как мышь,
Растопырил ручки,
Задрал брючки
И помчался кверху по нитке все прямо да прямо:
Это мы послали солнцу телеграмму.

<1923>

Пушкин

Над столом в цветной, парчовой раме
Старший брат мой, ясный и большой,
Пушкин со скрещенными руками –
Светлый щит над темною душой...

Наша жизнь – предсмертная отрывка...
Тем полней напев кастаньских струй!
Вон на полке маленькая книжка, –
Вся она, как первый поцелуй.

На Литве, на хуторе «Березки»,

Жил рязанский беженец Федот.
Целый день строгал он, молча, доски,
Утирая рукавами пот.

В летний день, замученный одышкой
(Нелегко колоть дрова в жару),
Я зашел, зажав топор под мышкой,
Навестить его и детвору.

Мухи все картинки засидели,
Хлебный мякиш высох и отстал.
У окна близ образа висели
Пушкин и турецкий генерал.

Генерал Федоту был известен,
Пушкин, к сожаленью, незнаком.
За картуз махорки (я был честен)
Я унес его, ликуя, в дом.

Мух отмыл, разгладил в старой книжке...
По краям заискрилась парча –
И вожу с собою в сундучишке,
Как бальзам от русского бича.

Жил ведь он! Раскрой его страницы,
Затаи дыханье и читай:
Наша плаха – станет небылицей,
Смолкнут стоны, стихнет хриплый лай...

Пусть Демьяны, новый вид зулусов,
Над его страной во мгле бренчат –
Никогда, пролеткультурный Брюсов,
Не вошел бы он в ваш скифский ад!

Жизнь и смерть его для нас, как рана,
Но душа спокойна за него:
Слава Богу! Он родился рано,

Он не видел, он не слышал ничего...

<1920>

Памяти Л. Н. Андреева

Давно над равниною русской, как ветер печальный и буйный,
Кружил он взволнованной мыслью, искал, и томился, и звал.
Не верил проклятому быту и, словно поток многоструйный,
Срываясь с утесов страдания, и хрипло, и дико рыдал.

С бессонною жаждой и гневом стучался он в вечные двери,
И сталкивал смерчи безверья, и мучил себя и других...
Прекрасную «Синюю Птицу» терзают косматые звери,
Жизнь – черная смрадная яма, костер из слепых и глухих.

Мы знали «пугает – не страшно», но грянуло грозное эхо.
И, словно по слову пророка, безумный надвинулся шквал:
Как буря, взметнулись раскаты кровавого «Красного
Смеха»,
Костлявый и жуткий «Царь-Голод» с «Анатэмой» начал свой
бал.

С распятым замученным сердцем одно только слово
«Россия»,
Одно только слово «спасите» кричал он в свой рупор тоски,
Кричал он в пространство, метался, смотрел, содрогаясь, на
Вия,
И сильное, чуткое сердце, устав, разорвалось в куски...

Под сенью финляндского бора лежит он печально и тихо,
Чужой и холодной землею забиты немые уста.
Хохочет, и воет, и свищет безглазое русское Лихо,
Молчит безответное небо, – и даль безнадежно пуста.

<1920>

«Ах, зачем нет Чехова на свете!»

Ах, зачем нет Чехова на свете!
Сколько вздорных – пеших и верхом,
С багажом готовых междометий
Осаждало в Ялте милый дом...

День за днем толклись они, как крысы,
Словно был он мировой боксер.
Он шутил, смотрел на кипарисы
И, прищурясь, слушал скучный вздор.

Я б тайком пришел к нему иначе:
Если б жил он, – горькие мечты! –
Подошел бы я к решетке дачи
Посмотреть на милые черты.

А когда б он тихими шагами
Подошел случайно вдруг ко мне,–
Я б, склонясь, закрыл лицо руками
И исчез в вечерней тишине.

<1922>

**Стихотворения, написанные в
эмиграции и не входившие в
прижизненные издания поэта
(1920–1932)**

Русская печаль*

И. А. Бунину

На виселицы срублены березы.
Слепой ордой затоптаны поля –
И только в книгах пламенные розы,
И только в книгах – русская земля!

Поэт-художник! Странная Жар-Птица
Из той страны, где только вой да пни...
Оазис ваш, где все родное снится,
Укроет многих в эти злые дни.

Спасибо вам за строгие напевы,
За гордое служенье красоте...
В тисках растущего, безвыходного гнева,
Как холодно теперь на высоте!

Шагать по комнате, к окну склоняться молча,
Смотреть на мертвые, пустые облака...
Не раз, не раз, гася приливы желчи,
Дрожала ваша скорбная рука...

Когда падет тупое царство низких, –
Для всех оставшихся – разбитых и больных –
Вы будете одним из самых близких,
Одним из самых близких и родных...

1920, октябрь

Скорбная годовщина

Толстой! Это слово сегодня так странно звучит.
Апостол Добра, пламеневшее жалостью слово...
На наших погостах среди многих затоптанных плит,
Как свежая рана, зияет могила Толстого.

Томясь и страдая, он звал нас в Грядущую Новь,
Слова отречения и правды сияли над каждым –
Увы! Закрывая лицо, отлетела от мира Любовь
И темная месть отравила томление жажды...

Толстой! Это слово сегодня так горько звучит.
Он истину больше любил, чем себя и Россию...
Но ложь все надменной грохочет в украденный щит
И люди встречают «Осанной» ее, как Мессию.

Что Истина? Трепетный факел свободной души,
Исканья тоскующим сердцем пути для незрячих...
В пустые поля он бежал в предрассветной тиши,
И ветер развеял всю горечь призывов горячих.

Толстой! Это имя сегодня так гордо звучит.
Как имя Платона, как светлое имя Сократа –
Для всех на земле – итальянец он, немец иль бритт –
Прекрасное имя Толстого желанно и свято.

И если сегодня у мирных чужих очагов
Все русское стало как символ звериного быта, –
У родины духа, – бескрайняя ширь берегов
И Муза Толстого вовеки не будет забыта...

Толстой! Это имя сегодня так свято звучит.
Усталость над миром раскинула саван суровый...
Нет в мире иного пути: Любовь победит!
И Истина встанет из гроба и сбросит оковы.

Как путники в бурю, на темном чужом корабле
Плывем мы в тумане... Ни вести, ни зова...

Сегодня мы все на далекой, родимой земле –
У тихой могилы Толстого...

<1920>

Памяти А. Блока

В аду томился серафим.
Кровавый свод висел над ним...
Чтоб боль отчаянья унять,
Он ад пытался оправдать.

Но странно: темная хвала
Кипела гневом, как хула...
Он смолк. На сломанном крыле
Дрожали тени в дымной мгле.

У врат – безжалостный дракон.
Мечта – распята, воля – сон...
Неспетых песен скорбный рой
Поник над арфою немой.

Уснул... На кроткое чело
Сиянье светлое легло.
Все громче плач, все злей разгул...

Уснул...

<1921>

Е. А. Полевицкой*

Так долог путь: ни вехи, ни приюта...
Ушли в века дни русского уюта,
Бессмысленно ревет, смывая жизнь, гроза.

И вновь к былому тянутся глаза.

В чужом театре – остров русской речи.
Недвижно замерли склонившиеся плечи.
И над рядами реет грустный сон
О русской девушке тургеневских времен.

Она – предчувствие позорной нашей были...
Не ей ли там сквозь сердце меч пронзили?
И не она ли – мать, жена, сестра –
Горит-трепещет в красной мгле костра?

Благословен Ваш нежный образ Лизы!
Ее души волнующие ризы
Коснулись нас в час ночи грозовой
Надеждою нетленной и живой.

<1921>

Галоши счастья

Посвящается тем, кто мечтает о советской визе

Перед гаснущим камином щуря сонные глаза,
Я смотрел, как алый уголь покрывала бирюза.
Вдруг нежданной светлой гостьей, между шкафом и стеной,
Андерсеновская фея закачалась предо мной.
Усадил ее я в кресло, пледом ноги ей покрыл,
Дождевик ее росистый на корзине разложил...
Лучезарными глазами улыбаясь и маня,
Фея ласково спросила: «Что попросишь у меня?»
В сумке кожаной и грубой, – уж меня не проведешь, –
Угадал я очертанья старых сказочных галош:
Кто б ты ни был, резвый мальчик или сморщенный старик,
Чуть надел их, все что хочешь, ты увидишь в тот же миг...

«Фея, друг мой, вот газеты... чай и булки... Будь добра:
Одолжи Галоши Счастья, посиди здесь до утра!»
И пока она возилась, вскинув кудри над щекой, –
Предо мной встал пестрый город за широкою рекой:
Разноцветные церквушки, пятна лавок и ларьков,
Лента стен, собор и барки... Ах, опять увижу Псков!
Влез в галоши... Даль свернулась. Шпалы, ребра деревень...
Я на площади соборной очутился в серый день.

* * *

По базару вялым шагом, как угрюмые быки,
Шли в суконных шлемах чуйки, к небу вскинувши штыки.
Дети рылись в грудях сора, а в пустых мучных рядах
Зябли люди с жалким хламом на трясущихся руках.
«Возвратились?» – тихо вскрикнул мой знакомый у ворот,
И в глазах его запавших прочитал я: «Идиот».
«Батов жив?» – «Давно расстрелян». – «Лев Кузьмич?» –
– «Возвратный тиф».–
Все, кого любил и знал я, отошли, как светлый миф...
Ветер дергал над Чекою палку с красным кумачом,
На крыльце торчал китаец, прислонясь к ружью плечом,
Молчаливый двор гостиный притаился, как сова,
Над разбитую лампадой – совнархозные слова...
На реке Пскове – пустыня. Где веселые лады?
Черт слизнул и соль, и рыбу, и дубовые бадьи...
Как небритый старый нищий, весь зарос навозом вал,
Дом, где жил я за рекою, комсомольским клубом стал.
Кровли нет. Всех близких стерли. Постоял я на углу –
И пошел в Галошах Счастья в злую уличную мглу.
Странно! Люди мне встречались двух невиданных пород:
У одних – избыток силы, у других – наоборот.
Ах, таких ужасных нищих и таких тревожных глаз
Не коснется, не опишет человеческий рассказ...
У пролома предо мною некто в кожаном предстал:

«Кто такой? Шпион? Бумаги!» Вскинул нос – Сарданапал!
Я Галоши Счастья сбросил и дрожащею рукой
Размахнулся над безмолвной, убегающей рекой.

* * *

На столе письмо белело, – потаенный гордый стон,
Под жилетную подкладкой проскользнувший за кордон.
Фея – вздор. Зачем датчанке прилетать в Passy ко мне?
Я, отравленный посланьем, в старый Псков слетал во сне.

<1924>

Соловьиное сердце

Памяти П. П. Потемкина

Соловьиное сердце – смешное и хрупкое чудо...
Потолочная плесень вдруг вспыхнет восточным ковром,
Ветер всхлипнет за вьюшкой, но в ветре – кто знает откуда?
–
Невидимка-органчик веселым звенит серебром.

Ты давно им владел – андерсеновским старым секретом...
Каждый грязный кирпич освещая бенгальским огнем,
Был ты в каждом движенье беспечным и вольным поэтом
И не сделал Пегаса своим водовозным конем.

От обломовских будней, пронизанных питерским гноем,
Уходил ты на волю сквозь створки волшебных дверей:
Полотер ярославский был русским твоим Антиномем,
И лукавый твой сад был шаров разноцветных пестрей.

Так запомнился крепко рисунок твой сочный и четкий:

И румянец герани и толстый ворчун-голубок...
Нахлобучивши шляпу, смотрел ты с усмешкою кроткой,
Насмотрелся и создал лирический русский лубок.

Муза в ситцевом платье была вне парнасских канонов,
Не звезда ль Беранже излучала повторно свой свет?
Но не понял никто из журнальных маститых Катонов,
Что беспечно прошел мимо нас настоящий поэт.

А потом... а потом и без слов нам все это известно.
Рев войны, кумачовый пожар... Где былая, родная герань?
Дом сгорел... На чужбине пустынно, и жутко, и тесно,
И усталый поэт, как в ярмо запряженная лань.

Надорвался и сгинул. Кричат биржевые таблицы...
Гул моторов... Рекламы... Как краток был светлый порыв!
Так порой, если отдыха нет, перелетные птицы
Гибнут в море, усталые крылья бессильно сложив.

<1926>

«Тургеневские девушки в могиле...»

Тургеневские девушки в могиле,
Ромео и Джульетта – сладкий бред...
Легенды и подкрашенные были, –
Что нам скрывать – давно простыл их след!

Мир фактов лют: в коннозаводстве красном
Аборты, сифилис, разгул и детский блуд,
Статистикой подсчитаны бесстрастной,
Давно вошли в марксистский их уют...

С их хлебом не сравним мы за границу:
Вуаль здесь гуще, сдержаннее жест –
А впрочем, друг, переверни страницу

И посмотри внимательно окрест...

<1926>

Эмигрантский уезд*

Диана

По берлинской безумной улице,
Где витрины орут в перекличке,
Где солдат безногий у стенки сутулится,
Предлагая прохожим спички,—
Там, играя зрачками, с цепочкой вдоль чрева,
Пролетает новейший продукт,
Экзотический лодзинский фрукт,
Ева Кранц, тонконогая дева.
Макароны цветной бахромы
Вьются в складках спадающей с ног кутерьмы...
Узел кос — золотистой червонца,—
Разве перекинь хуже, чем солнце?
На губах две сосиски пунцовой помады,
Сиз, как слива, напудренный нос,
Декольте — модный плоский поднос,
А глаза — две ночные шарады:
Мышеловки для встречных мужчин,—
Эротический сплин все познавшей наяды,
Или, проще сказать, атропин,
А в витрине ее двойники, манекены из воска,
Выгнув штопором руки над взбитой прической,
Улыбаются в стильных манто
На гудки вдаль летящих авто...
Ева Кранц — деловой человек —
В банк: свиданье, валюта и чек,
В ателье красоты: маникюр и массаж,
В магазины: подвязки, шартрез и плюмаж,
Карандаш, выводящий усы,
Рыжий шелк для отделки лисы,
Том Есенина «Красный монокль»
И эмалевый синий бинокль...

Столько дел, столько дел!
А навстречу оскалы мужчин,
Гарь бензина, шипение шин
И двухструйный поток расфуфыренных тел.
На углу обернулась: «Ах, Жорж?!»
Подбегает поношенный морж,
Сизобритый, оттенка почти баклажана,
Перетянут под мышками вроде жука,
Попугайский платок из кармана,
А глаза – два застывших плевка...
Посмотрите на Еву:
Брови – вправо, ресницы – налево,
Бедрa томно танцуют канкан,
Рот – коварно раскрытый капкан...
Берегись, баклажан!..

На берлинской безумной улице,
Где витрины орут с рассвета,
Где солдат у стенки сутулится –
Вы, конечно, видали все это.

<1922>

Голос обывателя

В двадцать третьем году, весной
В берлинской пивной
Сошлись русские эмигранты:
«Наемники Антанты»,
«Мелкобуржуазные предатели»
И «социал-соглашатели»...
Тема беседы была бескрайна,
Как теософическая тайна:
Что такое эмиграция?
Особая ли нация?
Отбор ли лучших людей?

Или каждый эмигрант злодей?
Кто-то даже сказал
На весь зал:
«Эмигранты – сплошь обыватели!»
А ведь это страшней, чем «социал-соглашатели».
Прокравшийся в зал из-под пола
Наканунский Лойола,
Предложил надеть на шею веревку
И вернуться в советскую мышеловку,–
Сам он в силу каких-то причин
Возлюбил буржуазный Берлин.
Спорящих было – двенадцать,
Точек зрения – двадцать,
Моя, двадцать первая, самая простая,
Такая:
Каждый может жить совершенно свободно,
Где угодно.
В прежнее время –
Ногу в стремя,
Белье в чемодан,
Заграничный паспорт в карман,
Целовал свою Пенелопу
И уезжал в Европу.
В Аракчеевской красной казарме
Не так гуманны жандармы:
Кто откупался червонцем,
Кто притворялся эстонцем,
Кто просто, сорвавшись с цепи,
Бежал сквозь леса и степи...
Тысячам тысяч не довелось,–
Кое-кому удалось...
Это и есть эмиграция,
Цыганская, пестрая нация.
Как в любой человеческой груди
В ней есть разные люди:
Получше – похуже,
Пошире – поуже,

Но судить нам друг друга нелепо,
И так живется, как в склепе...
Что касается «завоеваний революции»,
О которых невнятно бормочут иные Конфуции,
То скажу, как один пожилой еврей
(Что, пожалуй, всего мудрей):
Революция очень хорошая штука,—
Почему бы и нет?
Но первые семьдесят лет —
Не жизнь, а сплошная мука.

<1923>

Эмигрантское

О, если б в боковом кармане
Немного денег завелось,—
Давно б исчез в морском тумане
С российским знаменем «авось».

Давно б в Австралии далекой
Купил пустынный клочок земли.
С утра до звезд, под плеск потока,
Копался б я, как крот в пыли...

Завел бы пса. В часы досуга
Сидел бы с ним я у крыльца...
Без драк, без споров мы друг друга
Там понимали б до конца.

По вечерам, в прохладе сонной,
Ему б «Каштанку» я читал.
Прекрасный жребий Робинзона
Лишь Робинзон не понимал...

Потом, сняв шерсть с овец ленивых,

Купил в рассрочку б я коров...
Двум-трем друзьям (из молчаливых)
Я предложил бы хлеб и кров.

Не взял бы с них арендной платы
И оплатил бы переезд,—
Пусть лишь политикой проклятой
Не оскверняли б здешних мест!..

Но жизнь влетит, гласит анализ,—
В окно иль в дверь ее гони:
Исподтишка б мы подписались
Один на «Руль», другой на «Дни»...

Под мирным небом, как отравя,
Расцвел бы русский кэк-уок:
Один бы стал тянуть направо,
Другой налево, третий – вбок.

От криков пес сбежал бы в страхе,
Поджавши хвост, в мангровый лес...
А я за ним, в одной рубахе
Дрожа б на дерево залез!..

К чему томиться по пустыне,
Чтоб в ней все снова начинать?
Ведь Робинзоном здесь, в Берлине,
Пожалуй, легче можно стать...

<1923>

Полустанок

Не Этуаль и не Пасси
С их грохотом бесстыжим,—
Пою зеленое Гресси,

Усадьбу под Парижем:

Пруд в раме мощных тополей,
Разливы зреющих полей
И сумрак липовых аллей,
Пронзенных солнцем рыжим.

Пою дремучий огород,
Укроп и сельдереи,
И завитой бобами вход,
И ноготки-плебеи...

Среди крыжовного руна
Нырятся дамская спина
И ропщет басом: «Вот те на!
Обшарили, злодеи...»

Индюк залез в чертополох,
И птичница-хохлушка
Вопит: «Allez!^[5] Бодай ты сдох!..»
Пес рявкает, как пушка.
За частой сеткой птичий двор,—
Поет петух, сгребая сор,
Цыплята лезут на забор.
Качается опушка...

Вдали дородный, как кулич,
Сося мундштук вишневый,
Гуляет Николай Кузьмич
В рубашке чесучовой.
Как две упругих колбасы,
Висят табачные усы,
И вдоль рубашки, для красы —
Шнур с кисточкой пунцовой.

А у пруда матрос Сысой,
В плечах — косая сажень,
Смолит челнок густой смолой,
Спокоен, тих и важен.

В траве валяется сапог,
Сверкают икры крепких ног,
Над лугом – шапкой пышный стог,—
И ветер так протяжен...

Фокс Мистик, куцый хвост задрал,
Бросая в воздух тело,
Беспечно носится среди трав
В азарте оголтелом.

А я сижу, склоняясь в дугу,
На изумрудном берегу,
Но поплавок мой ни гу-гу...
Ну что ж... Не в этом дело!

Вдали у флигеля – семья
Укрылась в тень от зноя.
Накрытый столик, и скамья,
И платье голубое.

Сквозь сеть прибрежного хвоща
Ты слышишь аромат борща
И запах жирного леща,
И прочее такое?

«Война и мир» среди гамака
Страницы завивает,
А в доме детская рука
Чайковского терзает...

По-русски горлинка урчит,
По-русски дятел в ствол стучит,
По-русски старый парк молчит,
И пес по-русски лает.

А за оградой кольцом
Французская пшеница,
Часовня с серым петухом,
С навозом колесница...

Чужие, редкие леса,

Чужого неба полоса,
Чужие лица, голоса,—
Чужая небылица...

1924, июнь
Château de Gressy

Баллада о русском чудаке

Василий Жуковский
Любил романтический рокот баллад,—
Наш век не таковский,
Сплошной спотыкач заменил элегический лад...
Но отдыха ради,
Сняв арфу с угрюмой стены,
Вернемся к балладе,
К напеву, подобному плеску волны.

В Латинском квартале
Жил русский учитель Игнатий Попов.
В коричневой шали
Гонял по урокам до поздних часов,
Томился одышкой,
Ел суп из разваренных жил,
Пил жидкий чайшко
И строго в душе идеалы хранил.

Летели недели,
Все туже и уже сжималось кольцо:
Рубашки редели,
Свинцовым налетом покрылось лицо.
Раз в месяц, краснея,
Он брал у патронов свой грош,
Надежду лелея
Купить, наконец, к октябрю макинтош.

Но мзда за уроки
В сравненье со мздой массажистки – пустяк:
Ведь дряблые щеки
Без крупных затрат не разгладишь никак...
О русский учитель,
Смирись и умерь свою прыть!
Донашивай китель –
Вовек макинтоша тебе не купить.

Однажды весною
Пронзительный ветер к Попову прилип,
Холодной волною
Обвился вокруг тела, – а к вечеру – грипп...
Хозяйка отеля,
Где жил наш нелепый аскет,
Шесть дней у постели
Сидела, склонивши к больному корсет.

Как скрипка венгерца,
Под бюстом массивным запела любовь...
Запрыгало сердце,
Взволнованный нос заалел, как морковь.
Поила малиной,
Варила бульон и желе
И с кроткою миной
Сменяла компрессы на жарком челе.

Она победила:
Игнатий Попов отдышался и встал.
Спокойно и мило
Madame повернула к Попову овал:
«Отель при мужчине –
Мне меньше труда и обуз.
По этой причине
Не вступите ль в брачный со мною союз?»

Два дня он томился:

Камин, и перина, и сытный обед!
На третий решился
И сунул учебники в старый портплед.
Подсчитывать франки?
Жильцов-голышей прижимать?
Откладывать в банке?
Тайком из отеля бежал он, как тать.

Греми, моя арфа,—
Исчез безвозвратно Игнатий Попов,
Без теплого шарфа,
С одной лишь парой холодных носков...
Под елью узорной
На местном погосте он спит?
Иль в Африке черной
Арабских верблюдиц, вздыхая, доит?

Подыдем стаканы
За вышедший ныне в тираж идеал!
Попов этот странный
Меня не на шутку, друзья, взволновал...
Достоин героя —
Отринуть камин и обед
И в небо чужое
Поднять, словно знамя, свой старый портплед.

<1924>

Эмигрантская песня

Пою вполголоса, чуть плещет балалайка,—
Нельзя мне громче петь...
«Я вас прошу, — сказала мне хозяйка,—
Не рявкать, как медведь!
Моих жильцов тревожит ваше пенье,
Здесь, друг мой, не шантан...»

Но наплевать, – ведь нынче воскресенье, –
И я немножко пьян!
Чуть-чуть хватил дешевого винишка,
Да пива кружек пять...
На сундуке валяется манишка,
Горбом торчит кровать.
Звени, струна, – захлебывайся плеском,
Как голос бубенца,
Когда вдали за тихим перелеском
Он ропщет без конца.
Звени, струна... Снежок мохнатой пылью
Кружится над щекой,
Поля и даль встают орловской былью
Над скованной рекой.
Закатный жар горит над снежным бором,
Сугробы все синей...
Поют лады раздольным перебором
Все громче и вольней...
Звени, струна!.. Но, впрочем, – стук хозяйки.
«Entrez»^[6]. Погашен свет.
«Pardon, madame, – я, так сказать, в фуфайке.
Я пел?! Ей-Богу, нет».

<1924>

Утопия

На выборах в Югославии борется 48 партий.

Из газет

Представьте себе на одно мгновение
Новое вавилонское столпотворение:
В каждом уездном царстве,
В каждом республиканском государстве
Свой Чернов, своя Кускова,

Группа местного Милюкова,
Вожаки племенных меньшинств,
Не признающие никаких единств,
Монархисты левые, правые и центральные,
Националисты простые и социальные,
Буржуи, сочувствующие коммунистам,
Пролетарий, сочувствующий капиталистам,
Клерикалы, мистико-анархисты
И двадцати сортов социалисты...
Помимо программной хартии
У каждой партии
Уклоны, тактические подразделения,
Сезонные поправки и полевения...
Во имя наших детей,–
Как выплыть из этих сетей?!
Для уменьшения партийных сект
Вношу в Лигу наций проект...
Пусть даст приказ по земному шару:
Всех лидеров партий – в Сахару!
Видных партийных крикунов,
В сопровожденье полицейских чинов
(Всему же есть мера!)
Послать в Институт Пастера
Для беспартийной прививки
И мозговой промывки.

Ах, скажут, – наивный Гораций...
Все это критика,–
А дальше какая политика?..
Пусть Лига наций,
Призвав всех к порядку,
Созовет от каждой страны по десятку
Ученых, купцов, рабочих, банкиров,
Военно-морских командиров,
Инженеров, крестьян, матерей
(Всех, кроме красных зверей!) –
Известных иль неизвестных,

Лишь бы умных и честных...
Как у отцов-кардиналов
На выборах нового папы,
Пусть без всяких скандалов
Отберут у них шарфы и шляпы,
Запрут всех в пустой дворец
И держат там на запоре,—
Пока, наконец,
Они не окончат свои разговоры!
Пока не решат,
Как всем нам в любой отчизне
Наш идиотский ад
Превратить в подобие жизни.

<1925>

Камин
(Эмигрантская элегия)

Нет печки, увы!
Русской кафельной печки
С чугунной сквозистой у края дверцей,—
А на дверце дородный Ахилл,
Сидящий в шлеме с копьём у толстой щеки.
В кирпичном устье стреляли поленья —
Обрубки березы, цвета слоновьего бивня.
Капал сок и сонно шипел,
Языки, завиваясь спиралью, лизали кору,
Застилались сиренево-матовым дымом
И уносились в багряную глущь
Огненным полотенцем
В брызгах взлетающих искр.
Всю ночь держалось тепло!
Привинченный туго Ахилл
Излучал ровно-греющий пыл,
И меркнувший кафель, ладонь обжигая,

Теплей был орловской купчихи...

Ну, что ж... Обойдемся камином.
Славная штука этот камин!
Кресло, шипенье пекущихся яблок!
Котелок с бурлящей водой
И, пожалуй, на вертеле жирная утка...
Косые капли дождя
Монотонно секут запотевшие стекла...
Замок притих.
На плече чуть урчит задремавший котенок,
В замковом парке голые липы шумят.
На потолочных, насквозь прокопченных стропилах
Романтическим заревом вьется огонь...
Чудесно!.. Эй, там, мажордом,
Подбросьте-ка два-три дубовых бревна,—
Что их жалеть!..

Не угодно ль, я расскажу вам теперь,
Правдиво и просто,
Об этом самом камине?
Чуть свет угольщик хмурый трезвонит...
В кухне – северный полюс!
Сонный и злой, дрожа, отпираешь задвижку,
Загремит по железному ящику угольный дождь.
Насыпешь лопаткой в ведро
И тащишь, угрюмо зевая, к камину.
Не дыша и чихая, глаза закрывая рукой,
Выгребаешь пылящую мякоть золы –
И кладешь в решетку газеты.
(Правые – ярче горят,
Но левые – дольше, пожалуй...)
Зажжешь две пачки растопок в липкой обмазке
И на корточках молча замрешь –
На минуту, не больше...
И вот... О грозный момент!
Навалишь на чахлый огонь

Грудю угольных круглых лепешек,
Дым едкими струйками густо повалит,
Растопки замрут... Где пламя? Ау!
Напрасно, черный, как негр, на пол ложишься и дуешь,
Машешь обшарпанным грязным крылом
И, черновую поэму в клочки изодрав,
Бледный огонь вызываешь...
Легче мокрую кошку зажечь,
Чем этот проклятый камин!

О, как жадно в туннелях метро
На рекламы известные смотришь
С «Саламандрами» разного типа.
Как горько вздыхаешь, когда у знакомых в гостях
Отопление центральное видишь у двери...
Одним утешеньем живешь: апрель недалек,
Наглухо этот камин ненавистный закроешь
И солнцем, щедрою печкой для всех,
Огреешь продрогшие стены...

<1925>

День воскресный

Ах, в буднях мало красоты!..
Ей-ей, не аппетитно
Шесть дней намасливать листы
На фабрике бисквитной...
Приходишь вечером в кафе,
Протянешь ногу на софе
И, вялый с ног и до волос,
Сидишь, понутив нос.

Зато воскресный день – ого!
В окне кочуют тучки.
С утра – в квартире никого,

Щенок и тот в отлучке.

Завяжешь галстук пузырем,
Почистишь плащ нашатырем,
И вниз через ступеньку вскачь –
На улицу, как мяч...

В Булонский лес? Спаси, Аллах!

Суп из воскресных ближних...

И лес бензином весь пропах

Вплоть до дорожек нижних...

Я не аскет и не злодей,
Но раз в неделю без людей –
Такая ванна для души!
Где ж нет людей? В глуши.

– Где ж эта глушь? – Какой вокзал?..

Для вас ли, друг нескромный,

Я под Парижем разыскал

Зеленый клочок укромный?

За старой мельницей лужок,
Кольцо платанов, бережок...
Сказать, – так дней чрез пять иль шесть
Там негде будет сесть.

– Один?.. Ужель среди тихих нив

Я заведу романы?

Смотреть, как на плаще среди ив,

Она жует бананы?

Вести ее в кино и в клуб,
Щеку измазать краской губ,
А в час тащить ее домой
По улице немой?!

Нет! Лучше с удочкой лежать

В тени над лужей синей...

Клюет ли, нет ли, наплевать!

Плывет гусак с гусыней...

А вдоль шоссе шатры вершин,
Зудит пчела, и ты один...
Бисквитной фабрики уж нет,—
В воде закатный свет.

Под вечер встанешь и пойдешь
На свет огней вокзальных.
У низкой станции галдеж
И сотни пар двухспальных.
В вагон протиснешься угрем,
Мелькнут каштаны за бугром,
Поля — огни — дома — мосты...
Намасливай листы!

<1925>

Хохлушка (Акварель)

Нет быта... Быт собаки съели.
Мы все, скользнув в чужие щели,
Под серым западным дождем
На полустанке солнца ждем...
Но Музе скучно... Муза рыщет,
Упорно русских красок ищет,
Знакомых лиц и близких черт.
Что на пустую нить нанижем?
И вот в усадьбе под Парижем
Внезапно сядешь за мольберт.

К чугунным замковым воротам
Подъехал смелым поворотом
Фургон зеленый мясника.
Звенит призывно медь рожка.
Из глубины сырого сада
Плывет ленивая наяда,

Хохлушка Мотря. Рафинад!
Мясник галантно машет ручкой,
Разрыл печенку рыхлой кучкой
И вытер нож о бычий зад.

Портрет? Извольте. Сдобный голос,
Бровей лохмато-темный колос,
Бока – подушки, кнопкой нос,
Разит помадой от волос...
Грудь, моду чуждую нарушив,
Торчит, как две гигантских груши.
В глазах податливый огонь,
Средь пухлых щек, маня и тая,
Улыбка прыгает шальная,
Как в стойле беспокойный конь.

Пришла, вскочила на подножку...
Подняв увесистую ножку
Над изумрудною травой,
В фургон нырнула головой.
Француз-мясник, краснее туши,
Ей что-то шепчет жарко в уши, –
Ему ли в мясе толк не знать?
Шу-шу, шу-шу... Взяла котлетки
И, хлопнув парня по жилетке,
В засохший парк плывет опять.

За лаун-теннисной стеною
Индюк, раздувшийся копною,
Семейство одурелых кур
И старый сломанный Амур.
Хохлушка принесла лукошко, –
Обшарив все углы, как кошка,
Таясь, в траве склонилась ниц:
Ужо садовнику-бельгийцу,
Хоть он характером убийца,
Снесет с полдюжины яиц!..

Французский парк тенист и влажен.
Чуть брызжет солнце в сетку скважин.
Вдали мелькнул матрос с косою...
Стрельнувши пяткою босой,
Наперерез летит хохлушка.
Матрос увесистый, как пушка,
Кладет ей лапу на хребет...
Под грузной лаской оседая,
Глазами рысьими играя,
Она горит, как маков цвет.

В сенях – портплед, довольно емкий:
Студент гостит у экономки.
Конечно, Мотря тут как тут,
Плачь, Муза! Юноше – капут...
В руке передник, глазки – шилом,
Невинно повертела мылом...
«Вам здесь пондравилось, панич?..
Ай, сколько книжек! Все для чтенья?..»
И вдруг плечом – одно движенье –
Она ожгла его, как бич.

Как катышки из желтой ваты
По кухне бегают утята.
Хохлушка, подтянув подол,
Скребет мочалкой сальный стол.
А экономка, дьявол старый,
Скулит, косясь сквозь окуляры:
«Чистеха! Где была весь день?
Опять с каким-нибудь огарком?
Уж будешь к осени с подарком!»
Но Мотря, как дубовый пень.

Искристо-трепетной лилеей
Горит Венера над аллеей.
Спит дом в прохладной тишине.

Чья тень метнулась по стене?
Кто в лунный час вдоль окон бродит?
Кто с кухни хитрых глаз не сводит?
Все Мотря! Как ей, черту, спать:
Сейчас француженка-кухарка
Скользнет и сгинет в гуще парка,
А Мотря сзади, словно тать...

Узнала! У пруда садовник
Засел с кухаркою в шиповник.
А пса к забору привязал,
Чтоб он влюбленным не мешал.
Жену садовника позвать бы...
Вот будет бой! На всю усадьбу...
Но по дороге у окна
Она прильнула ухом к раме:
О чем жужжат две гостыи – дамы?
Хохлушка все ведь знать должна.

На сундуке букет ромашки.
Зажав в зубах плечо рубашки,
Свершает Мотря туалет.
Дрожит свечи неверный свет...
Свернула косы кладкой пышной,
Задула свечку и неслышно
Скользнула к лестнице крутой, –
«Панич?..» – стоит и дышит тяжело.
С плеча спускается рубашка...
О Муза, запахнись фатой!

1925
Париж

Мелкобуржуазные мечты

В туннелях парижской подземки
На кафельных стенках не раз
Одна из плакатных идиллий
Пленяла наш беженский глаз:

На ветке чирикает чижик,
Под веткой коробочка-дом,
Владелец с солидной сигарой
Гарцует на стуле верхом...
Не раз, дожидаясь вагона,
Игнатий Кузьмич
Глядел, улыбаясь влюбленно,
На ветку и домик-кулич.

За час от шального Парижа –
Сто метров зеленой земли!
У желтой калитки теленок,
В кустах контрабасят шмели.

Подсолнух дежурит у входа,
В столовой складная постель,
На грядках капуста в кудряшках...
Цыпленок клюет морковь...
Женился б на беженке Кате,
Кота бы завел...
Она бы валялась в кровати,
А он бы ей кофе молот.

По мудрым канонам природа, –
Когда седина в бороде, –
Невольно влечет человека
Сидеть на своей борозде...

Французы давно это знают,
А нам это вдвое ясней:
Своя тростниковая крыша
Всех партий на свете родней!
Двоюродной родиной новой
Исполнится дух,
Когда над калиткой сосновой

Свой собственный крикнет петух...

Но, горе... Кузьмич в ресторане
Всю ночь тарахтит в барабан...
Мелькнет негритянская пакля
И шведки раскормленный стан,
Извилисто ерзают пары,
Гнусаво гундосит труба...
В антракте он кротко стирает
Холодные капли со лба,—
И чижик свистит ему с ветки
Сквозь дым с потолка,
И хмель на садовой беседке
В мечтах расправляет рука...

Не курит, не пьет, не флиртует,
Сам гладит крахмальную грудь.
Куда только франки уходят?
Не жизнь, а цыганская муть!
Кой-что он припас для хозяйства:
Передник и старый брезент...
Хозяйка (он склеил ей зонтик)
Дала ему лейку в презент.
Найти б поручительство в банке,
Без банка – капут...
В коробочке двадцать два франка,
А цены на землю растут!..

<1926>

Газета

I

В освещенном квадрате
Вдоль стен рядами
В сосновых клетках
Кипы газет...
Четко и сухо
Прерывистой дробью
Стрекочет машинка:
Спешит – спешит!
В углах за столами,
Расставив локти,
Молчаливые люди
Строчат и стригут.
Ножницы звякнут,
Лист прошуршит,
Прищелкнут пальцы,
И снова тишь...
Зимой и летом
Перед глазами
Все те же обои,
Все тот же пейзаж:
За окнами стены,
В комнате полки,
На зеркале надпись:
«Нельзя шуметь».

Порой то те, то эти глаза
Уплывают за дымом окурка...
Из статьи вырастает, качаясь, лоза,
На лозе смешная фигурка –
Желтый камзолик, вишневый колпак,
В бисерных глазках усмешка:
«С утра и до ночи все пишешь, чудак?
Подумаешь, экая спешка!
Что, друг мой, вспомним сегодня с тобой?
Под Киевом дачу лесную,
Разлив Днепра – простор голубой,
Иль Настю, медичку шальную?»

Но надо писать, нельзя вспоминать –
Додымился окурок до края,
И беглые строки ложатся опять,
Глобус земной оплетая.

Онемеют плечо и рука,
Заклубятся в глазах облака,
Потолочные звезды в тумане...
Смены нет, – работа не ждет:
Обозренье – поминки – отчет,
Пена дней на словесном экране...

Нервной кляксой стрельнуло перо.
Не сбежать ли без шляпы в бистро?
Чашка кофе пришпорила б сердце...
Наклоняются плечи к столу,
И газетная Муза в углу
Подсыпает в чернильницу перцу.

II

Без земли и без границ
Мы живем в юдоли этой
Вроде странствующих птиц
С ежедневною газетой...
Рано утром взвизгнет трель.
Петр Ильич в обычной роли:
Из-под двери тащит в щель
Белый хвостик бандероли.
Как влюбленный гимназист –
Неумытый и небритый –
У окна в шуршащий лист
Погружает он ланиты.
Стул скрипит... Под потолок
Вьются сизые колечки,

Без газетных русских строк
Петр Ильич, как гусь без речки:
Каждый день к нему под дверь
Проникают без отмычки
Голоса надежд, потерь –
Эхо русской переклички...

Кто б ты ни был: врач, шофер,
Адвокат ли из Рязани,
Вологодский ли актер
Иль настройщик из Казани, –
На газетной полосе
(Поищи лишь там, где надо),
Словно русский мак в овсе,
Ждет тебя твоя услада.
Будешь бриться, а зрачок,
Как всегда, вопьется в строчки,
Даже чистя пиджачок,
Ты прочтешь столбец до точки...
А потом, летя в бюро
Сквозь французскую столицу,
Развернешь ты вновь в метро
Предпоследнюю страницу:
Слухи – справки – вечера
(О ковчег с цыганским пенъем!)
И подкидыши пера –
Письма «с истинным почтеньем»...
А напротив, худ, как хлыст,
Не земляк ли твой из Вятки
С оборота тот же лист
Пробежал во все лопатки.

Ты представь себе теперь:
Если завтра под порогом
Не газету сунут в дверь,
А один лишь лист с налогом.
Целый день, как вурдалак,

Будешь грызть жену и сына...
Не поможет ни табак,
Ни флакон бенедиктина!
Посему, читатель-брат,
Придирайся, да не очень,—
Журналист и так до пят
Ежедневно заморочен.
Пусть бурлит российский спор,
Пусть порою не без драки,
Но пока есть свой костер,—
Искры светятся во мраке...

<1928>

Парижское житие

В мансарде у самых небес,
Где с крыши в глухое окошко
Косится бездомная кошка,
Где кровля свергает отвес,—
 Жил беженец, русский ботаник,
 Идейный аскет,
По облику – вяземский пряник,
По прошлому – левый кадет.

Направо стоял рундучок
Со старым гербарием в дырках,
Налево, на двух растопырках,
Уютно лежал тюфячок.
 Зимою в Париже прохладно,
 Но все ж в уголке
Пристроился прочно и ладно
Эмалевый душ на крючке.

Вставал он, как зяблик, легко,
Брал душ и, румяный от стужи,

Подмахивал веничком лужи,
На лестнице пил молоко
 И мчался одним перегонном
 На съемку в Сен-Клу
Играть скрипача под вагоном
И лорда на светском балу.

К пяти подымался к себе,
Закат разливался так вяло...
Но бодрое солнце играло,
И голубь сидел на трубе...
 Поест, к фисгармонии сядет
 И детским альтом
Затянет о рейнской наяде,
Сидящей на камне крутом.

Не раз появлялся вверху
Пират фильмовой и коллега:
Нос брюквой, усы печенега,
Пальто на стрекозьем меху.
 Под мышкой крутая гитара,
 В глазах тишина...
Нацедит в молочник вина
И трубкой затянется яро.

Споют украинский дуэт:
Ботаник мечтательно стонет,
Пират, спотыкаясь, трезвонит
И басом октавит в жилет...
 А прачка за тонкой стеною
 Мелодии в лад
Качает прической льняною
И штопает кротко халат.

Потом, разумеется, спор,—
Корявый, кривой, бесполезный:
«Европа – мещанка над бездной!»

«А Азия – мутный костер!..»
Пират, покраснев от досады,
Угрюмо рычит,
Что дети – единственный щит,
Что взрослые – тухлые гады...

Ползет холодок по ногам.
Блеснула звезда над домами...
Спор рвется крутыми скачками
К грядущим слепым берегам.
Француженке-прачке неясно:
Орут и орут!
Жизнь мчится, мгновенье прекрасно,
В бистро и тепло, и уют...

Хотя б пригласили в кино!..
Но им, чудакам, не в догадку.
Пират надевает перчатку
И в черное смотрит окно.
Двенадцать. Ночь глубже и строже,
И гостя уж нет.
Бесшумно на зыбкое ложе
Ложится ботаник-аскет.

За тонкой холодной стеной
Лежит одинокая прачка.
Ворчит в коридоре собачка,
И ветер гудит ледяной.
Прислушалась... Что там с соседом?
Проснулся, вскочил...
Свою фисгармонию пледом
Накрыть он забыл.

<1928>

Я сидел на балконе с Иваном Петровым.
Он меня допекал удручающим словом:
«Час за часом подходит к закату Европа –
Это будет, пожалуй, почище потопа!
Люди скроются в норы, зарюются в Альпы,
Поснимают друг с друга косматые скальпы.
И, виляя хвостами, последняя пара
Съест друг друга среди чадного дыма пожара...
Мир объелся культурой! Ни воли, ни силы.
Отстоять ли Европе свои Фермопилы?
Войны, голод, отчаянье, бунты и тифы,–
А под занавес... с красными пиками скифы».

Не люблю я, признаться, ни бокса, ни кино,
Но меня взволновала такая картина...
Что за черт, в самом деле? Иль солнце устало?
Иль земля, отощав, навсегда отрожала?
Над балконом – детей бесконечные ленты,
В политехникум с папками мчатся студенты,
На скамейке пожарный прильнул к белошвейке,
Под окном у консьержки трещат канарейки...
Что ж торчать перед Сенной с губою отвислой
И надежды струей поливать сернокислой?
Если завтра потоп – строй ковчег из обломков
Иль повесься в чулане на крепкой тесемке!

«Не робейте, Петров...» В доказательствах роясь,
Я хотел ему бросить спасательный пояс.
Но, увы, не нуждался он в этом нимало,
На лице его бодрость, как масло, сияла:
Ворох книг проглотив, нанизав все поклепы,
Стал он спёцом почти по закату Европы,
Даже даты предсказывал точно и веско,
Как гадалка из Тулы Агафья Франческо,
Даже фильму закатную стряпал в секрете –
В первом акте Венера верхом на скелете...
Занимаясь «Проблемою пола» когда-то,

Перешил он Венеру теперь для заката.

<1928>

Парижские частушки

I

Ветерок с Бульвар-Мишеля
Сладострастно дует в грудь...
За квартиру он не платит,—
Отчего ж ему не дуть.

У французского народа
Чтой-то русское в крови:
По-французски – запеканка,
А по-русски «о-де-ви».

Все такси летят, как бомбы,
Сторонись, честной народ!
Я ажану строю глазки,—
Может быть, переведет.

На писательском балу
Я покуролесила:
Потолкалась, съела кильку,—
Очень было весело!

Эх ты, карт-д'идантите,
Либерте-фратерните!
Где родился, где ты помер,
Возраст бабушки – и номер...

Заказали мне, пардон,
Вышивать комбинезон...

Для чего ж там вышивать,
Где узора не видать?

Вниз по матушке по Сене
Пароход вихляется...
Милый занял 20 франков,—
Больше не является.

Сверху море, снизу море,
Посредине Франция.
С кем бы мне поцеловаться
На подземной станции?

Мне мясник в кредит не верит,—
Чтой-то за суровости?
Не пойти ли к консультанту
В «Последние новости»?

Чем бы, чем бы мне развлечься?
Нынче я с получкою.
На Марше-о-пюс смотаюсь,
Куплю швабру с ручкою.

На Булонском на пруде
Лебедь дрыхнет на воде.
Надо б с этих лебедей
Драть налоги, как с людей...

Как над Эйфелевой башней
В небе голубь катится...
Я для пачпорта снималась,—
Вышла каракатица.

Над Латинским над кварталом
Солнце разгорается...
У консьержки три ребенка,
А мне воспрещается.

Мой земляк в газете тиснул
Объявление в рамке:
«Бывший опытный настройщик
Ищет место мамки...»

II

Эх ты, кризис, чертов кризис!
Подвело совсем нутро...
Пятый раз даю я Мишке
На обратное метро.

Дождик прыщет, ветер свищет,
Разогнал всех воробьев...
Не пойти ли мне на лекцию
«Любовь у муравьев»?

Разоделась я по моде,
Получила первый приз:
Сверху вырезала спину
И пришила шлейфом вниз.

Сена рвется, как кобыла,
Наводнение до перил...
Не на то я борщ варила,
Чтоб к соседке ты ходил!

Трудно, трудно над Монмартром
В небе звезды сосчитать,
А еще труднее утром
По будильнику вставать!..

У меня ли под Парижем
В восемь метров чернозем:

Два под брюкву, два под клюкву,
Два под садик, два под дом.

Мой сосед, как ландыш, скромн,
Чтобы черт его побрал!
Сколько раз мне брил затылок,
Хоть бы раз поцеловал...

Продала тюфяк я нынче,
Эх ты, голая кровать!
На «Записках современных»
Очень жестко будет спать.

Мне шофер в любви открылся –
Трезвый, вежливый, не мот:
Час катал меня вдоль Сены,
За бензин представил счет.

Для чего позвали в гости
В симпатичную семью?
Сами, черти, сели в покер,
А я чай холодный пью.

Я в газетах прочитала:
Ищут мамку в Данию.
Я б потрафила, пожалуй,
Кабы знать заранее...

Посулил ты мне чулки,
В ручки я захлопала...
А принес, подлец, носки,
Чтоб я их заштопала.

В фильме месяц я играла, –
Лаяла собакою...
А теперь мне повышение:
Лягушонком квакаю.

Ни гвоздей да ни ажанов,
Плас Конкорд, как океан...
Испужалась, села наземь,—
Аксидан так аксидан!

Нет ни снега, нет ни санок.
Без зимы мне свет не мил.
Хоть бы ты меня мороженым,
Мой сокол, угостил...

Милый год живет в Париже,
Понабрался лоску:
Всегда вилку вытирает
О свою прическу.

На камине восемь килек,—
День рожденья, так сказать...
Кто придет девятым в гости,
Может спичку пососать...

Пароход ревет белугой,
Башня Эйфеля в чаду...
Кто меня бы мисс Калугой
Выбрал в нонешнем году!

<1930–1931>

Эмигрантская полька

«Левой, правой, кучерявый»

Дарья Львовна, жизнь не финиш!
Вы застыли, как Иртыш...
Я сегодня именинник
И консьержу дал бакшиш.

Дайте лапку,
Стан в охапку,—
Что вы гнетесь, как камыш?

Мой паркет блестит, как льдина,—
Сам сегодня натирал.
Шаповаленко, скотина,
Что ты скачешь, как шакал?
Локоть ниже,
Корпус ближе,—
Дама, друг мой, не бокал.

На постели три миноги,
Запеканка и салат...
Отдирайте с треском ноги
И притопывайте в лад!
Петр Иваныч,
Тараканыч,
Подберите ваш фасад...

Граммфон рокочет четко,
Блещет алый маникюр...
Ах, какая вы красotka,
Баронесса де Кутюр!
Ваши формы
Выше нормы —
Приглашаю вас на тур.

Как тюльпан на дамской сумке,
Разгорается душа...
Эй, шофер, не трогай рюмки —
Кто не пляшет, — ни шиша.
На два такта,
В час антракта
Хватим все мы, не спеша.

Завтра снова за работу,

Завтра в трюм нырнем опять...
До седьмого будем поту
Мы сегодня танцевать!
 Дарья Львовна,–
 Все условно:
Можно вас облобызать?

<1930>

Деловая ода в честь русской эмигрантки

Во все углы земного шара,
До дебрей Мексики глухих,
Исполнен пафоса и жара,
Пусть долетит мой гулкий стих...
 Внимая эмигрантской лире,
 Меня поймут в любой квартире,
 Где кое-как расцвел наш быт
 У очагов чужих и плит.

О ты, усадебная дева
Былых тургеневских времен!
Под сенью липового древа
Ты распускалась, как бутон...
 Имея скатерть-самобранку,
 Хранила гордую осанку
 И, шелком расшивая шаль,
 Насквозь светилась, как хрусталь.

На клавикордах между окон
Брала аккорды в тихий час,
На пальчик навивала локон,
Пила, томясь, студеный квас...
 И если господин Лаврецкий
 Въезжал во двор с улыбкой светской,
 Ты, вздернув бантик у чела,

К мамаше паинькою шла.

Прости, о призрак бледно-синий,
Сгоревший в зареве костра!
У нас другие героини,
И их воспеть давно пора...
 На миг очнемся от угара
 И вдоль всего земного шара
 Присядем мысленно в кружок
 На символический лужок.

О жены, сестры и кузины –
Цемент, крепящий нас в беде!
Вы, как фиалки, неповинны
В несчастной русской чехарде.
 Но у разбитого корыта
 Не вы ль, собрав осколки быта,
 За годом год, судьбе назло,
 Горите ровно и светло?

Мы злимся, нервничаем, ропщем,
«По-женски» мы себя ведем.
А женщины под прессом общим
Сильней и крепче с каждым днем...
 Рокочет швейная машина,
 Бубнит взволнованный мужчина,
 В бровях – унынье, в рюмке – ром,
 Но женские глаза как бром.

В любом вертепе ваши пальцы
Совьют подобие гнезда:
Дымится борщ на одеяльце,
В пивной бутылке – резеда...
 Заглянет гость – привет и ложка,
 Белеет шторка вдоль окошка,
 И платье – что чудней всего –
 Два лепестка из ничего.

Кто вмиг скроит из старой шляпки
Роскошный модный абажур?
Кто ставит банки, моет тряпки,
Разводит кроликов и кур?
 В «свободный» час кротки, как пери,
 Кто рипполином красит двери,
 Кто шьет, кто пишет образа?
 Кто куклам делает глаза?

Кто охраняет кров и вещи,
Как на посту своем солдат,
От всяких кризисов зловещих,
От всяких экстренных уплат?
 Легко министром быть финансов,
 Когда в шкатулке много шансов,
 Но гениальная рука
 Кроит бюджет из пятака...

Ужели мы настолько грубы,
Что будем их хулить взасос
За чуть подкрашенные губы,
За дым соломенных волос?
 Подтянутость – большая штука,
 И в прошлом нам тому порука –
 Обломов с рыхлою икрой.
 В халате, в шлепанцах с дырой...

О дорогие эмигранты,
Шершаво-жесткие козлы!
Все эти женские таланты
Достойны бешеной хвалы...
 Не стоим мы такого дара –
 Давайте ж пламенно и яро
 Подыдем рюмки в небосвод:
 «За женский наш громоотвод!»

1930

Русская лавочка

В бочонке селедки
Уютными дремлют рядами...
Изысканно-кроткий
Приказчик склоняется к даме:
«Угодно-с икорки?
Балык первоклассный из Риги...»
Кот Васька с конторки
Лениво глазеет на фиги.
Под штофом с полынной
Тарань аромат излучает...
Ужель за витриной
Парижская площадь сияет?
Так странно в Париже
Стоять над кадушкой с морошкой
И в розовой жиже
Болтать деревянную ложкой...
А рядом полковник
Блаженно припал к кулебяке,—
Глаза, как крыжовник,
Раскинулись веером баки...
Холм яблок на стойке
Круглится румяною митрой,
Вдоль полки настойки
Играют российской палитрой.
Пар ходит, как в бане,
Дух воблы все гуще и слаще,
Над дверью в тумане
Звенит колокольчик все чаще.

1931

Сказка о золотой рыбке (новый вариант)

Дело было весною в Париже.
На камине стояла банка
С золотою, потертою рыбкой...
Поэт бросал ей облатки,
Муравьиные яйца и крошки
И из крана, два раза в сутки,
Подливал ей свежую воду.
Но скучала рыбка изрядно,—
Подымалась к самому краю,
Оплывала тесную банку,
Беспомощно рот разевала,
Словно астмой страдала несносной,
И какие-то белые нитки
Из ее живота волочились.

Как-то вечером тихой стопою
Поэт подошел к камину,
Покачал головой лохматой
И промолвил с кроткой усмешкой:
«Молчаливая, вялая рыбка,
Золотая моя квартирантка!
В старину с твоей прабабкой
Преглупейшая штука случилась,—
В старину она в сеть попалась,
А старик был дурень отпетый
И при том еще находился
У своей старухи под лаптем...
Отпустил бескорыстно он рыбку,
А потом, по приказу старухи,
С год он рыбке башку морочил,
Потакая бабьим причудам...
Я, дружок мой, ей-ей скромнее:
Ни о чем я клянчить не буду,
Отпущу тебя даром в Сену.

От всего широкого сердца,—
Плыви хоть до самого моря.
Приходить я на берег не буду,
Торговаться с тобой не стану,
Даю тебе честное слово!»

Показалось из банки рыльце,
Бисерные глазки сверкнули...
Чуть жилец не свалился на пол,—
Прозвенела чуть слышно рыбка,
Как комар, забравшийся в цитру:
«Ты чудак, мой добрый хозяин!
Мне совсем не нужна свобода —
В Сене, милый, не очень-то чисто,
По Сене плавают пробки,
Раздутые кошки, собаки
И всякий сор пароходный...
И пици в Сене немного,—
Либо щука меня заплотает,
Либо я сама с голодухи
На крючок напорюсь рыболовный.
Рыболовы стоят над мостами
По десятку на каждую рыбку...
Они, дорогой мой, французы,
Они рыбок с крючка не спускают,—
Не такие они дуралеи,—
Они рыбок домой уносят,
На оливковом жарят их масле...
У тебя мне живется неплохо:
Я привыкла давно к своей банке,
Как ты к своей комнате тесной.
Отпусти тебя бы на волю,
Как об этом в стихах ты просишь,
Пропадешь ты, как жук в океане...
Об одном лишь тебя прошу я:
Ты, хозяин мой, страшно рассеян,—
Не бросай папиросного пепла,

Бога ради, в мой домик стеклянный,
И не жги до зари ты лампы,—
Сочинять ведь и днем ты можешь...
До утра я глаз не смыкаю
При ночном электрическом солнце!»

* * *

Поэт в ответ только крякнул
И к окну отошел смущенный.

<1931>

Первая ласточка

(в манере Уолта Уитмена)

О дорогие Соединенные Штаты,
Страдающие золотым ожирением сердца!
Пролетел светлый слух,
Что вы передышку дадите Европе,
Скостите чуть-чуть долги,
Понизите учетный процент,
Устройте платежный антракт —
И еще что-то такое в этом же роде,
Чего не понимают поэты
И в чем даже опытный черт
Сломает себе свою козлиную ногу...

И тогда — Франция, Англия и прочие страны,
Которые еще недавно назывались певчим словом
«Антанта»,
(Как имя венгерской графини, звучит это слово!),—

Тогда все эти страны в избытке лирических чувств
Тоже что-то такое
Скостят – отсрочат – рассрочат Германии...
И весь земной шар
Легче вздохнет своими двумя полушариями,
О дорогие Соединенные Штаты!

Золото вновь потечет свободно в жилах мира,
Преодолев закупорку вен,
Безработные вновь получают работу,
Улыбнутся портные,
Расправят брови заказчики,
Те, кто ходят пешком, – поедут в трамваях,
Те, кто ездят в трамваях, – поедут в такси,
И каждый влюбленный конторщик вновь сможет
Купить своей Дульцинее
Мотыльковый чайный передник...

О дорогой мой Гувер!
Поговорите там со своими –
Дельцами, купцами, министрами
И другими, – дьявол их знает,
Как они там еще называются...
Соберитесь за круглым столом в пижамах
(Летом можно попроще)
И за бутылкой безалкогольного морса
Скорее решайтесь!
У вас ведь в Штатах тоже не сахар:
Бандит на бандите,
Банкрот на банкроте,
Шесть миллионов – подумайте, шесть! – безработных голов.

Умножьте на два:
Двенадцать миллионов рук,
Которые чешут угрюмо в затылках,
Вы понимаете сами...

О дорогие Соединенные Штаты!
Рикошетом ваш жест благородный
Коснется и нас:
Любой эмигрант вывернул трижды
Свои довоенные брюки, –
В четвертый нельзя!..
По «репарациям» нашим –
Квартира! Газ! Электричество!
Долг в угловой мелочной!
Долг краснощекой, но зверски безжалостной прачке!
Никто не дает нам отсрочки...
А доходы?
Американский любой финансист
Сошел бы с ума,
Если б вздумал в бюджете нашем шальном разобраться.
А ведь мы тоже люди, о Гувер!
И по случаю лета
Тоже имеем формальное право
На распродажный купальный костюм,
На чайную розу в петлице,
На пару светлых подтяжек,
На билет из Парижа в Кламар
(Туда и обратно),
И на свой ежедневный бокал
Темного пива, о Гувер!..

<1931>

Надо помочь*

Русский мальчик

Быть может, в тихом Нанте, быть может, в шумном Марселе
—

Адрес мне неизвестен, не знаю особых примет,
Он моет в бистро бокалы, вытирает столы на панели,
Хмуро смотрит в окно, — но уличный шум не ответ.

Настанет вольный вечер, в бистро собираются люди,
С отцами приходят мальчишки — поплазеть, лимонада
плотнуть...

Наклоняйся за клеткой-прилавком к мокрой щербатой
посуде,
Сверли пустыми глазами чужую веселую муть!

Скроются поздние гости, зевнет почтенный хозяин,
Мальчик скользнет в мансарду, в низкую душную клеть:
В оконце темные кровли, фонари пустынных окраин,
Звездной дорожкой змеится железнодорожная сеть.

Никого... Тишина и усталость. Тринадцать лет или сорок?
Скрипит беспокойная койка, слуга храпит за стеной.
С восходом солнца все то же: метла, груды пробок и корок,
Бокалы, бокалы, бокалы и пестрый плакат над спиной...

А есть ведь слова на свете, иль были, быть может, когда-то?
Беспечность, радость и детство, родина, школа и мать...
За что над детской душою такая нависла расплата?
Как этим плечам невинным такую тяжесть поднять?

Русские инвалиды

Кто больше их имеет право
На светлый угол, теплый кров?
Союзным братьям мир и слава,—
А русским... придорожный ров.

Ужели слову «Человечность»
На новой бирже грош цена,
И танцевальная беспечность
Опустошила всех до дна?

Ярлык прекрасен: Лига наций...
Но мы без пышных декораций.
Молчит, не видит... Бог — судья!
Забыть не смеем, — ты и я...

Здоров? В труде неутомимом
Насущный добываешь хлеб?
Не проходи ж, потупясь, мимо,
Есть долг превыше всех потреб.

Пред горем их наш быт — забава...
Очнись и дай! Не надо слов...
Кто больше их имеет право
На светлый угол, теплый кров?

1926

«Иллюстрированной России»

(по случаю двухлетнего юбилея)

Как гласит резная надпись
На кольце у Торквемада:

«Раз в неделю человеку
Чем-нибудь развлечься надо».
И когда в субботу утром
В щель под дверь консьерж-бездельник
Сунет вам письмо из Ковно
И журнал-еженедельник,—
На письмо поставя кофе
Или блюдо с ветчиною,—
Вы бросаетесь к журналу
С сыном, дочкой и женою.

Словно в Ноевом ковчеге,
Все в журнале вы найдете:
Двухголового верблюда,
Шляпку модную для тети,
Уголовную новеллу
В двести двадцать литров крови
И научную страничку —
«Как выращивают брови»...
Обыватель — это сила!
Чуть забыл — и сразу на кол
Он издателя посадит:
Это вам не кот заплакал!
Даже старцы Петр и Павел
По шаблонам европейским
Завели отдел в газетах
С содержанием злодейским...
«Тайны замков» и «Вампиры»
Помогли решить проблему,
Как связать тираж с идеей,—
Впрочем, — это не на тему.

Но зато еженедельник,
Рядом с модой и верблюдом,
На десерт вас угощает
И другим отборным блюдом:
То бряцаньем звонкой лиры,

То изысканною прозой –
В огороде эмигрантском
Лук растет бок о бок с розой...
Пусть растет! В пустыне нашей
Дорог каждый нам оазис, –
Да и розу удобряет
Основной тиражный базис.

Посему, давайте выпьем,
Оглашая стены зала
Юбилейными словами
В честь двухлетнего журнала...
Размножайся от Парижа
До пролива Лаперуза...
И, ввиду паденья франка,
Будь внимательнее к Музам!

<1926>

Елка в тургеневской библиотеке

(Внимание детей и взрослых)

Я крепко спал... Вдруг двери закрипели.
Иван Сергеевич Тургенев, милый гость,
Снял теплый шарф, уселся у постели,
Облокотился на бамбуковую трость
И говорит: «Поэт! Я к вам по делу,
Простите, что не вовремя бужу,
Возьмите перышко или кусочек мелу
И запишите то, что я скажу...
Моей библиотекою в Париже
Готовится (приятней нет вестей!)
В день двадцать пятый декабря, – не ближе, –
Чудеснейшая елка для детей.

Прошу вас, друг мой, тисните в газете,
Чтоб вымыли и выстригли ребят.
Пускай приходят взрослые и дети,
Я, – запишите, – буду очень рад!»

* * *

В смущении подвинулся я к краю,
Часы со столика упали на кровать...
Мой гость исчез... Я просьбу исполняю.
Тургеневу могу ль я отказать?

*1927, декабрь
Париж*

Размышления у подъезда «Лютеции»

Куда тебя судьба не сунет головою –
На журналистский ли, на докторский ли бал,
Ты всюду чувствуешь с симпатией живою,
Что ты опять в родной уезд попал.

Опять у вешалки, над тем же самым местом,
Увидишь в зеркале знакомый поворот;
Все та же дама прошлогодним жестом
Все так же красит прошлогодний рот.

И те же самые у входа контролеры,
В петлицах бантики, беспомощность в зрачках,
Все те же смокинги, жилеты и проборы,
Лишь седины прибавилось в висках...

Идешь по лестнице и с зоркостью поэта,
Не вскинув глаз, доходишь до всего:

Вот это ноги адвоката Дзета,
А это ножки дочери его.

Взбегает лань все в той же алой шали,
За ней с одышкой все тот же старый лев...
Хирург знакомый томно пляшет в зале,
Бородку ввысь мечтательно воздев.

Не прошлогодняя ль дрожит в буфете водка?
Омолодились лишь индюшка и балык...
О ты, которая так ласково и кротко
Прикальываешь к курице ярлык!

Пройдешься медленно вдоль пестрой лотереи:
Опять автографы, два шарфа и этюд.
В углу за кассой две бессменных Лорелеи,
У всех простенков беспризорный люд...

Но под жилеткою так сладко ноют кости,
Как будто невзначай под Рождество
К соседям давнишним ты вдруг свалился в гости
Иль на семейное ввалился торжество.

Опять поймаешь в коридорчике коллегу
И, продолжая прошлогодний диалог,
Как встарь, придешь к буфету и с разбегу
Холодной рюмкой подчеркнешь итог...

Когда ж, к прискорбию, – о Господи, помилуй! –
Тебе придется что-нибудь читать,
И над эстрадой с прошлогодней силой
Цветник уездный расцветет опять, –

Любой в нем нос изучен в полной мере,
Любой в нем лоб знаком, как апельсин,
И снова кажется, что пред тобой в партере
Сидит четыреста кузенов и кузин.

И так потянет, сбросив с плеч разлуку,
И предвкушая наш дальнейший путь,
До восемнадцатого ряда всем им руку
Сочувственно с эстрады протянуть...

1927
Париж

«1928»

Над станцией в гирлянде: «Двадцать восемь».
Холодных цифр нам темен скучный блеск.
Мы среди чужих – молчим, не ждем, не просим,
Не к нам струится телеграфный треск.

Чрез пять минут ревущая машина
В четвертом классе вдаль умчит нас вновь.
Вновь за окном блеснет реклама-шина,
Мелькнет труба – гигантская морковь.

Мы на ходу под говорок колесный
Куем и пишем, шьем, строгаем, спим,
И каждому иначе машут сосны,
И разное рассказывает дым.

Но здесь, на станции, в миг праздного этапа,
Эй, земляки, сгрудимся в тесный круг...
Вот здесь, в углу, вблизи глухого шкапа,
Пускай зазеленеет русский луг!

Летят года, как взмыленные кони, –
Еще не слышно благостных вестей...
Пожмем друг другу крепкие ладони
И лапки милые примолкнувших детей.

Пусть наших жен исколотые пальцы
Нас теплой бодростью поддержат в этот миг...
В чужих гостиницах, ночные постояльцы,
Мы сдержим звон проржавленных вериг.

<1928>

Дом в Монморанси

Дом, как ковчег. Фасад – кормой широкой.
По сторонам молчат стволы в плюще,
У стенки – кролики, площадка для песка,
Вдали полого-изумрудная лужайка...
А в доме гости: у распахнутых дверей
Стоят и смотрят – старые, седые.
Глаза помолодели в этот день,
Но сдержанны взволнованные лица.
В столовой ожерелие голов:
Каштановых, льняных и золотистых, –
И звезды разноцветных детских глаз.
Упала ложка... Вспыхнул детский смех.
Вздыхают губы, шевелятся ножки, –
В окне деревья, облака и солнце.
Скорей бы пообедать и к гостям!

* * *

Кружились дети легким хороводом
И пели песни. Русские слова...
Так дружно топотали башмачки,
И так старательно напев сплетали губы.
Потом плясали в радостном кругу
Два одуванчика – боярышни-девчурки.
Прихлопывали взрослые в ладони,

В окне сияла кроткая весна,
А в детском креслице сидел в углу малыш,
Трехлетний зритель, тихий и степенный,
Пушились светлым пухом волоски...
Шумят, поют – и столько новых дядей...
Расплакаться иль звонко рассмеяться?
Картинки детские пестрели на стене,
Мы, взрослые, сидели на скамейке,
И мысль одна в глазах перебегала:
Здесь, за оградой, русский островок,
Здесь маленькая родина живая...

* * *

Я у окна беседовал с детьми.
Похожий на пажа серьезный мальчик
Мне протянул игрушечный магнит,–
На нем гирляндюю булавки трепыхались...
«Притягивает...» – объяснил он тихо.
«Я из Парижа привезу тебе
Из воска утку. В клюв ты ей воткнешь
Иголочку и в таз с водоюпустишь,
Магнит запрячешь в хлеб – и чуть поманишь,
Она к тебе за хлебом поплывет»,–
«Вы фокусник?...» Я левый глаз прищурил.
Другой принес мне чучело чижа:
«Он был живой?» Я подтвердил: «Еще бы!» –
«А от чего он умер, ты не знаешь?» –
«Сел на трубу, заснул и угорел».
Такой кончиной мальчик был доволен.
К руке моей прижавшись вдруг плечом,
Сказала девочка с японскими глазами:
«Ко всем приехали, а мамы нет как нет...» –
«Испортился, должно быть, паровозик».–
«Ты думаешь? Когда ж она приедет?» –

«Сегодня к ужину». Девушка расцвела.

* * *

Весь дом я обошел. В покоях верхних
Кровати детские стояли чинно в ряд.
Сквозь заплетенные, высокие края
Пикейные пестрели одеяльца.
Сверкали стены свежей белизной,
И пол блестел, как палуба фрегата.
Как сладко вечером им здесь смежать глаза,
В уютных гнездах, рядом, в полумгле,
Дыханье тихое одно с другим сливая...
Ступеньки вверх. В отдельной комнатушке
Три мальчика, как кролики, лежали.
Простуда легкая, их резвость укротив,
Румянцем на щеках их разгоралась...
Спустились вниз. За дверью – длинный стол,
Журчит беседа, чай дымится в чашках.
И – друг гостей – бормочет самовар.
Я вышел в сад: так зелена трава,
Так радостны пушистые вершины...
Благословенье этой мирной кровле!

* * *

Читатель, друг! Быть может, в суете,
В потоке дней, в заботах бесконечных
Не вспомнил ты о тех, кто кротко ждет,
Кто о себе не вымолвит ни слова...
И что сказать? Дом этот общий – наш,
В нем русская надежда зацветает.

.....

Во имя русских маленьких детей
Я пред тобой снимаю молча шляпу.

1929, апрель

Надо помочь!
(к неделе русского студента)

Рабочие-студенты наши
Не жалуется нам...
На вечерах у них уютно и легко:
Поют, читают, пляшут.
Гостеприимны, вежливы, просты,—
Но что-то новое в глазах у них таится,
Что в чеховских студентах мы не знали:
Глухая сдержанность, спокойное упорство,
Ни слов взлохмаченных, ни мыслей набекрень.
Станок с наукой сочетавши на чужбине,
Они с достоинством отстаивают жизнь...
Их цели — святы, пафос — скрыт, но прочен.
Очищенный бензином,
Простой пиджак рабочего-студента
Сегодня нам и ближе и понятней
Былой расхрястанной, засаленной тужурки...

Не жалуется, нет... Но иногда
Плечо усталое вдруг выскользнет из лямки,
А в глубине парижских чердаков,
Как в катакомбах, холодно и сыро...
Трещит свеча. Над кровельным откосом
Гудит прибой чужих, кипящих улиц,
Сверкают сумасшедшие рекламы,—
В жестянке на некрашеном столе —
Последний франк...
Мы столько говорим в трамваях, и в метро,
И в поздний час у вешалок в передних

Всё об одном: о родине далекой.
Но вот она бок о бок приютилась
В мансардах старых, на окраинах глухих.
Живет и жметя – юная, живая...
Немало нас. Ты не пойдешь в кино,
Я откажусь от пачки папирос –
И не один студент-рабочий
Вздохнет увереннее в черную минуту...
Слова стираются, дни мчатся-льются в бездну,
Одна любовь – спасает и бодрит.

<1929>

Завтра (к балу печати 27 марта)

Какой магнит нас всех по временам
Под общий кров притягивает тайно?
Иллюзия беспечного веселья
В своей губернии, в кругу знакомых лиц...
Оазис-бал на несколько часов
Нас соберет со всех концов Парижа.
Заботы, думы, мгла ночных зеркал
Останутся в квартирах и в отелях...
Жужжит толпа, многоголовый рой,
И там и тут разбросанные группы
Все тех же самых бальных старожилы:
Под лестницею химик с адвокатом
Свой прошлогодний продолжают спор,
Седой шофер землячке-массажистке
Диктует три рецепта пельменей,
А внучка бабушке – о лебединый жест! –
Свой карандаш передает пунцовый...
Буфеты, как в Казатине, сверкают:
Вот на желтках мечтательные кильки,
Вот жирный холмик пухлых пирожков,

Вот потная пузатая зубровка...
Кружатся пары медленно и плавно,
В пролет влетают всплески русской песни,
И врач знакомый в тихом коридоре
Меня за пуговицу крутит дружелюбно.

* * *

Два-три совета, милые друзья,
Извольте преподать вам перед балом:
Обычно в паузах, среди бесконечных танцев,
Как шуки, немые почему-то пары:
Он – смотрит в пол, а дама пудрит нос.
Зато едва лишь запоют с эстрады
Иль декламатор рот раскроет томно,—
Во всех рядах, простенках и углах
Сейчас же заструятся разговоры...
Во имя Муз, – нельзя ль наоборот?!
Еще совет: на бал всего удобней
Являться выводком – из одного района:
Такси обратное дешевле обойдется,
А свой квартет – гарантия от скуки,
Из этого не следует, конечно,
Чтоб муж приклеивался к собственной жене
Или жена на муже повисала,—
Но, впрочем, это редкое явление...
Пить надо весело: закусишь, прожужуешь,
Перстами щелкнешь и давай другую,
Но не толкай соседа мрачно в грудь
И от него не заграждай закусок,
А лучше чокнись с ним и улыбнись...
А если сбоку грустный бородач
(Быть может, эмигрант из Будапешта)
В свой бледный чай с погасшей папиросы
В раздумье тусклом стряхивает пепел,—

Ты повернись, любезный сделай жест,
Ты представитель ведь губернии парижской,
Расшевели его, и он тебя, как знать,
Порадует венгерским анекдотом...
Но я увлекся. Каждый ближний сам
И без моих советов развлечется...
Имею честь. До завтра. Адрес тот же.

<1930>

Дубовые стихи (к балу 13 января)

Глубокоуважаемые читатели!
Мы, журналисты и писатели,
Не мудрствуя лукаво,
Помогаем всем налево и направо
От зари до зари
В самом разнообразном виде:
Составляем благотворительные календари,
Пишем в «Инвалиде»,
Взываем, не досыпая ночей,
О балах адвокатов, шоферов, врачей,
Студентов и летчиков,
Химиков и переплетчиков...
Пишем о детских приютах,
О флотских каютах...
Читаем на всех вечеринках
(К черту рифмы!) –
Доклады, рассказы, стихи,
Стряпаем скетчи для елок,
Для землячеств, содружеств, кружков...
Если всех перечесть,
Хватит столбца на четыре...
И только под Новый год –
Наша вакансия.

Зачем же вам в рупор кричать
И зывать...
Все вы, наши друзья –
Пациенты-клиенты
По своей же охоте
К нам сами придете...
Но только, во имя всех Муз,
Вас просит наш кроткий Союз:
Во время чтения,
Во время пения
Соблюдайте, друзья, тишину!
Поболтать ведь можно в антракте
(К дьяволу рифмы!) –
У буфета, на лестнице.
В коридорах, у лотереи.
Во время танцев,
Внизу у вешалки
И по дороге домой...
Как видите, выбор огромный...
До нашего бала
Осталось времени мало:
Чтоб силы набрать,
Ложитесь вовремя спать,
Не танцуйте, не пейте
И не курите...
Увидите сами,
Как вам это пригодится.

1931

Мобилизация

(к балу прессы 13 января)

«Этот год шершавым будет...» –
Тусклым голосом загробным
Объяснил мне Петр Баранов,
Стиснув щетку в кулаке.
«Для чего ж, о вещей ворон,
Ты бензином чистишь смокинг?
Ведь потоп ты можешь встретить
И в потертом пиджаке».

«О! – сказал он, зарумянясь,–
Ведь тринадцатого, завтра,
Я танцую с Дарьей Львовной
На писательском балу...
А она ведь не такая,
Чтоб во имя пессимизма
Пить со мною завтра кофе
В грязном баре на углу...»

Вынув белую сорочку,
Обметал он на манжете
Разболтавшиеся петли,
Посмотрел – и просиял.
«Так она мне и сказала:
Если завтра не пойдете,
Трех найду на ваше место –
Все идут на этот бал!»
Словно воин перед битвой,
Рассмотрел он хладнокровно
Галстук, запонки, ботинки –
Весь свой бальный гардероб.
«Так она мне и сказала:
Не желаю разлагаться!
Я прошу вас сделать выбор –
Или я, или потоп...»

Перед зеркалом каминным
Сделал он два быстрых тура,

Локоть вправо, пятка влево,
Томно набок голова...
А потом разбил копилку,
Подсчитал свои депансы,
Языком лукаво щелкнул
И сказал, смеясь: «Са-ва!»

<1932>

Из римской тетради*

Римские камни

I

На рынке в пестрой суете,
Средь помидорного пожара,
Сидит, подобная мечте,
Пушисто-бронзовая Клара.
Но, ах, из груди помидор
Вдруг рявкнул бас ее матросский:
«Какого дьявола, синьор,
Облокотились вы на доски?!»

II

Под фиговой лапой
В сплошном дезабилье,
Обмахиваюсь шляпой
И жарюсь на скамье,
Но только солнце село,—
Приплыл прохладный мрак:
И с дрожью прячешь тело
В застегнутый пиджак.

III

Нацедив студеной влаги
В две пузатые баклаги,

Я следил у водоема,
Как, журча, струилась нить.
Потный мул в попоне гладкой
Мордой ткнул меня в лопатки:
Друг! Тебя заждались дома,—
Да и мне мешаешь пить!..

IV

Есть белое и красное киянти.
Какое выпить ночью при луне,
Когда бамбук бормочет в вышине
И тень платанов шире пышных мантий?
Пол-литра белого, — так жребию угодно.
О виноградное густое молоко!
Расширилась душа, и телу так легко.
Пол-литра красного теперь войдет свободно.

V

Олеандра дух тягучий —
Как из райского окошка,
А над ним в помойной куче
Разложившаяся кошка.
Две струи вплелись друг в друга...
Ах, для сердца не отрада ль:
Олеандр под солнцем юга
Побеждает даже падаль.

<1923>

Римские офорты

I

Мул

Напружив угловатый костяк
И болтая цветными кистями.
Тянет в гору ушастый чудак
Колесницу-двуколку с камнями...

Ветер северный злее бича,
Мчатся ржавые листья платана,
Но железная тяга плеча,
Как машинный рычаг, неустанна...

За мотором мелькает мотор,
Плащ шуршит над вздремнувшим возницей,
Умный зверь сквозь взметнувшийся сор
Твердо правит своей колесницей.

У постройки копны этажей,
Словно вкопанный, встанет он круто,
С грубым грохотом ржавых ножей
Хлынет наземь холм темного бута...

Пар клубится над блеском спины.
Ветер дует из синих окраин...
Мул покорно стоит у стены,
В траттории продрогший хозяин.

Мерзнут слезы. День скучен и сер.
Отдыхают набухшие жилы.
А напротив незрячий Гомер
Холодеет над выступом виллы.

II

В Кампанье

Со щенком, взлохмаченным бродягой,
Мы ушли в поля.
Лента гор цвела лиловой сагой.
Ветер и земля...
Римский мост под пестрой колымагой
Круче корабля.

Опьянел мой пес от вольной шири –
Две звезды в зрачках.
Поздний шмель зудит на тихой лире,
Небо в облаках.
Человек, влача ступни, как гири,
Пашет на быках.

Овцы склон за башнею покрыли –
Зелень и руно.
Солнце брызнуло столбом закатной пыли
В синее окно.
Не мираж ли злые наши были, –
Горькое вино?

В камышах дымится малярия,
Плащ к воде склоня.
Пес, домой! Молчат поля глухие.
Дробный стук коня...
Над харчевней кроткая Мария
И глазок огня.

III

В винной лавке

За прилавком – курчавый синьор.
Над прилавком – фиаски.
А в витрине зеленый ликер
Строит пьяницам глазки.
Приподняв изумленную бровь,
Старушонка смакует
Виноградную темную кровь
И с подручным флиртует...
Господин на собачьем меху –
Весь из синеньких жилок –
И подросток в гагачьем пуху
Ждут покорно бутылок.
Шали томно дрожат бахромой.
Кошка хлопнула крышкой.
Сверху с лестницы мальчик хромой
Лезет с ромом под мышкой.
А с оливковым маслом чаны
Из густой терракоты
По углам, под крылом тишины,
Полны сладкой дремоты...
Если тихо сидеть у окна,
Липкий столик качая,
Наклонясь над бокалом вина
Цвета крепкого чая,
И смотреть на входящих людей,
На палитру ликеров,
Слушать с улицы дробь лошадей
И сирены моторов –
В сердце вспыхнет беспечная ложь
Все, что было, как путь бездорожный...
Эй, синьор! Закрываете? Что ж...
Домечтать и на улице можно.

IV

Папское барокко

Склонив умильно выи
Над кровлею крутой,
Позируют святые,
Раскинув плащ фатой.
А под фронтоном крыши
Средь ровных желобков
Спит в раковинах ниши
Ряд томных стариков.
Волнуясь, стынут складки,
Тела – сплошной потоп,
А руки их так сладки,
Как каменный сироп.
Античные колонны,
Втисненные в фасад,
Напрасно убежденно
О строгости кричат:
Вокруг струится пламя
Волнистых завитков,—
Вот – пояс словно знамя,
Вот – чуб из мотыльков...
Среди любой прогулки,
Вдоль улиц бросив взгляд,
Ты в каждом переулке
Найдешь такой фасад.
Профан! Прищурив око,
Ужель ты скажешь: «гиль!»
Се папского барокко
Наивно-пышный стиль.

1924
Рим

В гостинице «Пьемонт»

(из эмигрантского альбома)

I

В гостинице «Пьемонт» среди уличного гула
Сидишь по вечерам, как воробей в дупле.
Кровать, комод, два стула
И лампа на столе.

Нажмешь тугой звонок, служитель с маской Данте
Приносит кипяток, подняв надменно бровь.
В душе гудит *andante*,
Но чай, увы, – морковь.

На письменном столе разрытых писем знаки,
Все непреложнее итоги суеты:
Приятеля – собаки,
Издатели – скоты.

И дружба, и любовь, и самый мир не пуф ли?
За стенами блестит намокшая панель...
Снимаю тихо туфли
И бухаюсь в постель.

II

Хозяйка, честная и строгая матрона,
Скосив глаза на вздувшееся лоно,
Сидит перед конторкой целый день,
Как отдыхающий торжественный тюлень.
Я для нее – один из тех господ,

Которым подают по воскресеньям счет:
Простой синьор с потертым чемоданом,
Питающийся хлебом и бананом.
О глупая! Пройдет, примерно, год,
И на твоей гостинице блеснет:
«Здесь проживал...» Нелепая мечта,—
Наверно, не напишут ни черта.

III

За стеной по ночам неизвестный бандит
С незнакомым сопрано бубнит и бубнит:
«Ты змея! Ты лукавая, хитрая дрянь...»
А она отвечает, зевая: *«Отстань»*.
«Завтра утром, ей-Богу, с тобой разведусь».
А она отвечает: *«Дурак! Не боюсь!»*
О Мадонна... От злости свиваясь волчком,
Так и бросил бы в тонкую дверь башмаком,—
Но нельзя: европейский обычай так строг,
Позовут полицейских, посадят в острог...

Я наутро, как мышь, проскользнул в коридор,
Рядом скрипнула дверь, я уставил свой взор:
Он расчесан до пят, и покорен, и мил,
Не спускал с нее глаз, как влюбленный мандрил.
А она, улыбаясь, покорная лань,—
Положила на грудь ему нежную длань.

1924, февраль
Рим

На окраине

Дома-шкатулки – стильные комоды
Бездарно врезались в кудрявый сон холмов.
Все гуще человеческие всходы,
Все больше надо улиц и домов...

Грохочут повозки,
Трясется кирпич
И щелкают доски,
И хлопает бич.
Двуногие пчелы
В известке густой
Над балкой тяжелой
Хлопочут толпой.
Слепыми рядами
Встают этажи...
И роща, как в яме,
Грустит у межи:
Мохнатые ветки,
Зеленая тьма...
Над ними, как клетки,
Дома и дома.
А овцы волною
Застыли вокруг,—
Им роща от зною
Единственный друг...
Пастух молчаливый
В овечьем руне
Глазеет лениво
У пня в стороне.
Сталь взвыла, как Каин...
Асфальт зачадил.
Рим тихих окраин
Навеки почил.

Лишь вдоль опушки вод вспененных лента
Бежит, как встарь, таясь в седой траве,
Да мирта чахлая над грудой цемента
Упорно тянется к блаженной синеве.

1924

Рим

Дитя

Двор – уютная клетушка.
У узорчатой ограды
Два цветущих олеандра
Разгораются костром...
А над ними прорубь неба
Тускло мреет в белом зное,
Как дымящаяся чаша,
Как поблекший василек.
Словно зонт пыльно-зеленый,
Пальма дворик осенила.
Ствол гигантским ананасом
Оседает над землей.
На листе узорно-гибком
Осы строят шапкой соты,
Солнце лавой раскаленной
Режет сонные глаза.

* * *

Только зной к закату схлынет,
Только тень падет на гравий,
В белом домике у входа
Подымается возня.
Мать поет свою канцону,
Словно рот полощет песней,–
А за нею голос детский,
В тонкий лепет взбив слова,
Вьется резвым жеребенком,
Остановится внезапно –
И фонтаном зыбким смеха

Всколыхнет оживший двор.
Книжку старую отбросив,
Из окошка крикнешь: «Роза!»
И лукавою свирелью
Прилетит в ответ: «Синьор?»

* * *

Над безмолвной низкой дверью
Ветром вздуло занавеску.
Из таинственного мрака
Показался кулачок.
Это маленькая Роза,
Дочь привратницы Марии,
Мотылек на смуглых ножках,
Распевающий цветок.
Деловито отдуваясь,
Притащила табуретку,
Взгромоздилась и застыла,
Отдыхая от жары.
Сгибы ножек под коленкой
Сочной ниточкой темнеют,
А глаза, лесные птицы,
Окунулись в небеса.

* * *

За цветущею оградой
Петухами распевают
То толстяк с гирляндой тувель,
То веселый зеленщик.
Головой крутя кудрявой,—
Расшалившееся эхо,—

Роза звонко повторяет
Полнозвучные слова:
«Scarpe! Scarpe! Pomodori!
Foggiolini! Peperone!»^[7]
Рыжий кот, худой и драный,
К милым пяткам нос прижал.
И душе моей казалось,
Что в зрачках бродячих зверя
В этот миг блаженно млели
Искры рыцарской любви.

* * *

Жалюзи щитом поставив,
Словно в шапке-невидимке,
Я смотрю на это чудо,
Широко раскрыв глаза.
Это радостное тельце,
Этот полный кубок жизни
Мне милей стихов Петрарки,
Слаще всех земных легенд...
На крыльцо я тихо вышел:
Кот нырнул под жирный кактус,
Табуретка покатила...
Палец в рот и глазки вверх.
Долго, долго изучала
Незнакомого синьора,—
Оглушительно вздохнула
И улыбкой расцвела.

* * *

На обложке русской книги
Мы фонтан нарисовали,
Рыбок с заячьими ртами,
Тигра с гривой до земли.
По моей ладони хлопал
Кулачок кофейно-пухлый.
Я молчал, она звенела,
Как беспечный ручеек.
Мать, белье с кустов снимая,
В сотый раз зывала: «Роза!»
Этих скучных пресных взрослых
Никогда я не приму...
Не хотите ль вы, синьора,
Чтоб трехлетний одуванчик,
Как солидный папский нунций
Чинно вел со мною речь?

* * *

Нет у Розы пышной куклы
С томно-глупыми глазами,
Но ребенок, как котенок,
Щепкой тешится любой.
Вон она кружит вдоль пальмы,
Высоко подняв к закату
Тростниковый старый стебель
С жесткой блеклою листвою.
Па – направо, па – налево,
Ножки – быстрые газели,
Две-три ноты звонкой песни
Заменяют ей оркестр.
А глаза неукротимо
Жгут языческим весельем
И, косясь, ко мне зывают:

«Полубуйтесь-ка, синьор!»

* * *

«А теперь?» – спросила Роза.
Я принес поднос с тарелкой.
На тарелке пухлый персик
И душистый абрикос.
Роза стала за прилавок,–
Я был знатный покупатель...
Но пока я торговался,
Роза съела весь товар.
Кот крутил хвостом умильно.
Кинув косточку с подноса,
Роза тоном королевы
Приказала зверю: «Ешь!»
«А теперь?»... Сложила ручки.
Затянувшись папирской,
Я ей дал пустую гильзу.
Мы курили. Двор молчал.

* * *

За мохнатым олеандром
Ржаво всхлипнули ворота.
На напев шагов знакомых
Понеслось дитя к отцу.
Руки вытянув, рабочий
Вскинул девочку над шляпой,
И слились на миг под небом
Сноп кудрей и сноп цветов.
Олеандры задрожали,
Зашептались и затихли...

«Ах, еще!» – звенела Роза,
Руки-крылья вскинув ввысь.
Он унес ее, как птицу,
За цветную занавеску:
Тень ребенка закачалась
На коленях у отца...

* * *

Истомленные мимозы
Листья легкие склонили,
И шипит бамбук зеленый,
Кротко жалуясь на зной.
Наклонясь к кустам, рабочий
Из ведра струею хлещет:
Пьют земля, пьют жадно корни,
Влажной пылью дышит двор.
За отцом, сжав строго губки,
Ходит медленно ребенок,
Из фиаски оплетенной
Гравий влагой окропя.
А фиаска так лукава –
Ускользает и виляет...
Каждый камушек невзрачный
Надо Розе напоить.

* * *

Холод мраморных ступеней
Лунным фосфором пронизан.
Сбоку рамой освещенной
Янтареет ярко дверь.
Роза сонно и устало

За отцом следит глазами,
В белый хлеб впилась, как мышка,
И на локоть оперлась.
Ест отец, мать пьет кианти,
Две звезды зажглись над пальмой,
И сверчок пилит на скрипке
В глубине за очагом.
Лампа, мать, отец и звезды –
Все сливается, кружится
Тихим сонным хороводом
И уходит в потолок.
Каждый вечер та же сцена:
Голова склонилась набок,
Темно-бронзовые кудри
Нависают на глаза.
Мать берет ее в охапку,–
Виснут ручки, виснут ножки,
И несет, как клад бесценный,
На прохладную постель.
Сны сидят под темной пальмой,
Ждут качаясь... Свет погаснет –
Пролетят над занавеской
И подушку окружают.
Спи, дитя, – и я, бессонный,
Буду долго, долго слушать,
Как над кровлею твоею
Шелестит во тьме бамбук.

<1924>

Старая вилла

Сквозь чугунную ограду
Вдоль крутой стены
Вглубь струится сумрак сада,–
Остров тишины...

Эвкалипты пышной кроной
Ветви вниз струят,
И фонтан струей бессонной
Моеет грудь наяд.
Ряд колонн встал стройно к свету
От окна к окну...
Эх, пожить бы здесь поэту
Хоть одну весну!

По утрам вставал бы рано,
Ставил самовар...
На лужайке у платана
Заструил бы пар.
Там, где розы вокруг Париса
Расточают страсть,—
На траве у кипариса
Повалялся б всласть.
На террасе под охраной
Греческих богов
Я б почтил закат румяный
Флейтами стихов...
Ночью б стал у пышной двери,
Озарил весь зал
И «Онегина» Венере
Медленно б читал...
Паучок средь прутьев узких
Тихо вяжет нить...
Сто детей бездомных русских
Здесь бы поселить!
В городки б — на луг зеленый,
А потом в лапту...
Дискобол бы удивленный
Опустил пядь.
Возле пинии тяжелой
На траве сухой
Хоровод завил веселый
С песнею лихой...

А пятнашки, кошки-мышки,
Жмурки, чехарда?
Засучили б вмиг штанишки
И в фонтан – айда!
А потом учили б в зале
Сколько «дважды два»,
И читали б и писали
Русские слова...
По ночам, сложив тетрадки
Стопкой на стене,
С визгом прыгали б в кровати
В звонкой тишине.
По горбатым одеяльцам
Вился б лунный дым –
И Диана б, сжавши пальцы,
Удивлялась им.

Проходи... Засов чугунный
Крепко запер вход.
В мертвом парке тихоструйный
Рокот мертвых вод...
Заколочены все двери.
Вилла – старый склеп.
Боги – в язвах, люди – звери.
Разве ты ослеп?

<1925>

Рим

На площади Navona

Над головами мощных великанов
Холодный обелиск венчает небосвод.
Вода, клубясь, гудит из трех фонтанов,
Вокруг домов старинный хоровод.

Над гулкой площадью спит тишина немая,
И храм торжественный, весь – каменный полет,
Колонны канделябрами вздымая,
Громадой стройной к облаку плывет...
Карабинеры медленно и чинно
Пришли, закинув плащ, и скрылись в щель опять.
О Господи! Душа твоя невинна,
Перед тобой мне нечего скрывать!
Я восхищен Твоим прекрасным Домом,
И этой площадью, и пеньем светлых вод.
Не порази меня за дерзновенье громом,
Пошли мне чудо сладкое, как мед...
Здесь все пленяет: стены цвета тигра,
Колонны, небо... Но услышь мой зов:
Перенеси сюда за три версты от Тибра
Мой старенький, мой ненаглядный Псков!

<1925>

Белое чудо

Жадно смотришь за гардины
Сквозь туманное стекло:
Пальм зеленых кринолины
Пышным снегом занесло!
Тучи пологом жемчужным
Низко стынют над двором...
Под угасшим небом южным
Воздух налит серебром...
На ограде грядка снега.
Тишина пронзает даль.
За холмом, как грудь ковчега,
Спит гора, спустив вуаль.
Пес в волнении ласкает
Хрупкий, тающий снежок,
И дитя в саду взывает:

«Снег, синьор!» – Иду, дружок...
Утро дышит нежной стужей.
В легких снежное вино,
Блещет корочка над лужей...
Не надолго... Все равно!
Так уютно зябнуть в пледе...
Память тонет в белом сне,
Мысли, белые медведи,
Стынут в белой тишине.

*1923, Рождество
Рим*

В стране Петрарки

(Натуралистический романс)

Блоха впилась в спинной хребет,
Луна лобзает переулочек.
Мои глаза – пустой шербет,
А щеки – пара бритых булочек.

Трень-брень! Анжелина, оставь свои шутки,
Скорее намажь свои губы и бровь, –
Сегодня на площади первые сутки
Идет мексиканская фильма «Любовь».

Над переулком смрад и чад,
Но с детства я привык к навозу...
Щенок скулит гитаре в лад, –
Я стал в классическую позу...

Трень-брень! Анжелина, в харчевне под пальмой
Закажем с тобой мы шпинат с чесночком,
Как дьявол, тебя ущипну я под тальмой,

А ты под бока меня ткнешь кулаком!

Из пиджака цветной платок
Торчит длиннее шуки,
Я взбил свой войлок вверх и вбок
И отутюжил брюки...

Трень-брень! Анжелина, мой ангел усатый,
Я трех форестьеров на бирже надул,
Накинь поскорее платок полосатый,—
Я щедр, как аптекарь, я страстен, как мул!..

<1926>

Рим

«По форуму Траяна...»

По форуму Траяна
Гуляют вяло кошки.
Сквозь тусклые румяна
Дрожит лимонный зной...
Стволом гигантской свечи
Колонна вьется к небу.
Вверху, как на крылечке,—
Стоит апостол Петр.
Колонна? Пусть колонна.
Под пологом харчевни
Шальные мухи сонно
Садятся на ладонь...
Из чрева темной лавки
Чеснок ударил в ноздри.
В бутылке на прилавке
Запрыгал алый луч...
В автомобилях мимо,
Косясь в лорнет на форум,
Плывут с утра вдоль Рима

Презрительные мисс.
Плывут от Колизея,
По воле сонных гидов,
Вдоль каждого музея
Свершить свой моцион...
А я сижу сегодня
У форума Траяна,
И синева Господня
Ликует надо мной,
И голуби картавят,
Раскачивая шейки,
И вспышки солнца плавят
Немую высоту...
Нанес я все визиты
Всем римским Аполлонам.
У каждой Афродиты
Я дважды побывал...
О старина седая!
Пусть это некультурно,—
Сегодня никуда я,
Ей-Богу, не пойду...
Так ласково барашек
Ворчит в прованском масле...
А аромат фисташек
В жаровне у стены?
А мерное качанье
Пузатого брезента
И пестрых ног мельканье
За пыльной бахромой?
Смотрю в поднос из жести.
Обломов, брат мой добрый!
Как хорошо бы вместе
С тобой здесь помолчать...
Эй, воробьи, не драться!
Мне триста лет сегодня,
А может быть, и двадцать,

А может быть, и пять.

<1928>

Шесть

Из фабрики корзин и гнутых стульев
Выходят крутобокие Кармен...
Дрожат платки, вздымаясь у колен,
И болтовня, как гомон пчел близ ульев.
Покачиваясь, топчутся в обнимку...
В покачиванье бедер – гибкость саламандр.
Одни глядят на облачную дымку,
Другие обрывают олеандр.

Денщик-сосед, юнец провинциальный,
Встал у калитки и потупил взгляд:
У всех шести походка – сладкий яд,
У всех шести румянец – цвет миндальный!
Лукаво-равнодушными глазами
Все шесть посмотрят мимо головы,–
Над крышею червонными тузами
Алеет перец в блеске синевы.

Лишь каменщики опытный народ,–
На них Кармен не действует нимало.
Взлетает песенка, ликующее жало,
Глазастый ухарь штукатурит свод,
На пальцах известковая насечка...
Посмотрит вниз – шесть девушек на дне,–
Метнет в корзинщиц острое словечко
И ляпнет штукатуркой по стене.

А вечером, когда сойдет прохлада,
И вспыхнет аметистом дальний кряж,
И лунный рог, свершая свой вояж,

Плывет к звезде, как тихая наяда,
Когда сгустеют тени вдоль платанов,
И арка лавочки нальется янтарем,
И камыши нырнут в волну туманов,–
Все шесть сойдутся вновь под фонарем.

И под руку пойдут вдоль переуллка,
Как шесть сестер, в вечерней тишине.
Латания бормочет в полусне,
Стук каблучков средь стен дробится гулко...
О римский вечер, тихая беспечность!
Поет фонтан, свирель незримых слез.
Там в небесах – мимозы, звезды, вечность,
Здесь на земле – харчевня между лоз.

Сел на крыльцо мечтающий аптекарь.
На стук шагов сомкнулись тени в ряд:
Шесть мандолин заговорили в лад –
Три маляра, два шорника и пекарь.
Кому мольбы лукавых переливов?
О чем они? Кому журчанье струн?
Все шире плеск рокошущих мотивов,
Все громче звон – вскипающий бурун...

И оборвали... Тишина, прохлада.
Но шесть Кармен запели вдруг в ответ:
Все та же песнь, но через слово: «Нет!»
Лукавое, задорное «не надо»...
И снова струны молят все нежнее,
И все покорней отвечают голоса.
Смолк поединок. В глубине аллеи
Темнеют пары. Дремлют небеса...

Ушел к себе продрогнувший аптекарь.
Шипит бамбук. В харчевне спор затих.
Как маляры, и шорники, и пекарь
Сумели выбрать каждую из них?

По-моему, – одна другой желанней.
Но... нет седьмой. Я запер свой балкон.
Спят облака, как стадо белых ланей.
В ушах звенит лукавый перезвон.

<1928>

«Словно загар смуглолицый...»

Словно загар смуглолицый,
Копоть сгоревших веков...
Чуть розовее корицы
Стены домов-стариков.
Площадь. Гирлянда фонтана.
Плещет струей василиск.
Над головой великана
Врезался ввысь обелиск.
Церковь, как арфа немая, –
Вся ожиданье и взлет,
Струны-колонны вздымая,
К облаку стройно плывет.

Лавочка пестрой пещерой
Мирно сквозит на углу:
В воздухе окорок серый,
Холм овощей на полу.
Стены все выше и уже.
Туча вспухает волной.
Тихо качается в луже
Отблеск колонны резной.
Крепки рельефы дельфинов...
В прорези стен вдалеке
Брызжут огнем апельсины
На разноцветном лотке.

Тибр закипает сердито...

Башня. Подошва моста.
В щелях сырого гранита
Тощие лапы куста.
Мимо! Во мгле переулка
Люди, как крысы, снуют.
Ослики топают гулко.
В окнах – вечерний уют...
Перед знакомой харчевней
Жареный, плотный кабан.
Сладок под аркою древней
Вялый мускатный дурман!

<1928>

«Школа Дианы»

Ты видел ли «Школу Дианы»
На вилле Боргезе, мой друг?
Девчонок взволнованных станы,
Стремительность бедер и рук...
Стрела, зазвенев, пролетела,
Свергается горлинка ниц, –
Еще в напряжении тело
И жаден восторг учениц...
Диана застыла в сторонке,
Над строгим челом – полукруг.
Вдали на холме две девчонки
Борьбой услаждают досуг.
Внизу беззаботные дети
В потоке, прозрачной стекла,
О всем позабывши на свете,
Полощут нагие тела.

* * *

В сбоку сквозь пышную зелень
Крестьянская жметя чета:
Прокрались из горных расщелин,
Приникли и смотрят... Мечта?
Под вечер в далекой деревне
Средь круга неверящих глаз
Польется в притихшей харчевне
Взволнованный, странный рассказ.

<1928>

Фонтан на Monte Pincio

Над плетеной постелью мать склоняется в тревоге,
Никого вокруг. Пора...
Тростники средь водоема низко кланяются в ноги,
В небе алая игра.
Мальчик в мраморной корзине так беспечно поднял ножки,—
Мир не страшен для него:
Старый Нил, как мать, качает и урчит нежнее кошки.
Пусть качает... Ничего.
Но она... Своей рукою оттолкнуть младенца сына?
На устах — безмолвный крик.
Стан, как каменная арфа. Бог не слышит, даль пустынна.
Колыхается тростник.

* * *

Сюда болтливые гиды
Не водят заморских гостей:
Об этом скромном фонтане
До них не дошло вестей...
Но как хорошо на закате
Сюда прийти одному,—

Смотреть на бессмертный город,
На даль в стоцветном дыму.
Смотреть, вспоминать и думать...
Закат, как пламя костра;
О скорбная мать Моисея!
Сегодня – ты наша сестра.

<1928>

Из зеленой тетрадки*

Не по адресу

Когда советский лжепиит,
Подкидывш низменной рекламы,
В кафе берлинском нахамит
И разорвет жакет у дамы,—
 Для европейских трезвых глаз
 Грязней свиньи такие франты,—
 И слышишь триста первый раз:
 «Mein Gott!^[8] Ах, эти эмигранты!»

Взяв отпуска у сатаны,
Пируют «нэпманы» в Берлине,
Красновельможные чины
И их дородные гусыни...
 Самодовольный хриплый смех,
 На хищных пальцах бриллианты...
 И снова на устах у всех,
 «Mein Gott! Ах, эти эмигранты!»

А пестрый виленский навоз,
Вплывающий на две недели
Для биржевых метаморфоз,
Для сахарина и фланели?
 Полны их ржаньем все сады
 И все гостиницы-гиганты...
 И вновь шипят на все лады:
 «Mein Gott! Ах, эти эмигранты!»

Галдят по-русски? Суд готов.
Каких еще искать резонов?
У эмигрантов нет значков,
Как у собак и фаэтонов.

Мы европейцев не виним.
Как занести им в прейскуранты –
Кто властный хам, кто пилигрим?
«Mein Gott! Ах, эти эмигранты!»

Но если иезуит-лихач,
Вчера кропавший в «Общем деле»,
По новым вехам дует вскачь
И мажет грязью по панели:
«Ах, эмиграция! Вертеп!
Скандалы! Пьянство! Бриллианты!»,
Невольно крикнешь: «Шут! Ослеп?
Да разве вы-то – эмигранты?..»

<1922>

Святая наивность

Конечно, нужно возвращаться.

*А. В. Пешехонов. «Почему я не
эмигрировал»*

Если б я торговал корсетами,
Кокаином или браслетами,
Если б я был куафером, шофером,
Или секретных дел акушером,–
Не нуждаясь в благословении Пешехонова,
Я бы уехал без оного.
Все такого рода двуногие
Обходятся без всякой идеологии:
Клиентура красных придворных дам
И изобилие советских панам
Создают такую пышную среду,
Что в ней можно жиреть хоть в аду...
Да и техника возвращения

Не представляет для них затруднения:
Почтительное выражение глаз
И превращенный в валюту алмаз.

* * *

Но у эмигранта-интеллигента
Душа и тело не из брезента...
Как прикажете начать комиссию?
Прибежать в советскую миссию
И под взглядом глумящихся глаз
Сочинить сто анкетных фраз?
«Прабабка моя сочувствовала капиталистам,
Я же с детства беспартийно тянусь к коммунистам,
Во время старого режима
Пострадал в полку нестерпимо –
За смех во время переклички
Был лишен ефрейторской лычки.
Потупив очи к советскому подножью,
Все свободы считаю буржуазной ложью.
Цель моего возвращения –
Культурное ближним служение...»
Ах, как будут ржать советские снобы!
Еще бы...
«Послушайте, кислый червяк,
У вас в порядке чердак?
Если даже при Троцком, обожавшем „Русское богатство“,
Даже Пешехонов был выслан из красного братства
В числе многих прочих,
Неподходящих для крестьян и рабочих, –
То зачем нам обменная эта кадрили,
Что за гиль!...»

* * *

Допустим на миг, что советская братия
Разреши́т самораспя́тие,
Допустим, что после злобных допросов,
Надменных разносов,
Узилищ-чистилищ
Подарят жалкий остаток жизни,
Достойный слизня,
И разрешат эмигрантскому парию
Ради хлеба влезть в канцелярию,
Заниматься статистикой
И прочей дутой эквилибристикой...
Разве там мало своих голодных,
Готовых на все, что угодно?
Ведь цель возвращения –
Культурное ближним служение...
Что там делать свободной музе? Исследовать «книжные
знаки»?
Что там делать студенту? Кустарить в «рабфаке»?
Что там делать ученым? Спросите у тех, кто выслан...
Распинаться ведь тоже надо со смыслом.

* * *

Чуждый идейного «лампадства»,
Я тоже встарь увлекался «Русским богатством»
(Номера с рассказами Муйжеля, правда, не в счет),
Но сегодня «Богатство» уже не оплот:
Дух и гордость встают на дыбы?
Есть различные на свете рабы,
Но томиться рабом у родного народа –
Подвиг особого рода.

<1923>

Из Гёте

I

Мадмуазель NN

Скажи без коварства:
Сердце ее, как небесное царство,—
Так как званые гости
Не явились на зов,
Она позвала со злости
Калек и слепцов.

II

Условие

За советом вы приходите ко мне?
Я вам дам его, но клятву с вас возьму:
Чтобы я спокоен был вполне,
Обещайте мне не следовать ему.

III

Катехизис

Учитель: Все блага жизни кто тебе послал?
Ты сам добыть не мог их — ты ведь мал.

Дитя: Мой дорогой родитель.

Учитель: А он откуда взял?

Дитя: От деда, господин учитель.

Учитель: Ах, нет! Да деду кто же дал?

Дитя: Дед сам достал.

IV

«Как одолеть воробьев? – спросил знакомый садовник, –
Гусениц, жадных жуков, ос и проклятых кротов,
Мух, ненасытных червей и прочую гнусную нечисть?»
«Плюнь! – отвечал я ему: – Пожрут они сами друг друга».

V

Общество

Из общества с коллегой в час ночной
Ученый шел, задумавшись, домой.
«Вам там понравилось?» – Ученый отвечал:
«Будь это книги, – я б их не читал!»

VI

Угроза

Однажды с милою моей
Блуждая в чаще леса,
Я пошалил... И вдруг: «Не смей!
Я крикну!.. Прочь, повеса...»

А я в ответ ей: «Что ж, кричи...
Убью, кто б не вмешался!»
«Молчи, возлюбленный, молчи,—
Там кто-то показался...»

<1923>

Эпиграммы

I

Горький

Пролетарский бургестник,
Укатив от людоеда,
Издает в Берлине вестник
С кроткой вывеской «Беседа».
Анекдотцы, бормотанье,—
(Бургестник, знать, зачах!) —
И лояльное молчанье
О советских палачах...

II

Теория творчества т. Эренбурга

«А все-таки она вертится»

Начиркав фунта два страниц
О том, что гайка выше Данта,
Он вывел в вечность всех мокриц
Рекламным слогом преискуранта.

Увы, как стар сей анекдот:
Чиж пролетал над океаном
И, уронив в него помет,
Исчез бесследно за туманом.

III

Игорь Северянин

Весь напوماженный, пустой поэзофат
Бесстыдно рявкнул, легких не жалея:
«Поэт, как Дант, мыслитель, как Сократ,
Не я ль достиг в искусстве апогея?!»

Достиг, увы... Никто из писарей
Не сочинил подобного «изыска»...
Поверьте мне, галантный брадобрей,–
Теперь не миновать вам обелиска.

IV

А. Белый

Ради шаткой клички «гений»,
Оскопив слепой талант,
Хлещет бредом откровений
Пифианский симулянт.
Каждый месяц две-три книжки,
А король все гол и гол...
Ах, заумный сей футбол

Надоел нам до отрыжки!

V

Маяковский

Смесь раешника с частушкой,
Барабана с пьяной пушкой,—
Красный бард из полпивной,
Гениальный, как оглобля,—
От Нью-Йорка до Гренобля
Мажет дегтем шар земной.

VI

Автобиография т. Есенина

«И возвратятся псы на блевотину свою»

«Я советский наглый „рыжий“
С красной пробкой в голове.
Пил в Берлине, пил в Париже,
А теперь блюю в Москве».

VII

А. Н. Толстой

(«Хождения по гонорарам»)

В среду он назвал их палачами,
А в четверг, прельстившись их харчами,
Сапоги им чистил в «Накануне».
Служба эта не осталась втуне:
Граф, помещик и буржуй в квадрате –
Нынче издается в «Госиздате».

VIII

Демьян Бедный

Военный фельдшер, демагог,
Делец, упитанный и юркий,
Матросской бранью смазав слог,
Собрал крыловские окурки.

Семь лет «Демьяновой» ухой
Из красной рыбы, сплошь протухшей,
Он кормит чернь в стране глухой,
Макая в кровь язык опухший.

Достиг! Советские чины
Ему за это дали право
Носить расстрелянных штаны
И получать пайки удава.

IX

«Накануне»

Раскрасневшись, словно клюква,
Говорит друзьям Не-Буква:

«Тридцать сребреников? Как?!
Нет, Иуда был дурак...
За построчные лишь слюни
Самый скромный ренегат
Слупит больше во сто крат!»

<1924>

Гигиенические советы

(из эмигрантского альбома)

Ты не салопница, ты муж почтенных лет.
Не сплетничай! Тебе какое дело –
Живет ли Львов с хозяйкой или нет?
У Львова собственный карман, душа и тело.

Не спорь с прохожими. Сто душ – сто разных струн.
Чем в ключья драть последние рубашки
И зря запутывать российский наш колтун,
Сыграй с соседом лучше молча в шашки.

Левей раз в месяц, чаще – непристойно,
И то же самое скажу о правизне.
А то уж очень это беспокойно –
Два раза в день менять свой щит в грызне.

Бесчестно звать других распяться к скифам,
А самому в Passy зарыться в ил.
Иль Прометей, воспетый старым мифом,
Чужой печенкой коршуна кормил?..

Работы нет? Мансарда – тесный шкаф?
Не унывай... Скажу тебе заочно:
Земная жизнь ведь беженский этап,

Лишь в вечности устроимся мы прочно.

Когда твоя хозяйка пансиона
Характером подобна сатане,
Не ставь креста на всей чужой стране –
Такое заключенье беспардонно.

Твой сват в Москве «устроился» и сыт?
Но тысячам других безмерно тяжко.
Не утверждай же, вздорная букашка,
Что там в Москве всеобщий райский быт.

Задумавши из Вены плыть в Париж, –
Парижских не запрашивай собратий...
У них ведь свой, особенный престиж:
«Сиди, не рыпайся! Нет крова! Нет занятий!»

На диспуты, о брат мой, не ходи!
Чужих мозгов брать на прокат не надо.
Иль гор словесных мало позади –
Зачем же вновь записываться в стадо?

Кто б ни божился с миною блаженной, –
«Завоеваньям революции» не верь:
Болели зубы – взвился Красный Зверь
И зубы с головой отгрыз мгновенно.

<1924>

Красная бабушка

(с натуры)

Подрубленных волос лохмато-серый круг,
Глаза сознательной, тупой марксистской жабы

И в нижней челюсти, широкой, как битюг,
Упорство деревенской старой бабы.

Она приехала в саксонский пансион
Чинить свои одышки и запоры
И целый день, как красный граммофон,
Разводит всласть советские узоры.

«Лжет эмиграция: у нас прекрасный строй,—
Багеты, справедливость и культура...
Крестьяне обжираются икрой,
Рабочий – мощная, свободная фигура.

Буржуазия розовеет с каждым днем,
Интеллигенция ликует от восторга.
Неслыханный, невиданный подъем,—
А все венчает ренессанс Внешторга...»

Лишь об одном ни звука граммофон:
Что сын ее – персона в чрезвычайке,
Что дочь ее – предатель и шпион,
Что все ее друзья из той же шайки.

Что у себя на даче в дни войны,—
На самой буржуазной барской даче,—
Она, для ускорения «весны»,
Хранила бомбы... Ведь нельзя-с иначе...

Что в предварилке высидевши год,
Она жила там мирно, как в курорте.
Зато теперь «проклятый старый гнет»
Она клянет с незлобливостью черта.

А немки слушают и вяжут всласть носки...
«Ах, милый Кремль, Калинин мост и Невский!
Страна икры, разгула и тоски,
Где жил Толстой, где плакал Достоевский...»

О Господи! Мильон святых могил
Зияет ранами у своего подножья,–
А этот старый, наглый гамадрил
Живет и шамкает и брызжет красной ложью.

<1925>

Политический сонет

(вместо передовицы)

«Суровый Дант не презирал сонета»,–
Нам поступать грешно наоборот...
Философы грозят кончиной света,
А жители танцуют всласть фокстрот.

Сто кризисов и каждый без просвета,
Зачахли музы, жизнь – водоворот,
То падает, то лезет вверх монета,
Народ в кино лавиной прет и прет.

Лойолы с капиталами и с весом
Флиртуют беспардонно с красным бесом.
В кого метать летучий бумеранг?..

В средневековье новое вступая,
Невольно скажешь, горестно вздыхая:
О современность, ты – орангутанг!

<1925>

Любовь к ближнему

*Сидите на месте и не рыпайтесь! Париже – ни
квартир, ни работы.*

*(Из письма парижского эмигранта к
римскому)*

Твой ближний влез уже на плот
И ест, поплеывая в море, –
А ты в волнах, раскрывши рот,
Плывешь к спасительной опоре.

Еще усилие одно...
Но сверху гневный визг протеста:
«Не доплывешь! Ступай на дно!
Здесь на плоту нет больше места!..»

1924, декабрь

Из альбома женоненавистника

I

На сей планете не бывает, – ах! –
Всей полноты познания в высшем смысле:
Варвара на пяти щебечет языках,
Но ни один не служит ей для мысли.

II

Мне женщин не понять вовеки:
Дурак – от пят до глаз баран,
А у Софи глаза Сенеки,

Но в голове сплошной изъян.

III

В слезах из рая Ева уходила...
Но ей Адам из перьев какаду
Передник сделал с пряжкой на заду.
Вмиг Ева расцвела: «Как это мило!»

<1925>

Петрушка в Париже (лубок)

Явление I

Петрушка (*всплескивая руками, появляется из-за ширмы и поет на мотив «Барыни»*):

Укатил я из Москвы,
Потому что жить там нудно,—
Но в Париже мне, увы,
Тоже, братцы, очень трудно...
Поступил бы я в Гиньоль,
Да у них язык французский...
Переучиваться, что ль?
Я ведь, миленькие, русский!..
Смокинг не на что купить...
В кошельке два су на ужин...
В кино, что ли, поступить?
Да кому Петрушка нужен?
Стать шофером? Черта с два!
План Парижа, брат, не шутка.
Все, бывало, трын-трава,—

А теперь – уй-ной – как жутко!..

(Всхлипывает)

Явление II

Ажан:

Эй, гражданин, ваша карт-д'идантите?

Петрушка *(встряхивается)*: У сороки на хвосте!

Ажан:

Ваше ремесло?

Петрушка:

В Каспийское море под лед унесло.

Ажан:

Какое у вас поручительство во Франции?

Петрушка:

Две московских ломбардных квитанции.

Ажан *(кричит)*:

Кто вас здесь может ре-ко-мен-до-вать?

Петрушка:

Почтеннейшая барыня, Кузькина мать.

Ажан (*наступая*):

Где вы жи-ве-те?!

Петрушка (*отступая*):

В Люксембургском саду у голландской тети...

Ажан (*плюется и тащит его*):

ТЬфу! Пожалуйте в полицию для объяснения.

Петрушка (*визгливо кричит*):

Уй-уй-ной! Какое приключение!
Матрена Ивановна, законная супруга,
Петрушке туго!..
Полно глазеть на дамские шляпки,—
Я попал ажану в лапки!

Явление III

Матрена Ивановна (*кокетливо*):

Отпустите его, господин ажан,
У него нету ни квартиры, ни д'аржан...
Сделать вам глазки?

Показать вам мои подвязки?

Ажан (*крутит, покачиваясь, усы*).

Петрушка:

Кувалда! При муже?!

Матрена Ивановна:

Смотри, чтоб не было хуже...

(К ажану)

Ах, какой вы, господин ажан, симпатичный!

Сразу видно, что кавалер столичный:

Красные кантики, синий мундир!

Ангел! Ландыш! Кумир!

Ущипнуть вас за щечку?

Петрушка ее оттягивает.

Ажан (*сладким голосом*):

Попала в самую точку...

Ну что ж, живите, шут с вами,—

Надо ж сделать снисхождение даме.

Только достаньте поручительство...

Петрушка (*в сторону*):

От месопотамского правительства,

Писанное вилами на воде...

Ажан:

Очень приятно: Adieu!

(Обнимает Матрену Ивановну, целует ее и уходит.)

Петрушка *(наступает на Матрену Ивановну):*

Матрена! Он тебя поцеловал?!

Матрена Ивановна *(задорно):*

А ты бы хотел, чтоб он тебя арестовал?

Петрушка *(угрожающе):*

Ты ему назначила свиданье?

Матрена Ивановна *(задорно):*

Ревнует?! Чучело баранье...
Ты мне лучше головы не морочь,
А подумай, где мы нынче проведем ночь.

Петрушка *(становится в позу и поет речитативом):*

Наш приют в кафе «Ротонде»,—
В артистическом бомонде,
Средь художников корявых
И поэтов шепелявых...
Бум!

Там, под стол поджавши ножки,
Сядем тихо у окошка

И возьмем на две персоны
Чашку чаю без лимона.
Бум!
А на стенках, как тартинки,
Понатыканы картинки:
Раскоряченные бабы
И беременные крабы...
Бум!

(Медленно, словно ослабевая)

Ох, устал! Башка, как мякоть...
На дворе и дождь, и слякоть,—
До «Ротонды» б доплестись...
Ну и жисть!..

(Хватается за сердце)

Ай-яй! Дурно... Сосет под ложечкой...
Не владею правой ножечкой!..

Матрена Ивановна *(бросается к нему):*

Петруша, светик, очнись!

Петрушка *(опускается на ширму и свешивает голову и руки):*

Ослабел... Помираю... Брысь!

Матрена Ивановна *(суется, пытаясь его поднять):*

Ах, mon Dieu^[9], холодные уши...
Доктор, доктор! Помогите Петруше!!

Явление IV

Доктор (*в цилиндре и смокинге*):

Где ваш пациент?

(Наклоняется к Петрушке)

Один момент...
Пульс, как у клячи,
Дыханье цыплячье,
Сердце размякло,
В голове пакля –
В животе пусто...

Петрушка (*слабым голосом*):

Врешь! Вчера съел пол-лангуста...

Доктор (*обращаясь к Матрене Ивановне*):

Крышка, madame!
Да на кой черт он вам?
Вы такая пышка...

Матрена Ивановна (*игриво*):

Доктор! Шалунишка...

Доктор:

Бросим его под мост,
Псу под хвост,
Возьмем такси
И айда ко мне в Пасси...

(Обнимает Матрену Ивановну и целует.)

Петрушка *(слабо приподымается, подбирается к доктору, пытаясь ударить его палкой по голове, но промахивается):*

Вот до чего ослабел,—
Даже доктора укокошить не сумел!

Доктор *(отбрасывает локтем Петрушку, тот сваливается на ширму):*

Madame, к вашим услугам полмира,—
Выбирайте, я или он...
У меня есть квартира,
Ванна и телефон...
Отдельная спальная!..

Матрена Ивановна:

А отопление центральное?

Доктор *(кивает головой):*

Еще бы!
Для такой симпатичной особы...

Матрена Ивановна:

Прощай, Петрушка! Прощай, инвалид...
Против центрального отопления кто устоит?

(Обнимается с доктором, и оба исчезают.)

* * *

Петрушка (один; приподымается и оглядывается):

Удрала... Погиб! Пропал!!!
Чтоб меня черт побрал!

(Опускает голову и жалобно причитает)

Матрена ушла... Отсырела шарманка...
По-французски ни звука...
В кармане – ни франка...
Хо-ро-ша-я штука!
Уй-юй-юй!..

Явление V

Черт (*выскакивая снизу*):

Вы меня звали, гражданин Pierre?

Петрушка:

Это еще что за кавалер?

Черт:

Эмигрантский черт, родом из Тулы...

Петрушка (*обнимает его*):

Земляк?! Ах ты, шут сутулый!
Ты как попал в Париж?

Черт:

Да разве там усидишь?
В Туле все посходили с ума,—
Не жизнь, а тюрьма!
Люди чертей стали хуже,
Дела, что ни день, то туже —
Вот я и прибежал...

.....

(*строго*)

Ты зачем меня звал?

Петрушка:

Я?! Врешь! А у тебя есть карт-д'идантите?

Черт (*с гордостью*):

Всегда ношу на хвосте.

Петрушка:

А какое твое занятие?

Черт (*скороговоркой*):

Перепродаю вышедшее из моды дамское платье...

Петрушка:

А где ты живешь, в каком арондисмане?

Черт:

На Place de Concorde в главном фонтане.

Петрушка:

А какие у тебя рекомендации?

Черт:

От старшего дворника из Лиги наций...

Петрушка (*уныло*):

Ну, с тобой не сговоришь.

Черт (*насмешливо*):

А ты чего дрожишь?

Петрушка:

А ты чего ко мне пристал?

Черт (*наступая*):

А ты чего меня звал?

Петрушка:

Боюсь! Не хочу! Матрена Ивановна, войди в мое положение!..

Голос Матрены Ивановны (*за ширмой*):

Не могу! Сижу на центральном отоплении...

Черт (*хватает Петрушку и тащит*):

Нечего упираться...
Некогда мне тут с тобой прохлаждаться.

Петрушка (*отбивается и пронзительно орет*):

Уй-уй-ной! Какой ужасный пассаж!
Погибли мои фонды...
Петрушка выходит в тираж!
Не видать ему больше «Ротонды»!

(*Оба проваливаются.*)

<1925>

«Пока не требует Демьяна...»

Пока не требует Демьяна
К казенной жертве Коминтерн,
Он в полумраке ресторана
Глокает ром, как Олоферн.
Умолкли струны балалайки,
В душе икает пьяный звон,—
И среди поэтов чрезвычайки,
Быть может, всех ничтожней он...
Но лишь развязный комсомол
Над ухом гонораром звякнет,
Душа Демьяна зычно крякнет,
Как пробудившийся осел.
С сардинкой тухлою в проборе
Из кабака он вскачь бежит
И басни красные строчит
Ногою левой на заборе...

<1925>

Советские частушки

По Тверскому я гуляла,
Бюсты выставила,
Политграмоту читала,
Перелистывала.

Подошел кудрявый к речке.
Поплевал на доньшко...
Обвенчал нас леший в гречке,—
Чем же я не женушка?

Комсомолец пьет в харчевне,
В каждой ручке — пулемет.
Рыков стал лицом к деревне,
Значит, в кассе недочет.

По советскому приказу
Из рязанской Губчеки –
Взбунтовались в Китае
Все венгерцы-мужики.

На рябине канарейка
Пролетарский гимн поет,
А Зиновьев хлеб крестьянский
За границу продает...

Одолжи-ка нам, Европа,
Миллиардов двадцать пять,
Мы поправимся маленько
И придем тебя чесать!

<1925>

Эмигрантские объявления

Ясновидящий Игорь фон Шталь
Мертвых жен и мужей вызывает,
Исцеляет в рассрочку печаль
И прыщи на носу удаляет.

Массажистка Агафья Сен-Жюст:
Специальность – сиденье и бедра.
Как бы ни был массивен ваш бюст,
Приступайте к лечению бодро!

Институт Неземной Красоты.
Наш девиз: «Все клиентки – Венеры!»
Зуд в подмышках, ресницы, и рты,
И ушное скопление серы.

Ресторан «Дар-Валдай на Днепре».
Медвежати́на с клюквой и с салом,

Русский хор в мавританском шатре
И лезгинец Печорин с кинжалом.

Всем доступно! Квартиро-канкан:
Не квартиры, ей-Богу, а сахар!
Восемь тысяч за старый диван,
Восемь тысяч за шахер и махер.

Ci-devant^[10] председатель суда
Чинит мебель, ботинки и рамки,
Не боится любого труда,
Если надо, согласен хоть в мамки.

<1925>

В венском павильоне

(На декоративной выставке)

Я признаюсь вам открыто:
Мне понравилась покуда
Изо всех вещей их быта
Только кельнерша Гертруда...

Почему? И сам не знаю.
Может быть, она немного
Мне напомнила Аглаю
Из родного Таганрога.

Та же грудь и та же брошка,
Поступь – вьющаяся рыбка,
И увесистая ножка,
И безвольная улыбка...

О Гертруда! В час вечерний,—

Если рок нас свел в Париже,
Мы с тобой в ночной таверне
Познакомимся поближе.

Наклонив к шартрезу щеки,
Пересчитывая сдачу,
Гонорар за эти строки
На тебя я весь истрачу!

<1925>

Молодому парнасскому полотеру

*«По последней переписи в Москве 4318 поэтов!»
– «А вы думаете, что в эмиграции их меньше?»*

(Из разговора)

Чтоб стать тапером, надобно учиться
И нужен слух и легкие персты...
А юноше, когда он начал бриться,
Как в Крепость Славы провести мосты?

В любой столице – тысяч семь поэтов.
Еще один – беда не велика!
Средь гениальных юных пистолетов
Ты хвост раздуешь шире индюка...

Ворвешься в клуб «Рифмованной капусты»
И будешь ассонансы гулко ржать,
А стадо дев, уткнув ресницы в бюсты,
Умильно будет хлопать и визжать.

Знакомый хлыщ из дружеской газеты
Тебя увековечит в трех строках,
И мутный хвост еще одной кометы

На пять минут зардеет в облаках.

Талант и труд – бессмысленное бремя.
Сто тысяч лир! Не медли, дорогой...
Взбей бант козлом, вонзи копыто в стремя:
Пегас бьет в пол ослиною ногой!

<1925>

Слишком резвому

Гостинодворским языком
Кричит он нам об общем долге,
Вопит о родине, о Волге
И лупит в перси кулаком...

Но почему ж в Крыму, мой друг,
Ты был акулой тыловою?
Наверно, было недосуг
Рискнуть своею головою?..

<1925>

Показательная санатория в Евпатории (по «Правде»)

Больные приходят «с мухой».
Не люди, а темная жмудь:
Смотрителя в правое ухо,
Сестру за левую грудь...

Пища – гниль и вонища:
Котлеты из тухлых кобыл.
В ванне выбито днище,
В уборной мусор и ил.

И только одна отрада:
Чуть месяц блеснет голубой,
К бабам в окна из сада
Курортники лезут гурьбой.

Амуры в ванной, в мертвецкой,
Амуры во всех углах,–
В палатах, в саду и в детской,
На скамьях и на столах.

Гармошка – в такт поцелуям...
Так нежен залиvistый вой:
«Сестрица, на горе буржуям
Раздуем пожар мировой!»

<1925>

Гостиница в Пасси

Номер 5

В китайских круглых телескопах
Сидит художник над столом.
Что заработаешь в Европах
Карандашом?

Закрылся полостью халата,
Не подымает мутных глаз
И чертит печку для плаката
В сто пятый раз.

Номер 8

Отчего поет так громко
Безголосый старичок?
Потому, что на спиртовке
Жарит шашлычок.

Пой, бедняга! Чад проклятый
Все равно пройдет сквозь щель.
Стукнут в дверь: спиртовку дунешь,—
Ужин под постель...

Номер 12

Дрожит диван, трясутся чашки:
Эсер играет с тетей в шашки.

Номер 13

На кровати – туловища с бюстами:
Надо всех маркизами одеть...
Куклы растопырились лангустами,
Ручки-ножки виснут, словно плеть.
Надоело! Баронесса сплюнула
И, косясь на уличную мглу,
В зад маркизы с едкой злобой всунула толстую иглу.

Номер 17

Стулья придвинув к постели, два пожилых человека
К картам склонили чело, мирно и кротко пыхтя.
О эмигрантское чудо!.. Ты полюбуйся, читатель:

Республиканец один, а его визави – монархист!

Номер 22

На брюках – широкая клетка,
Квадратная челюсть, брюнет...
«Японец», – решила соседка,
«Испанец!» – отрезал сосед.
Но все ни к чему: ни окраска, ни брюки, ни скулы, –
Жилец оказался Иваном Бубновым из Тулы.

Номер 25

Дверь скрипнула. Трехлетний карапуз,
Из материнских выскользнувши уз,
По коридору пробежал до шкапа, –
С разгона врос передо мной в паркет
И вдруг, косясь на бурый мой жилет,
Мне в изумленье шепчет: «Папа!..»

<1925>

К двухсотлетию академии наук

Убившие свободную науку,
Ученых изгонявшие бичом,
Забавную придумали вы штуку,
Труп Академии венчая кумачом...

Честнее был и Пугачев, и Разин:
«Сарынь на кичку!» Резали проста...
Палач Культуры трижды лжив и грязен,

Лобзая жертву в мертвые уста.

Кичиться ль вам двухвековой славой
Рассадника науки и добра?
Ведь этот храм пустой, но величавый,
Не даст вам даже горсти серебра...

В Вольтеры навязавши комсомольца,
Европу вы решили удивить?
Наука – не награбленные кольца,—
Напрасна ваша каторжная прыть.

Наука мстит. Под фирмой «пролетарской»
Грызет букварь зазнавшийся профан.
Весь ваш приплод: Лойола Луначарский
И коллективный красный Митрофан.

И если семь досужих европейцев
К вам приплывут на мертвый юбилей,—
Так посещали некогда индейцев,
Сходя опасно с высоких кораблей...

Труби же, Ложь! Сгребай с чужих покосов
Священный прах в Научный Исполком.
Не встанет из могилы Ломоносов...
А если б встал: они б его штыком!

<1925>

Из зеленой тетрадки

I

Два боксера друг другу расквасили рыло,
И один закачался, икнул и упал,

А другой дожидался корректно и мило,
Чтоб упавший коллега очнулся и встал...

Публицисты-газетчики! Вы лишь без пауз,
Злобно перья вонзая друг другу в виски,
Наливаете желчью и уксусом кляуз
И упавшего рвете, как псы, на куски.

II

О Господи, ужель и после смерти
В разноголосом пробужусь концерте?
В каком-нибудь предбаннике глухом
Бакунин в стол ударит кулаком,
Катков с Плехановым заспорят о России,
Народники свои разложат хрии,
И Ленин, с исступленностью удава,
Всех оглушит налево и направо...

<1925>

Политикон и эмигрантский уезд

(Из записной книжки)

I

Трагический трилистник

Рассудок с каждым днем правее,
Желудок с каждым днем левее,
А сердце в беспартийном сне
Томится в гордой вышине.

II

Я болтал с трехлетней Ниной.
– Кем ты хочешь быть? – «Мужчиной!»
Почему?
А потому!..
Очень нужно раз по пять
В муках чад своих рожать!..

III

В львином рву Даниил объяснялся со львами.
Небо в снегах сияло над их головами:
«Отчего вы такие жестокие звери?
Эва, сколько костей человеческих в пещере!»

Старый лев обернулся к белеющей груди,
Кто ж людей нам бросает?
Не те же люди?

IV

Безработному эмигранту

Нет ремесла? Мой друг, не унывай,
Берись за все, легко и без претензии,
По будням папиросы набивай,
А по воскресным дням пиши рецензии.

V

Дважды два

После спора: дважды два,
Убежденно и басисто
Первый резво ляпнул: «Триста»,
А второй зевнул: «Слова».

«Ерунда!» Вспылил, как порох,
Третий, нервно стал шагать:
– «Дважды два, в субботу сорок,
А в четверг – сто тридцать пять».

Словно дьявол у реторты –
Сквозь пенсне блеснув зрачком,
Встал взлохмаченный четвертый:
«Дважды два – питейный дом!»

Пятый что-то пропищал,
Пропищал, как мышь у щели,–
Но никто не разобрал,
Потому что все шумели.

А шестой, ведь вот беда,
Только крякал от волненья:
По пути домой всегда
Находил он возраженья.

Разливался спор все шире.
Вдруг седьмой, горя, как мак,
Робко вставши: «Как же так?
Дважды два всегда четыре!»

Ах, как взъелись все: Пошляк!
Чушь! Старо! Избито! Глупо!
Дичь! Мещанство! Пошло! Тупо!
В самом деле – как же так!..

<<1924–1925>>

<1971>

Бензинная любовь

(из путевого альбома)

Есть особого вида любовь:
Он садится на мотоциклетку,
А она, вскинув гордую бровь,
На железную заднюю клетку.

Наклонясь над вспотевшей спиной,
Свесив вбок мускулистые ноги,
На ухабах взлетая копной,
Пролетает она вдоль дороги.

А Ромео в квадратных очках,
Словно дьявол с далекого Марса,
Приникает к рулю на толчках
В цепкой позе голодного барса.

Пыль клубится. Воняет бензин.
Гулкий треск барабанит в моторе.
Кто Джульетта? Одна из кузин?

Иль коллега его по конторе?

В едких кляксах ее галифе,
Из-под кепки – землистые скулы...
А навстречу столбы, и кафе,
И моторы – стальные акулы.

В ухе рвется стрекочущий бред.
Дети с визгом в кусты убегают...
Мрачно матери смотрят ей вслед
И на всех языках проклинаят.

За шоссе засинел океан,
Но не видят они океана.
Этот странный бензинный роман
Непонятен, как суп из банана...

Бросишь взгляд на ее макинтош,
На затылок подбритый и бурый...
О Петрарка, твой вкус был хорош,
Но сегодня не в моде Лауры...

<1925>

Европа и «они»

I

Европейский буржуй на полпредском балу
Поднял тост за советскую власть:
«Эмигранты на вас изрекают хулу,
И клеймят, и порочат вас всласть...
Но ликеры, и фраки, и блеск позолот,—
Я таких не видал у пашей!
Верю сердцем! Поставка на красный ваш флот

Сто процентов мне даст барышей...»

II

«Признать ли их?» – гадают чехи.
В основе мысль не так глупа:
Другим достанутся орехи,
А им – одна лишь скорлупа.

Но будет горек этот праздник...
Итог один игры слепой:
Сев на орехи, совлабазник
Торгует только скорлупой...

III

Муссолини сидел на диване,
А полпред перед ним на софе.
«Хорошо ли у вас на Кубани?» –
Тот с улыбкой задрал галифе...

Муссолини склоняется ниже:
«Колонистов мы с давних уж пор
В Аргентину сплавляем, синьор...
Ведь Кубань и удобней и ближе?»

«О, конечно! Но раньше – заем...»
Миг молчанья, пустой и тягучий,
И с досадой в резной водоем,
Только плюнул, нахмурившись, «дуче».

IV

Бернарда Шоу раз спросили:
«Вы так умны в своих статьях...
Зачем при красном крокодиле
Вы состояли в кумовьях?»

И едкий сэръ ответил с сердцем
(Какие мудрые слова!):
«Пикантно мясо с красным перцем,
Но голый перец... черта с два!»

V

Баварский бравый генерал,
На карту ткнув перстом в Урал,
Изрек: «Мы здесь отточим вмиг
Немецкий штык и красный штык...
И зычно грянет за Ламанш
Наш лозунг пламенный – реванш!..»
Но попугай, раскрывши зрак,
Из клетки крикнул вдруг: «Дурак!»

<1926>

Пролетарская муза

Все захватив – шрифты, бумагу, краски,
Ты скифским задом заняла Парнас.
Все писаря, монтеры и подпаски
Взялись за арфы в этот светлый час...

Чужой бокал наполнив мутным квасом,

В венке из кумачовых напых роз,
Ты занесла колено над Пегасом –
И сброшена средь площади в навоз.

Вставай и пой! Шрифты к твоим услугам,
Приподыми отяжелевший зоб,–
Твоя артель сгрудилась тесным кругом
И тщетно морщит коллективный лоб...

Отговорила... Нищей много надо ль?
Сто пьяных слов, одышка... и отлив.
Эй, Госиздат! Закрой рогожей падаль,–
Бог Аполлон суров, но справедлив.

<1926>

Надписи на полях библиотечных книг

(почти с натуры)

Тютчев

Поперек стихов пометка:
«Мысли есть, но в общем – сухо».
(Так на мраморе нередко
Оставляет след свой муха.)

«Капитанская дочка»

Мнение – крайне-правой барыни
Кратко, веско и сурово:
«Я на месте Государыни

Не простила бы Гринева».

Общее заключение

*«Писать на книжках очень глупо.
Иван Фадееч Кандалуна».*

<1931>

Сказка про красного бычка

За годом год
Коллективный красный кретин
С упорством сознательной прачки
Травил интеллигентов:
«Вредителей» к стенке,
«Спецов» по шапке,
Профессоров в Соловки,
Науку под ноготь...
Каждый партийный маляр
Клал на кафедру ноги,
Дирижировал университетами,
Директорствовал на заводах...
Как дикий кабан на капитанском мостике,
Топтался на одном месте:
Смыкал ножницы,
Склеивал слюной бешеной собаки
Прорывы и «неувязки»,—
Плакаты! Плакаты! Лозунги! Фронты!
Чучело Чемберлена!..
В итоге – пошехонский,
Планетарный, бездарный
Шиш...
Партийные Иванушки-Дурачки в кепках

Даже и не подозревали,
Что каждая гайка в каждом станке
Изобретена интеллигентскими мозгами,
Что в каждом штепселе –
Залежи ума и горы знания,
Что поколения зрячих, одно за другим,
В тиши кабинетов,
В лабораториях,
Изобретали, числили, мерили,
Чтоб из руды, из огня, из бурой нефти
Сделать человеку покорных слуг...
Иванушки-Дурачки
Сели задом наперед на украденный трактор,
Партийный Стенька Разин свистнул в два пальца, –
Через ухабы, чрез буераки
Напролом по башкирско-марксистскому компасу;
«Из-за острова... влево... на стрежень,
К чертям на рога! Вали!»
И вот, когда ржавый трактор
Свалился кверху колесами в смрадную топь,
Когда в деревнях не стало ни иглы, ни гвоздя,
Когда серп и молот можно было увидеть
Лишь на заборных плакатах,
Когда свои интеллигенты, Святые Дурни,
Сдавленные партийными задами,
Связанные по рукам и ногам,
Храпели под досками, –
Тогда красные ослы призвали
Спецо-варягов:
«Тройной оклад! Отборное меню!
Барские квартиры за проволочными ограждениями!
Оазисы сытого буржуазного жития
Средь нищей пустыни!
Стройте! Гоните! Сдавайте мозг напрокат, –
Свои заплевали... Чужие надежней...»
И вот потянулись из разных стран
Высокопробные роботы:

Китай, Гвинея, Советская ль вотчина –
Деньги не пахнут, икра не смердит,
Соловецких стонов не слышно...
Завод на завод! Этаж на этаж!
Электрический трест для выделки масла
Из трупных червей!
Небоскребы из торфа! Свинец из трахомы!
Крематории с самоновейшим комфортом
Для политкаторжан!
Самогон из мощей Ильича! Перегоним Америку!..
И снова шиш... Стоэтажный шиш,
Грандиозный, советский, сталинский шиш...
И снова клич:
«Милость беспартийным!
Пощада интеллигентам!
Амнистия мозгам!
Выдать пострадавшим и недомученным премию
От тысячи до двести тысяч рублей»
(По расчету – за каждый плевок по копейке),–
ГПУ утирает обиженные слезы,
Сталин прижимает спецов к косматому сердцу,
Варяги укладывают чемоданы,
Горький, проклинавший на прошлой неделе интеллигентов,
Объявляется уклонистом,
Партийные маляры почесываются на командных высотах,–
Гремит Интернационал!
Гремит Интернационал! Красный штандарт скачет!
Пятилетка задом наперед влезает
На старый, изломанный трактор,
И сказка про красного бычка начинается сначала...

<1931>

«Неделя доброты»

Господи! Как мне быть добрым
Хоть неделю в году,
Для вентиляции пыльной души,
Для смягчения черствого сердца,
Для удовольствия ближних?..
Так ведь полезно себя очищать ежегодно,
Как трубочист прочищает камин!

Хотя, если правду сказать,
Круглый год,
Как, надеюсь, и вы, мой читатель,
Я стараюсь быть добрым...
То придет какой-нибудь шут –
Смесь Свидригайлова с Чацким –
И затопит тебя Ниагарою слов,
Вязких, шершавых и вздорных,
От которых потом остается в мозгах,
Часов приблизительно на пять,
Чад жженой резины и перьев...
Но я ведь терплю,
Молчу, не рычу,–
Чтоб не впасть в искушение,
Словарем пресс-папье прикрываю
И, как дитя, улыбаюсь.

То, чуть присядешь к столу за работу,
Квартирант заведет граммофон –
Гнусаво-визжащую кошку –
И в дверь потом постучится:
«Вам граммофон не мешает?»
«О, – отвечаю я кротко,
Сжимая дрожащую челюсть,–
Пожалуйста, друг мой!»

То прилетит пневматичка:
Некто по срочному делу
Просит приехать – час и минуты – в кафе.

Едешь!.. Ждешь часа полтора!
Наконец прилетает синьор
С расстегнутым ртом и в расплюснутой шляпе
И предлагает издать в компании с ним
Самоучитель по ловле креветок...
Как трудно в такие минуты быть добрым,
И все же... стараешься.

То прачка вам принесет
Вместо вашей любимой сорочки
Какую-то бурую мерзость –
О трижды проклятый жавель!
И опять улыбайся, как ангел,
И добрые делай глаза.

То по рыхлой своей доброте
Вы ближнему редкую книгу дадите,
И он ее вам вернет
(Если вернет!)
В соусе рыжем и без заглавной страницы,–
Ты, Господи, знаешь, с какою любовью
Я ближнему кресло тогда придвигаю.
Нет! Если правду сказать,–
Для вентиляции сердца,
Для облегчения сжатой души
Хорошо б хоть неделю в году уделить
«Неделе несдержанной злости...»

Из дневника поэта*

Жизнь («Посади в вазон зимою...»)

Посади в вазон зимою скользко-белый твердый боб –
День пройдет, и два, и больше, и, разрыв свой черный гроб,
Из земли упрямо встанет крепкий радостный росток.
И родит живое чудо: изумрудный лепесток.
День за днем живые листья развернут густой шатер,
И утонет в нем, мечтая, утомленный грязью взор.
Дни пройдут – среди хрупких ножек, словно белый мотылек,
Кротко свесится невинный, первый ласковый цветок.
Покрасуется, увянет, но на крохотном крючке
Зерна новые набухнут в нежно-матовом стручке.
Ярче сказки Андерсена развернется пред тобой
Сказка жизни, вечной жизни, переполненной собой, –
И, быть может, злой и хмурый, в первый раз за много лет
Ты очнешься и забудешь неживое слово «нет».

<1921>

Романс

Кусты прибрежной ивы
Сплелись в тенистый круг.
Молчит залив ленивый...
Ты больше мне не друг?

Хитон твой нежно-алый
На палевом песке –
Мечтою небывалой
Поет моей тоске...

Слежу, как мальчик робкий,

За тенью полных рук.
Мелькает шелк в коробке,
Стан клонится, как лук.

Склонившись низко к пальцам,
Отводишь ты глаза...
На милых, гордых пальцах,
Дрожа, горит слеза.

Ты – радостная птица,
Я – злой и хмурый волк.
Смотри, как золотится
В воде закатный шелк!

Не плач. Ведь я не плачу...
Все выпито до дна.
Вернусь один на дачу
И сяду у окна.

<1921>

В плену

Оптовый продавец подтяжек, мистер Крукс,
Пресытись барышом, раскроет карту,
Ткнет пальцем в первое попавшееся место –
В Мадагаскар, Калькутту или Яву,
Возьмет каюту, сунет в толстый сак
Все, что его от обезьяны отличает, –
И поплывет...
Весь глобус, наша милая земля,
С прекрасной, многогранной пестротой,
К услугам сэра Крукса...
Дымя сигарой, втиснется в качалку,
Слоновьи ноги вытянет за борт,
И, в пломбах ковыряя зубочисткой,

Бессмысленно упрется в океан.
В природе он не больше понимает,
Чем в трех сезонных симфонических концертах,
Где первый ряд всегда к его услугам...
Но печень, но негоциантский сплин –
И, наконец, престиж старинной фирмы...
Путь бодрый, мистер Крукс!

* * *

А ты поэт, нелепый человек,
От детских лет заложник пресных будней,
Как за ногу привязанный, торчишь
В каком-нибудь столичном захолустье...
Берешь займы у жажды и мечты,
Балконный плющ раскрашиваешь в пальму
И в море безразличных пиджаков
Упрямо ищешь смелых Дон-Кихотов...
Клубятся дни, седеет голова,
Усталость ржавчиной подтачивает сердце, –
Сшивай мечты в пузатую тетрадь!
Торгуй молитвами, – быть может, тот же Крукс
Твои сонеты сунет в чемодан,
И, неразрезанные, съезжившись на дне,
Они объедут свет, как крыса в трюме...

<1923>

В саксонских горах

Над головою по веревке вползает немец на скалу.
А я лежу ленивей кошки, прикинув к теплему стволу.
В груди пушистой желтой ивы поет, срываясь, соловей,
И пчелы басом распевают над сладкой дымкою ветвей.

У ног ручей клокочет гулко, по дну форель скользнула в
щель,
Опять сияет в горной чаше расцветший радостью апрель!
Ах, если б Ты, вернувший силы поникшей иве, мхам средь
скал,
Весною снова человека рукою щедрой обновлял:
Чтоб равнодушная усталость исчезла, как февральский снег,
Чтоб вновь проснувшаяся жажда до звезд стремилась свой
разбег,
Чтоб зачернел над лбом упрямым, как в дни былые, дерзкий
чуб,
Чтоб соловьи любви и гнева слетали вновь с безумных губ...

1923, апрель

В поте лица

Поет рубанок гладкий,
Взлетает по доске,
И стружки в беспорядке
Шуршат на верстаке,
И клей ворчит в клеянке
На медленном огне,
И незабудки в банке
Синеют на окне.
 Так любо в такт работе
 Заливисто свистать
 И ни о чем не думать,
 И ничего не знать.

На подоконник жаркий
Прилег знакомый кот.
В шкафу остались шкварки,—
Учуял, обормот!
А воробьи-злодеи
На пыльной бузине

Вытягивают шеи
И тянутся ко мне.
Ходи, рубанок, легче,
Укачивай мозги,–
День тянется, как кляча,
И впереди – ни зги...

Сползает слой за слоем,
Шипит-поет доска,
Ореховым настоем
Окрасим ей бока...
Бурав провертит дырки,
Нож сгладит мат торцов,
Резные растопырки
Проденем с двух концов,–
И вот, гляди, над койкой,
Вся стройная, как бриг,
Повиснет этажерка,
Скворешница для книг...

Суровая, как шкипер,
Не раз, ключом звеня,
Хозяйка, фрейлен Пипер,
Буравила меня:
«Тургенев на диване...
Кнут Гамсун на полу...
Словарь на чемодане,
А „Руль“ и „Дни“ в углу!»
Ну, что ж... Пора бедняжку
Избавить от хлопот.
Какое ваше мнение
Об этом, мистер кот?

<1923>

Безмерно жутко в полночь на погосте
Внимать унылому шипению ольхи...
Еще страшнее в зале на помосте
Читать на вечерах свои стихи.

Стоит столбом испуганная Муза,
Волнуясь, комкает интимные слова,
А перед ней, как страшная Медуза,
Стоглазая чужая голова...

Такое чувство ощущает кролик,
Когда над ним удав раскроет пасть,
Как хорошо, когда поставят столик:
Хоть ноги спрячешь – и нельзя упасть...

А по рядам, всей ощущаешь кожей,
Порхает мысль в зловещей тишине:
«Ах, Боже мой, какой он непохожий
На образ тот, что рисовался мне!»

У Музы спазма подступает к плотке,
Застыло время, в сердце алый свет.
Какие-то разряженные тетки
Наводят, щурясь, на тебя лорнет...

Как подчеркнуть курсивом слова шутку?
Как расцветить волнением тона боль?
И, как суфлер, запрятавшийся в будку,
Дубовым голосом бубнишь чужую роль.

А лишь вчера, когда вот эти строки
Качались в беззаботной голове,
Когда у Музы разгорались щеки,
А за окном плыл голубь в синеве,

И чай дымился в солнечном стакане,
И папироса тлела над рукой, –

Мгновенья плыли в ласковом тумане
И так был тих задумчивый покой...

Скорей, скорей... Еще четыре строчки.
Зал потонул в сверкающем чаду.
На берег выйду у последней точки
И полной грудью дух переведу!

<1925>

Предвесеннее

Ты ждешь весны? Я тоже жду...
Она приходит раз в году.
Зеленый пух завьет весь сквер,
И на подъезде тощий сэр,
Пронзая мартовскую ночь,
Во всю мяукнет мочь...

Ручей вдоль края мостовой,
Звеня полоскою живой,
Сверкнет на перекрестке вдруг,
Потом нырнет в прохладный люк
И унесет в подземный край
Кораблик твой... Пускай!

День стал длиннее чуть-чуть-чуть...
Еще февраль свистит в окно,
Еще туман взбивает муть,—
Нам, право, все равно:
На всех кустах, — пойдика в сад,—
Живые почки чутко спят.

И в снежной чаще спит медведь,
Он чует, лапу в пасть зажав,
Что скоро солнечная медь

Заткет луга узором трав...
И в дальнем Конго журавли
Уже готовят корабли.

Приди ж, дружок-весна, скорей
Из-за лазоревых морей...
Твой первый листик я сорву,
К губам притисну в старом рву
И звонко щелкну в тишине,
Как белка на сосне!..

<1926>

Как я живу и не работаю

На заре отправляюсь в Булонский мой лес,—
Он подчас заменяет Таити...
Над прудом чуть дымится жемчужный навес.
В этот час вы, я думаю, спите?
Выгнув шею в большое французское S,
Черный лебедь торопит: «Дай булки!»
Я крошу ему булку. А с лона небес
Солнце брызжет во все закоулки.

* * *

Если кто-нибудь скажет (болтун-следопыт!),
Что встаю я обычно в двенадцать,—
Это грубая сплетня, и в частный мой быт
Попросил бы его не вторгаться...
Стадо ланей бесшумным движеньем копыт
Топчет плющ у песчаного яра.
Зацветает рябина. Ворона кричит.

На скамейке целуется пара.

* * *

Под мостами у Сены часами торчу.
Рыболовы, смиренные тени,
Приковавши глаза к камышинке-бичу,
Ждут добычи, расставив колени.
Целый день я, волнуясь, смотрю и молчу...
В мутных струйках полощутся шпильки,
Но никто, вырывая бечевку к плечу,
Не поймал даже крошечной кильки.

* * *

Дома тоже немало забавных минут:
Кот заходит с визитом в окошко,
Впрочем, кот этот – наптый отъявленный плут,
Оказался впоследствии кошкой.
У меня на диване, смутив мой уют,
Разродился он в прошлое лето...
Кот иль кошка, другие пускай разберут, –
Но зачем же рожать у поэта?!..

* * *

Иногда у консьержки беру на прокат
Симпатичного куцега фокса.
Я назвал его «Микки», и он мой собрат –
Пишет повести и парадоксы.
Он тактичен и вежлив от носа до пят,

Никогда не ворчит и не лает.
Лишь когда на мандоле я славлю закат,—
«Перестань!» — он меня умоляет.

* * *

Три младенца игру завели у крыльца:
Два ажана поймали воришку...
Вор сосновым кинжалом пронзил им сердца,
А ажаны его за манишку...
Наигрались — к окну. Три румяных лица.
Друг на друга глазеем лукаво.
Мандарин, апельсин и кусок леденца,—
До моста долетит моя слава!

* * *

Прибежит, запыхавшись, бродячий сосед.
В лапе хлеб, словно жезл Аарона.
Отгрызет, — постучит каблуком о паркет,
Словит моль и раздавит влюбленно.
— «До свиданья! Бегу. Проморгаю обед...»
Отгрызет и галопом за двери.
Под окном — для чего посмотрел я ей вслед? —
Проплыла крутобокая пери...

* * *

Если очень уж скучно, берусь за пилу,
Надеваю передник французский,
И дубовые планки, склонившись к столу,

Нарезаю полоскою узкой...
Меланхолик! Встань твердой стопой на полу,
Мастери жизнерадостно рамы:
Это средство разгонит душевную мглу
У любого мужчины и дамы.

* * *

А работа? О ней мы пока помолчим.
Занавеску задернем потуже...
Над весенним платаном опаловый дым,
Воробей кувыркается в луже,
В облаках выплывает сверкающий Рим,—
Никакой не хочу я «работы»...
Ни в журнал, ни в газеты, бездельем храним,
Ни строки не пошлю до субботы.

*1926, март
Париж*

Легкие стихи

В погожий день,
Когда читать и думать лень,
Плетешься к Сене, как тюлень,
С мозгами набекрень.

Куст бузины.
Веревка, фартук и штаны...
Сирень, лиловый сон весны,
Томится у стены.

А за кустом —
Цирюльник песий под мостом,

На рундучке, вертя хвостом,
Лежит барбос пластом.

Урчит вода,
В гранитный бык летит слюда.
Буксир орет: «Ку-да? Ку-да?!»
И дым, как борода.

Покой. Уют.
Пустая пристань – мой приют.
Взлетает галстук, словно жгут,–
Весенний ветер лют.

Пора в поход...
Подходит жаба-пароход,
Смешной, распластанный урод.
На нем гурьбой народ.

И вот – сижу...
Винт роет белую между.
С безбрежной нежностью пляжу
На каждую баржу.

Кусты, трава...
Подъемных кранов рукава,
Мосты – заводы – синева
И кабаки... Са-ва!^[11]

А по бокам,
Прильнув к галантным пиджакам,
К цветным сорочкам и носкам,
Воркует стая дам.

Но я – один.
На то четырнадцать причин:
Усталость, мудрость, возраст, сплин...
Куда ни кинь, все клин.

Поют гудки.
Цветут холмы, мосты легки.
Ты слышишь гулкий плеск реки?
Вздыхаешь?.. Пустяки!

<1928>

Ночью

I

Сквозь сосны – россыпь звездных гнезд...
Дневным, замученным глазам
Так чужд бесстрастный холод звезд –
Ночной, неведомый Сезам.
Кружись, слепая карусель,
В угрюмой вечности своей!
Мне здесь моя земная щель
В стократ уютней и милей...
Вот лампа ярче вечных звезд
Цветет в окне, в лесной глуши,
В смолистой чаще пискнул дрозд,
Качнулись сонно камыши,
Над чашкой чая светлый пар,
Легко вздохнул морской прибой,
И как тепло дудит комар
В свой жизнерадостный гобой...
Как волк, смотрю я в звездный мрак,
В пустое, мертвое Ничье,
Вот стол, вот лампа, вот табак,
Вот сердце теплое мое...

В час ночи в комнату ко мне
Забрел бродячий кот.
Шершавым призраком в окне
Раскрыл, зевая, рот
И спрыгнул вниз... В лесу ни зги,
Зияет глухо дверь.
Зачем ты трешься у ноги,
Бездомный, глупый зверь?
Вот в блюдце козье молоко.
Питайся, друг рябой...
Но он вздыхает глубоко.
Не хочешь? Бог с тобой.
Над лампой вьется и трещит
Ночная стрекоза...
Кот вскинул голову, урчит
И смотрит мне в глаза:
«Шагами комнаты не мерь
И не смотри в кусты –
К тебе пришел за лаской зверь
Из черной пустоты».
Ну что ж, пободрствуем вдвоем,
Мне тоже не до сна.
Понюхай книжку, попоем,
Покурим у окна...
Урчит и просит – хвост клюкой,
Спина, как гибкий вал...
И я взволнованной рукой
Бродягу приласкал.

1929

Иногда («Проснешься ночью...»)

Проснешься ночью... На полу сквозит
Сквозь щели ставень лунная решетка.
Стучат часы загадочно и четко.
Перед камином меркнет медный щит.
Ногам тепло – и долго смотришь в щели...
Кто я и где? Быть может, домовой,
Свернувшийся к камину головой
На чьей-то человеческой постели?
Быть может, призрак, вылезший из книг,
Туманное создание Андерсена,
Удрав из долгого наскучившего плена,
Лелеет свой живой и теплый миг?
Иль просто кот, бездумная душа,
Пригретый складками взъерошенного пледа,
Зевает, ноги вытянув, как Леда,
И втягивает ноги, не дыша?..
Иль, может быть, – бродячий подмастерье –
В глухой таверне жду рассветной мпы,
И вот сейчас – петух, раскинув перья,
Веселым зовом огласит углы.

* * *

Пусть утром вновь вернусь в свое житье:
Свой век и стойло вспоминаю с болью...
Душа, порвав с навязанною ролью,
Ткет в лунный час иное бытие.

1930

Ночные lamentации

Ночь идет. Часы над полкой
Миг за мигом гонят в вечность.

За окном бормочет ветер,
Безответственный дурак...
Хоть бы дьявол из камина
В этот час пустынный вылез,—
Чем гонять над Сеной тучи,
Головой ныряя в мрак...
Я б ему, бродяге злому,
Звонко «Демона» прочел бы —
И зрачки б его сверкали,
Как зарницы, из-под век.
Нет — так нет. Паркет да стены,
Посреди коробки тесной,
Словно ерш на сковородке,
Обалделый человек...
Перед пестрой книжной полкой
Все качаешься и смотришь:
Чью бы тень из склепа вызвать
В этот поздний, мутный час?
Гейне — Герцена — Шекспира?
Но они уж все сказали
И ни слова, ни полслова
Не ответят мне сейчас.
Что ж в чужой тоске купаться?
И своя дошла до горла...
Лучше взять кота под мышку
И по комнате шагать.
Счастлив ты, ворчун бездумный,
Мир твой крохотный уютен:
Ночью — джунгли коридора,
Днем — пушистая кровать.
Никогда у лукоморья
Не кружись, толстяк, вокруг дуба,—
Эти сказки и баллады
До добра не доведут...
Вдруг очнешься: глушь и холод,
Цепь на шее все короче,
И вокруг кольцом собаки...

Чуть споткнешься – и капут.

1931

У окна

Грохочет мартовский ветер.
И солнце – бронзовый шар –
Зажгло в облезлых платанах
Холодный бенгальский пожар.

А мимо окна несется
Поток фигурок смешных:
Собачки в пестрых попонках
И люди в кашне шерстяных.

Душевным насморком болен,
Смотрю на четыре стены,
Но моль над чернильницей вьется
В предчувствии синей весны...

И даже паук проснулся –
Качает липкую нить...
А мне вот одно осталось:
Пить чай и жадно курить.

Под дверью письмо зашуршало –
Друг шлет средиземный привет.
«На юге по всем долинам
Миндальный раскрылся цвет...»

Миндальный? Пускай миндальный.
Дойдет и до нас черед...
Уже во всех прейскурантах
Черешня в Париже цветет.

Опять облака над бульваром
Всплывут, как стаи медуз...
И с полки снимаю я глобус,
Земной разноцветный арбуз.

И вот исчезают обои,
Белеет маяк над скалой,
Шипят веселые волны,
И палуба дышит смолой...

Ну что ж... Апрель у порога,
А пристань у нас на углу:
За франк с полтиной по Сене
Проедусь с собакой в Сен-Клу.

1931

Мимоза

Вон склонился над хужиной мшистой
Узловатый и теплый ствол.
Ветром свеянный пух душистый
Желтым снегом усеял стол...
 Сквозь узорчато-сизые ленты
 Голубеет туманный дол.

Ты, мимоза, сквозная келья,
Придорожный кудрявый шатер!
Канареечный цвет, как зелье,
Укачал, затуманил взор...
 В снежных стружках зыблется море,
 Над песками – взлохмаченный бор.

Прислонюсь к стволу у изгиба...
Горький ладан свеж и тягуч.
На руке, как ленивая рыба,

Сонно блещет пробившийся луч.
Леденцом извилистым льется
Вдоль канавки игрушечный ключ.

Может быть, я домой вернулся?
Прокружил всю жизнь, как шальной,
И под старой мимозой очнулся...
Вон и тачка, и пенёк за сосной.
Разве в детстве – во сне, наяву ли
Со щенком не лежал я здесь в зной?

Чу... Сорока крылом замахала,
С виноградной летит полосы
И стрекочет: «Узнала! Узнала!
Вон следы вдоль песчаной косы...
Только куртка на нем другая
И совсем побелели усы...»

Дымно-желтые ленты бесшумно
Нависают, дрожат и кадят.
Если руки сложить бездумно
И смотреть на далекий скат:
Все мое – и холмы, и дорога,
И скамья, и стол, и закат...

<1931>

Семь чудес

Об этом не пишут в передовицах
И лекций об этом никто не читает,—
Как липы трепещут на солнечных спицах,
Как вдумчивый дрозд по поляне шагает...
А может быть, это всего важнее:
И липы, и дрозд, и жук на ладони,
И пес, летящий козлом вдоль аллеи,

И я – в подтяжках на липовом фоне.

С почтительной скорбью глаза закрываю
И вновь обращаюсь к Господу Богу:
Зачем ты к такому простому раю
Закрыл для нас навсегда дорогу?
Зачем не могу я качаться на ветке,
Питаюсь листьями, светом, росой,
И должен, потея в квартирной клетке,
Насущный хлеб жевать с колбасою?

Какое мне дело до предка Адама,
И что мне до Евы с ее поведением?
Их детский грех, их нелепая драма
Какое имеют ко мне отношенье?
И вот однако лишь раз в неделю
Могу удирать я в медонскую чашу...
Шесть дней, как Каин, брожу вдоль панели,
Томлюсь и на стены глаза тарашу.

Зато сегодня десница Господня
Наполнила день мой светом и миром,–
Семь светлых чудес я видел сегодня,
И первое чудо – встреча с банкиром:
На тихой опушке, согнувши ляжки,
Пыхтел он, склонясь у своей машины,
И кротко срывал охапки ромашки,
Растущей кольцом у передней шины.

Второе чудо было послаще...
Кусты бузины зашипели налево
И вдруг из дремучей таинственной чащи
Ко мне подошла трехлетняя дева:
Шнурок у нее развязался на ножке,–
А мать уснула вдали на поляне.
Я так был тронут доверием крошки,
Что справился с ножкой не хуже няни...

Я третьего чуда не понял сначала...
О, запах знакомый – шербет и малага!
Раскинув кудрявым дождем опахала,
Акация буйно цвела у оврага.
И вот в душе распахнулась завеса:
Над морем город встал облаком тонким,
И вдруг я вспомнил, Одесса, Одесса,
Как эту акацию ел я ребенком.

Четвертое чудо меня умилило...
Под липой читал эмигрант «Возрожденье»,
А рядом сосед, бородатый верзила,
Уставил в «Последние новости» зренья.
Потом они мирно сложили газеты
И чокнулись дружно пунцовой вишневкой,
И ели, как добрые братья, котлеты,
И липа качала над ними головкой.

А пятое чудо, как факел из мрака,
Склонилось в лесу к моему изголовью:
Ко мне подбежала чужая собака
И долго меня изучала с любовью,—
Меня, – не мои бутерброды, конечно...
И вдруг меня в нос бескорыстно лизнула
И скрылась, тряхнувши ушами беспечно,
Как райская гостья, как пуля из дула...

Но чудо шестое – иного порядка,—
Не верил глазам я своим... Неужели?!
Под старой жестяной лежали перчатки,—
Я здесь их посеял на прошлой неделе...
Перчатки! Прильнув к травянистому ложу,
Букашек и мусор с них счистил я палкой
И долго разплаживал смятую кожу,
Которая пахла гнилою русалкой.

Последнее чудо мелькнуло сквозь ветки
И, фыркая, стало, как лист, предо мною:
Знакомый наборщик на мотоциклетке
Пристроил меня за своею спиною...
И мчался в Париж я, счастливый и сонный,
Закатное солнце сверкало мечами,
И бешеный ветер, дурак беспардонный,
Мой шарф, словно крылья, трепал за плечами.

<1931>

Гёте

Вновь раскрыл я старую книгу,—
В золотом переплете, с чугунным именем «Гёте».
Величавый, оперный мир...
Декорации пышны и пряны,
Фанфары доходят до солнца.
На испытанно-крепком орлином крыле
Так любо, плавно качаясь,
Смотреть задумчиво вниз —
На зеленую пеструю землю...
Звонят застольные песни
(Теперь их, увы, не поют),
Медные, гибкие строфы «Коринфской невесты»,
Как встарь, волнуют глаза,
Эпиграммы крутые
Золотыми двестишьями льются...
Путники, юные бурши
(Вечнонемецкая тема),
Песню родные леса оглашают,—
Ели тогда ведь не пахли бензином.
Монолог Прометея
Все так же наивно и гордо звучит
И предвыспренним пафосом блещет...
Фиалки-глаза

Добродетельных, плотных немецких красавиц
Сияют лазурно-мещанским уютом
(Вздохните! Вздохните!),
Итальянские дали
Классическим солнцем согреты,
И бюргерский эпос,—
Гекзаметры «Германа и Доротеи»
Торжественной фугой плывут...

* * *

Я вспомнил Веймар,
Белый дом в андерсеновском царстве
Распахнутой дверью зиял.
Толпа густою икрою текла и текла.
Как в паноптикум, в гётевский дом
Праздные люди стекались,—
Посмотреть на конторку великого Гёте,
На гусиные перья великого Гёте
(Машинки ведь пишущей встарь не водилось),
На смертное ложе великого Гёте,
На халаты его и жилеты...

* * *

От прохожих при жизни не раз
Он, Прометей прирученный,
Действительный, тайный орел,
В курятнике мирном живущий,—
В парк убегал,
В домишко, укрытый плющом,
Где вокруг тишина
В орешнике темном вздыхала,

Где строфы влетали в окно
Под сонное пение пчел...
Но, увы, после смерти –
И в парк ворвалась толпа:
И каждый безглазый прохожий
(Далекий лире, как крот!)
Столик пощупать хотел,
За которым Гёте работал...

* * *

Под липой сидел я вдали
И думал, как к брату,
К столу прислонившись:
Зачем мне вещи его?
Как щедрое солнце,
Иное богатство, мне, скифу чужому,
Он в царстве своем показал.
И, помню, чело обнаживши,
Я памяти мастера старого
Тихо промолвил: «Спасибо».

<1932>

Меланхолическое

Для души купил я нынче
На базаре сноп сирени, –
Потому что под сиренью
В гимназические годы
Двум житомирским Цирцеям,
Каждой порознь, в вечер майский
С исключительною силой
Объяснялся я в любви...

С той поры полынный запах
Нежных гвоздиков лиловых
Каждый год меня волнует,
Хоть пора б остепениться,
Хоть пора б понять, ей-богу,
Что давно уж между нами –
Тем житомирским балбесом
И солидным господином,
Нагрузившимся сиренью, –
Сходства нет ни на сантим...

Для души купил сирени,
А для тела – черной редьки.
В гимназические годы
Этот плод благословенный,
Эту царственную овощь,
Запивали мы в беседке
(Я и два семинариста)
Доброй старкой – польской водкой –
Янтареющим на солнце
Горлодером огневым...
Ничего не пью давно я.
На камин под сноп сирени
Положил, вздохнув, я редьку –
Символ юности дурацкой,
Пролетевшей кувырком...
Живы ль нынче те Цирцеи?
Может быть, сегодня утром
У прилавка на базаре,
Покупая сноп сирени,
Наступал я им на туфли,
Но в изгнанье эмигрантском
Мы друг друга не узнали?..
Потому что только старка
С каждым годом все душистей,
Все забористей и крепче, –
А Цирцеи и поэты...

Вы видали куст сирени
В средних числах ноября?

<1932>

Русские миражи*

Эмигрантские сны

I

Иван Ильич храпит в постели.
В окне – парижская луна.
Мотор промчался вдоль панели,
Завыл – и снова тишина.
Над одеялом виснет кротко
Рука Ивана Ильича,
А лунный луч у подбородка,
Дрожа, кропит овал плеча.
Пусть тело умерло в Париже, –
Душа, как гимназист зимой,
Надела легонькие лыжи
И мчится в прошлое – домой!
Ни виз не надо ей, ни франков,
Ни эмигрантских директив...
Мелькают кровли полустанков
Да синий полог спящих нив.

II

Кружит снежок над дымным Невским.
В трамвайных стеклах – пятна лиц.
Сосед, склонясь над Достоевским,
Разрезал лапой грань страниц.
Несутся кони и попоны,
На жарких мордах – белый мох,
Тюлень-кондуктор полусонный

Засеребрился, как Енох.
Иван Ильич, в тоске сердечной,
Спросил: «Который нынче год?»
«Чего-с?! Шестнадцатый, конечно...» –
Загрохотал кругом народ.
Скорей с площадки! Вот раззява:
Слетел на даму, словно тюк,
И побежал купить направо
В Гвардейском обществе сундук.

III

Провал – и Псков. Весна в разгаре.
Перед Управою – базар.
Иван Ильич в триковой паре
Зашел к приятелю в амбар.
«Ну, как дела?» Хрустя перстами,
Купец зевнул: «Снежок окреп...»
Иван Ильич всплеснул руками:
«Какой снежок?! Да ты ослеп?
Еще не поздно... Брось забаву,
Продай амбар, и сад, и дом,
Отправь жену с детьми в Либаву,
А сам за ними – хоть пешком!» –
«Эй, малый! – закричал приятель.–
Подай мне квасу. Вот так дичь...
Не в меру пьешь, спаси, Создатель!
Поберегись, Иван Ильич».

IV

Иван Ильич сидит на парте –
Как шар обрита голова –

И зубрит в яростном азарте
Французско-русские слова.
На кафедре француз скрежещет,
А сбоку мямлит Митрофан.
Класс свищет, воеет, лает, плещет,
Француз вопит: «Silence!^[12] Больван!»
Сосед по парте, скорчив рыло,
Толкнул Ивана Ильича:
«Эй, ты, голландская зубрила,
Дай хоть кусочек калача...»
Иван Ильич озлился: «Борька!
Ты идиот... Настанет день,—
Когда-нибудь вздохнешь ты горько,
Что на французском спал, как пень...»

V

Рассветный ветер дунул в щели.
В окне сиреневая муть.
Труп шевельнулся на постели,
Открыл глаза, расправил грудь.
В углу газетный лист вчерашний:
Словесный бокс, идейный шиш...
Кусочек Эйфелевой башни
Торчит над гранью серых крыш.
Иван Ильич встает, вздыхает,
Свирепо чистит башмаки.
Под глазом заревом пылает
Румянец заспанной щеки.
Протер пенсне обрывком лайки,
Слез на паркет в одном носке
И контрабандой от хозяйки
Зажег спиртовку в уголке.

Сатирикон

Над Фонтанкой сизо-серой
В старом добром Петербурге
В низких комнатах уютных
Расцветал «Сатирикон».
За окном пестрели барки
С белоствольными дровами,
А напротив двор Апраксин
Впился охрой в небосклон.

В низких комнатках уютных
Было шумно и привольно...
Сумасбродные рисунки
Разлеглись по всем столам.
На окне сидел художник
И, закинув кверху гриву,
Дул калинкинское пиво
Со слюною пополам.

На диване два поэта,
Как беспечные кентавры,
Хохотали до упаду
Над какой-то ерундой...
Почтальон стоял у стойки
И посматривал тревожно
На огромные плакаты
С толстым дьяволом-балдой.

Тихий вежливый издатель,
Деликатного сложенья,
Пробегал из кабинета,
Как взволнованная мышь.
Кто-то в ванной лаял басом,
Кто-то резвыми ногами

За издателем помчался,
Чтоб сорвать с него бакшиш...

А в сторонке, в кабинете,
Грузный, медленный Аркадий,
Наклонясь над грудой писем,
Почту свежую вскрывал:
Сотни диких графоманов
Изо всех уездных щелей
Насылали горы хлама,
Что ни день – бумажный вал.

Ну и чушь... В зрачках хохлацких
Искры хитрые дрожали:
В первом «Ящике почтовом»
Вздернем на кол – и прощай.
Четким почерком кудрявым
Плел он вязь, глаза прищурив,
И, свирепо чертыхаясь,
Пил и пил холодный чай.

Ровно в полдень встанет. Баста!
Сатирическая банда,
Гулко топая ногами,
Вдоль Фонтанки цугом шла
К Чернышову переулку...
Там, в гостинице «Московской»,
Можно досталь съесть и выпить,
Поорать вокруг стола.

Хвост прохожих возле сквера
Оборачивался в страхе,
Дети, бросив свой песочек,
Мчались к нянькам поскорей:
Кто такие? Что за хохот?
Что за странные манеры?
Мексиканские ковбои?

Укротители зверей?..

А под аркой министерства
Околоточный знакомый,
Добродушно ухмыляясь,
Рявкал басом, как медведь:
«Как, Аркадий Тимофеич,
Драгоценное здоровье?» –
«Ничего, живем – не тужим.
До ста лет решил скрипеть!»

До ста лет, чудак, не дожил...
Разве мог он знать и чаять,
Что за молодостью дерзкой
Грянет темная гроза –
Годы красного разгула,
Годы горького скитанья,
Засыпающего пеплом
Все веселые глаза...

<1925>

<1931>

Сочельник в Пскове (Мираж)

Сугробы в дымчатой чалме
Встают буграми в переулке –
И ветер, радостный и гулкий,
Взвевает хлопья в сизой тьме.
Дома молчат,
Сквозистый сад
Пушистым инеем окован...
Закат, румянцем зачарован,
Раскинул тихий водопад.
Хрустят шаги.

Вокруг ни зги.
Снежинки вьются с ветром в лад.

Баржи на скованной Пскове
В лед вмерзли неподвижной грудью.
Шагай и радуйся безлюдью,
Тони в морозной синеве!
 Гостиный двор
 Рядами нор
Зияет холодно и четко.
Сквозь снег лампада рдеет кротко.
Вверху – декабрьских звезд убор,–
 И белый пух
 Безмолвных мух
Вкось тихо вьется за забор.

А ветер, свежестью пьяня,
Над башлыком кружит, бездельник.
В окне сверкнул, дробясь, сочельник...
Здесь – в этом доме – ждут меня.
 Горит лицо...
 В снегу крыльцо.
Сквозь войлок – топот детских лапок.
В передней груда шуб и шапок,
А в зале в блестках – деревцо.
 Встряхнешь сюртук,
 Пожмешь сто рук –
И влезешь в шумное кольцо.

О белоснежный, круглый стол!
Узвар из терпких груш так лаком...
Кутьи медовой зерна с маком,
Висячей лампы частокол...
 Куда-то в бок
 Под потолок
Струится пар из самовара.
В углу гудит-бубнит гитара,

Краснеет докторский висок,—
И томный бас
Пленяет нас
Под самоварный говорок...

Но в зале плавною волной
Вальс из-под клавиш заструился.
Цуг пар вокруг елки закружился...
В окне – лес перьев ледяной...
Сквозь блеск свечей,
Сквозь плеск речей
Следишь, как вихрь гудит на крыше,
И в сердце вальс звенит все тише,
И кровь стучит все горячей...
А за стеной,
Как дождь весной,
Ребячий говор все звончей.

Там в детской шумный, вольный пир.
Как хорошо у тети Вали!
Старушка-няня в пестрой шали
Ей-ей не страшный командир...
Пьют чай, пиццат,
А в пальцах – клад –
Игрушек елочных охапка.
Стреляет печка – ей не зябко!
Кадет, пыхтя, сосед оршад.
Домашний кот,
По кличке Жмот,
Сел у огня и греет зад...

За елкой – темный уголок...
Трещат светильни, пахнет хвоей.
Телеграфиста с пухлой Зоей
Сюда толкнул лукавый рок.
Сейчас, сейчас
Сей лоботряс,

Хватив для храбрости мадерцы,
К ее туфлям положит сердце,–
Уж трижды крякнул хриплый бас...

Дрожит слегка

Ее рука...

Я не завистник. В добрый час!

Но поздно... В милой толкотне
В передней возишься с калошей.
Двор спит. Склонясь под снежной ношей,
Березка никнет в тишине.

Разрыв постель,

Шипит метель...

Молчат пушистые часовни,
Визжат раскатистые дровни.
В безлюдном сквере стынет ель.

Скрипят шаги.

Вокруг – ни зги.

Снежок заводит карусель...

1925, декабрь

Париж

Пасха в Гатчине

А. И. Куприну

Из мглы всплывает ярко
Далекая весна:
Тишь гатчинского парка
И домик Куприна.
Пасхальная неделя,
Беспечных дней кольцо,
Зеленый пух апреля,
Скрипучее крыльцо...
Нас встретил дом уютом

Веселых голосов
И пушечным салютом
Двух сенбернарских псов.
Хозяин в тюбетейке,
Приземистый, как дуб,
Подводит нас к индейке,
Склонивши набок чуб...
Он сам похож на гостя
В своем жилье простом...
Какой-то дядя Костя
Бьет в клавиши перстом.
Поют нескладным хором, –
О ты, родной козел!
Весенним разговором
Жужжит просторный стол.
На гиацинтах алых
Морозно-хрупкий мат.
В узорчатых бокалах
Оранжевый мускат.
Ковер узором блеклым
Покрыл бугром тахту,
В окне, – прильни-ка к стеклам, –
Черемуха в цвету!

* * *

Вдруг пыль из подворотни...
Скрип петель в тишине, –
Казак уральской сотни
Въезжает на коне.
Ни на кого не глядя,
У темного ствола
Огромный черный дядя
Слетел пером с седла.
Хозяин дробным шагом

С крыльца, пыхтя, спешит.
Порывистым зигзагом
Взметнулась чернь копыт...
Сухой и горбоносый
Хорош казацкий конь!
Зрачки чуть-чуть раскосы,—
Не подходи! Не тронь!
Чужак погладил темя,
Пощекотал чело
И вдруг, привстав на стремя,
Упруго влип в седло...
Всем телом навалился,
Поводья в горсть собрал,—
Конь буйным чертом взвился,
Да, видно, опоздал!
Не рысь, — а сарабанда...
А гости из окна
Хвалили дружной бандой
Посадку Куприна...

* * *

Вспотел и конь, и всадник.
Мы сели вновь за стол...
Маханище-урядник
С хозяином вошел.
Копна прической львиной
И бородища-вал.
Перекрестился чинно,
Хозяйке руку дал...
Средь нас он был, как дома,—
Спокоен, прост и мил.
Стакан огромный рома
Степенно осушил.
Срок вышел. Дома краше...

Через четыре дня
Он уезжал к папаше
И продавал коня.
«Цена... ужо успеем».
Погладил свой лампас,
А чуб цыганским змеем
Чернел до самых глаз.
Два сенбернарских чада
У шашки встали в ряд:
Как будто к ним из сада
Пришел их старший брат...
Хозяин, глянув зорко,
Поглаживал кадык.
Вдали из-за пригорка
Вдруг пискнул паровик.
Мы пели... Что? Не помню.
Но так рычит утес,
Когда в каменоломню
Сорвется под откос...

*1926, март
Париж*

«Мул за стеной соломою шуршит...»

Мул за стеной соломою шуршит.
В дверях сарая звездный полог зыбкий.
Над темным склоном серебрикий щит,
Кузнечики настраивают скрипки.
Нет, не уснуть! Охапка камыша
Спине натруженной сегодня не отрада:
На лунный зов откликнулась душа,
Встает бывшее – горькая услада.
Луна над Петербургской стороной,
Средь мостовой мерцают рельсы конки,
Крыльцо на столбиках повито тишиной,

Над флигелем темнеет желоб тонкий.
Так любо встать, слегка толкнуть окно
И спрыгнуть в садик на сырую грядку,
Толкнуться к дворнику, – старик храпит давно,–
Чтоб выпустил за гривенную взятку...
Крестовский мост... Звенит условный свист.
У черных свай, где рябь дрожит неверно,
На лодке ждет приятель-реалист.
Скрипят уключины, и весла плещут мерно.
В опаловой, молочно-сизой мгле
Плывут к Елагину в молчанье белой ночи.
Деревья-призраки толпятся по земле,
Вдали над Стрелкою зарницы все короче...
А утром, щуря сонные глаза,
Пьет кротко чай. В окно плывет прохлада.
Мать спрашивает: «Спал ли, егоза?»
О прошлое! Бессмертная баллада...

.....

Потом война. В июльский день закат
Над крышей белой дачи рдел сурово.
Пришел с газетою покойный старший брат,
Встал у стола... Не мог сказать ни слова.
Вся юность там – в окопах и в полях.
Варшава, Ломжа... Грохот отступленья.
Усталость, раны... Темный бунт папах.
Развал в столице... Подлость и смятенье.
И снова годы, мутные, как дым...
Один из тысячи – в огне гражданской свалки,
Прошел Кубань, и Перекоп, и Крым...
За палубою скрылся берег валкий.
Как давний сон, и мать, и брат, и дом.
Он сжился. Терпит. Так судьбе угодно.
В чужой земле он отдает в наем
Лишь пару рук, – душа его свободна...

Черника

Над болотцем проносится вздох,—
Это ахнула сонная жаба.
Изумрудный в звездочках мох.
На полянке – с лукошком баба.

Проглядела – не видит – прошла:
Россыпь рыжиков дремлет под елкой.
Под стволом паутиная мгла
И шатер островерхий и колкий.

Стебельки пронизали весь мох.
Средь малиновых капель гвоздики,
В светлых листьях, как сизый горох,
Чуть колышутся гроздья черники.

Не вставай, не сгибайся... Лежи:
За охапкой притянешь охапку...
Возле вала, у старой межи,
Наберешь ты полную шапку.

И на дачу лениво придешь.
Молоко на коленях в тарелке.
Льются ягоды... Легкая дрожь.
Пересыпешь их сахаром мелким.

Холодок на зубах и в душе,—
Сладкий запах лесного затишья.
За калиткой, в густом камыше,
Шелестящая жалоба мышья.

Ложка в сонной ладони замрет.
За стволами – крестьянские срубы...
И бесцельно на ласточкин лет
Улыбаются синие губы.

<1929>

Русские миражи

Стадо

Вся улочка в пыли
Лилово-золотистой.
Косяк овец вдали
Плывет гурьбой волнистой.
Их бляенье, как плач,
Сквозь гул дробится сипло.
Барбос пронесся вскачь,
Взволнованный и хриплый.
За ребрами дворов
Галдят грачи над яром,
У медленных коров
Набухло вымя шаром,—
Шарахаются вкось,
Взлезают друг на друга.
Раскинув локти врозь,
Мальчишка скачет с луга...
А у ворот стоят
Молодки, девки, бабки,—
Зовут своих телят,
Ягнят несут в охапке...
Как гулкая вода,
Несется: «тпруси, тпруси!»
Идут домой с пруда
Вальяжным шагом гуси.
Закатный светлый дым
Весь алым шелком вышит,
И молоком парным
Дремотный вечер дышит.

На крыльце

В колодец гулко шлепнулась бадья,
Склонилась баба, лихо вздернув пятку,
Над дубом стынет лунная ладья,
Тускнея радужно сквозь облачную грядку.
Туманным пологом окутаны поля,
Блеснул костер косым огнем у рощи.
За срубом зашипела конопля, –
Нет в мире песни ласковой и проще...
Лень-матушка, а не пора ль соснуть?
Солома хрустнет под тугой холстиной,
В оконце хлынет сонный Млечный Путь.
У изголовья – чай с лесной малиной...
Но не уйти: с лугов – медвяный дух,
И ленты ивы над крыльцом нависли.
А там в избе, – стокрылый рокот мух,
И духота, и городские мысли...
Нахмуренный, в рубахе пузырем,
Прошел кузнец, как домовой лохматый,
И из больницы в ботах, с фонарем
Старушка-докторша бредет тропой покатою.
Я гостье рад... В пустыне средь села
Так крепким дорожишь рукопожатьем...
Ты, горечь старая, тяжелая смола,
Каким тебя заговорить заклятьем?

1930

Кукуруза

Сердце к пище равнодушно:
Тощий суп или котлеты,
Или просто булка с сыром
И десяток вялых фиг, –

Ешь и смотришь, как за склоном
По лазури средиземной
Проплывает в искрах солнца
Белоснежный, сонный бриг...

Но порой котлеты с супом
До того осточертеют,
Что душа моя выходит
Из привычных берегов –

И тогда опять невольно
К детским тянешься истокам –
К бессарабской кукурузе,
Пище лакомок-богов...

О кочан, весь в сочных зернах,
Маслом политый топленным,
И горячий, как испанка,
Разомлевшая во сне!

Перемажешь нос и руки,
Скатерть, уши и салфетку,–
Даже крошки не оставишь
На янтарном кочане.

Рядом с этим райским блюдом
(Даже в сердце засосало
При одном воспоминанье) –
Вспомнишь с нежностью не раз:

Кабачки с мясной начинкой,
Желтый перец в маринаде
И икру из баклажанов...
Слезы брызнули из глаз!

Но, к несчастью, здесь в Провансе

Старой, жесткой кукурузой,
А другой здесь не увидишь,
Кормят только жадных кур...

Не плотать же эти камни
Огорченному поэту,—
Потому что, потому что
Это было б чересчур...

Сердце к пище равнодушно,—
Но хранят страницы детства
Вместе с милой кучей вздора
Ощущение одно:

Запах нежной кукурузы,
Лоск растопленного масла,
И облизанные пальцы,
И разбухшее зерно...

<1931>

На трубе

Гимназистик на Трубе
Жадно выпучил гляделки:
Все бы он унес к себе —
От малиновки до белки!

Целый день бы он кормил
Птиц за флигелем в беседке.
Дворник, старенький Памфил,
Перекрасил бы все клетки...

Ах, румяный мой чудак,—
Ты напрасно глазки лупишь:
В кошельке твоём пятак,

Воробья и то не купишь!

<1931>

Утешение*

К пуделю

Черный пудель, честная собака!
Незнаком тебе ни Кант, ни Лев Толстой,
И твое сознание полно мрака:
Кто учил тебя быть доброй и простой?
Любишь солнце, человека, игры,
К детворе во всю несешься прыть...
Если люди стали все, как тигры,
Хоть собаке надо доброй быть.
Ведь никто не драл тебя дубиной
И брошюр партийных не давал,—
Но, спеша вдоль стен домой с корзиной,
Не сбежишь ты с хлебом, как шакал.
И когда на шум собачьей драки
Сквозь забор ты мчишься через жердь,
Не грызешь ты сбитой с ног собаки,
Не визжишь, как бешеная: «Смерть».
Ты чутка, полна ума и чести,
Не протянешь лапы наглещу,
И значок собачий твой из жести
Многим людям более к лицу...
«Человек — звучит чертовски гордо» —
Это Горький нам открыл, Максим.
Ты не веришь? Ты мотаешь мордой?
Ты смеешься, кажется, над ним?

<1920>

Маленькому другу

Пришел к своей принцессе,—
Ей только пятый год.
Дитя! Христос Воскресе!
Давай румяный рот...
Твое дыханье слаще
Изюма в куличе,
Твой бант, как ландыш в чаше,
Смеется на плече...
Хрустальное яичко
Принес тебе я в дар.
Ты ласковая птичка,
А я морской омар...
Смотри, миндаль на ветке
Кораллами расцвел,
И воробьи в беседке
Клюют дырявый пол.
Твои слова смешные
На русском языке,
Как ласточки родные
Над кровлей вдалеке.
Пойдем к фонтану в скверик:
За старую скамьей
Вода полощет берег
Дремотною змеей.
Умоем мяч в фонтане,
В сиреневой воде!
Такой хорошей няни
Ты не найдешь нигде...
Из кукольной корзинки
Достану наш багаж,
С поклоном все тартинки
Подам тебе, как паж.
А туфельки тугие
Пусть сохнут на сосне...
Когда-нибудь в России
Ты вспомнишь обо мне.

<1925>

В поезде

За окном под небом летним
Промелькнул лесок и кони.
Я с мальчишкой пятилетним
Познакомился в вагоне.

Места было очень мало...
Улыбнулись мы друг другу,
А потом я для начала
Оказал ему услугу:

Молча взял его в охапку,
Вскинул вверх – и на колено.
Положив на грудь мне лапку,
Он к окну прильнул блаженно.

«Это что?» – «Дубок и ивы».
«Для чего?» – «Шумят и дышат».
«Ну, а это?» – «Это нивы
Стебли зыбкие колышат».

«Ай! А это что?» – «Коровы».
«Для чего?» – «Чтоб утром рано
Мальчик, день встречая новый,
Выпил сливок из стакана».

Сто вопросов – сто ответов...
Гулко щелкали колеса.
Из-за облачных просветов
Солнце вдруг сверкнуло косо.

Мальчик смолк. В глазах томился
Сонный-сонный-сонный кролик,
И вишневый рот раскрылся,

Словно пухлый влажный нолик.

<1926>

Консьержкина дочка

Ее называют – Жильбертой.
Ей пять с половиной лет.
Передник – вроде конверта,
На лапке – бобровый браслет.

Косые, серьезные глазки.
Улыбка сквозь зубки – чуть-чуть.
Потупясь, подтянет подвязки,
Потом покосится на грудь...

Ей в школе медаль прикололи,
А это немалый успех:
Весь мир узнает, что в школе
Она прилежнее всех!

Сегодня Жильберта во дворик
С собой притащила щенка:
На белой спинке узорик –
Три темных неровных клочка.

Щенок породы незнатной, –
Хвост кверху, прищуренный глаз...
Но милый и очень опрятный,
Уж это узнаешь сейчас.

«Как имя твоей собачки?»
Жильберта сказала: «Лизетт».
Лизетт – годится для прачки,
А впрочем, мне дела ведь нет.

Жильберта склонила коленки
И стала щенка учить:
«Ты должен с карниза у стенки
Кусочек бисквита схватить...

Ты слышишь? Кому я сказала?»
Щенок, симпатичный бандит,
Немного подумал сначала,
Подпрыгнул и слопал бисквит.

Но жалко ей стало бисквита...
Ногой оттолкнувши вазон
И шлепнув собаку сердито,
Жильберта сказала: «Кошон!»^[13]

А я из окна наклонился,
Мне стало ужасно смешно...
«Чем, друг мой, щенок провинился?
Ведь зря сердиться грешно...»

Жильберта в ответ мне ни слова.
Щенка закутала в шаль
И к двери пошла сурово,
Поправивши гордо медаль.

1927
Париж

Мой роман

Кто любит прачку, кто любит маркизу,
У каждого свой дурман,—
А я люблю консьержкину Лизу,
У нас – осенний роман.

Пусть Лиза в квартале слывет недотрогой,—

Смешна любовь напоказ!
Но все ж тайком от матери строгой
Она прибегает не раз.

Свою мандолу снимаю со стенки,
Кручу заливчатски ус...
Я отдал ей все: портрет Короленки
И нитку зеленых бус.

Тихонько-тихонько, прижавшись друг к другу,
Грызём соленый миндаль.
Нам ветер играет ноябрьскую фугу,
Нас греет русская шаль.

А Лизин кот, прокравшись за нею,
Обходит и нюхает пол.
И вдруг, насмешливо выгнувши шею,
Садится пред нами на стол.

Каминный кактус к нам тянет колючки,
И чайник ворчит, как шмель...
У Лизы чудесные теплые ручки
И в каждом глазу – газель.

Для нас уже нет двадцатого века,
И прошлого нам не жаль:
Мы два Робинзона, мы два человека,
Грызущие тихо миндаль.

Но вот в передней скрипят половицы,
Раскрылась створка дверей...
И Лиза уходит, потупив ресницы,
За матерью строгой своей.

На старом столе перевернуты книги,
Платочек лежит на полу.
На шляпе валяются липкие фиги,

И стол опрокинут в углу.

Для ясности, после ее ухода,
Я все-таки должен сказать,
Что Лизе – три с половиной года...
Зачем нам правду скрывать?

1927

Париж

Щенок

В углу сидит в корзинке фокс –
Пятинедельный гномик.
На лбу пятно блестит, как кокс.
Корзинка – теплый домик.
С любой туплей вступает в бокс
Отважный этот комик.

В корзинку маленький апаш
Зарыл свои игрушки:
Каблук, чернильный карандаш,
Кусок сухой ватрушки,
И, свесив лапки за шалаш,
Сидит, развесив ушки.

Понять не может он никак, –
Притих и кротко дышит:
Там у окна сидит чужак
И третий час все пишет.
Старался фокс и так и сяк,
Но человек не слышит...

Рычал, визжал, плясал у ног
И теребил за брюки,
Унес перчатку за порог

И даже выл от скуки,
Но человек молчит, как дог,
К столу приклеив руки.

Как глупо палочкой водить
По беленькой тетрадке!
Во всю помчался лучше б прыть
До кухонной площадки...
Над печкой солнечная нить,
Полы вокруг так гладки...

Блестит солидный, темный шкаф.
Сиди и жди. Ни звука.
На печке бронзовый жираф –
Таинственная штука.
Фокс взвизгнул с болью в сердце: «Тяф!»
Молчать – такая мука...

И вдруг серьезный господин
Вскочил, как на резинке,
Швырнул тетрадку на камин
И подошел к корзинке...
И фокс, куда девался сплин,
Вмиг оседлал ботинки...

Как дети оба на ковре,
За лапы рвут друг дружку.
Фокс лезет в яростной игре
На самую макушку...
На лай, как эхо, во дворе
Дог гулко рявкнул в пушку.

Лучи сползаются в пучки.
Стрекочет сердце глухо...
Щенок устал. Закрыв зрачки,
Лизнул партнера в ухо...
Застыли строгие очки,

Трамвай жужжит, как муха.

Щенок в корзинке так похож
На карлика-лошадку...
По тельцу пробегает дрожь,
Врозь лапки, нос – в лопатку...
А человек вздохнул: «Ну что ж...»
И снова за тетрадку.

<1928>

Прогулки по Парижу

Пятилетняя девчонка
В рыжем клетчатом пальто
Посреди пустой панели
Едет в крошечном авто.

Нос и руль сияют лаком,
Щеки – розовый коралл,
А в глазах мелькает гордость
И восторженный опал.

Только женщины умеют
Так божественно сиять!
В небе почки зеленеют.
Псам и детям – благодать.

Вдруг навстречу валким шагом
Надвигается ажан:
Он, как морж, усат и плотен,
Он, как девочка, румян.

С высоты своей гигантской,
Закрутивши ус в кольцо,
Он взглянул на пухлый носик,

На смешное пальтецо...

Поднял руку, сдвинул брови
И застыл в своем манто.
Разве можно по панели
Путешествовать в авто?!

И она остановилась...
На щеках пунцовый цвет:
Рассмеяться иль заплакать?
Пошутил он или нет?

Добродушный полицейский
Не хотел ее томить.
Улыбнулись... оба сразу,
Оборвав тугую нить.

Он дорогу уступил ей,
Приложив к виску ладонь,—
И заискрился в колесах
Легкий мартовский огонь.

<1928>

Мать
(ко дню «Голодной пятницы»)

В тесной каморке – беженский дом.
Мать вышивает киевским швом.
Плавно, без усталости ходит рука.
Мальчик у ног разбирает шелка.

В кольца завьет их, сложит в пучки,
Справа и слева стены тонки,—
Громко играть на чужбине нельзя...
Падают нитки, беззвучно скользят.

«Кис! – говорит он, – Послушай же, Кис!
Ты как из сказки прилежная мисс:
Помнишь для братьев в пещере, без сна,
Платье плела из крапивы она».

Мать улыбается. Мальчик вздохнул...
«Кис, – говорит он, взбираясь на стул, –
Летом я к морю поеду опять?
Прыгать, смеяться, купаться, кричать...»

Светлое «да!» – вылетает из губ.
Теплые пальцы треплют за чуб.
Мальчик не видит, как милая «Кис»
Смотрит, смутясь, за оконный карниз.

Мальчик не знает, что много ночей
В сердце тревога все горячей:
Летнее солнце, здоровье, загар, –
Как раздобыть их мальчику в дар?

Дремлет мальчишка. Над ним в полусне
Летние дни закачались в окне:
Сосны, опушки, сотни затей,
Крики приятелей – русских детей...

Странная Кис... Почему-то она
Летом в Париже томиться должна.
Ей и в Париже – твердит – ничего.
Солнце и лес для него одного.

Разве нельзя вышивать под сосной?
Спать в гамаке под листвою сквозной?
Он бы ей крабов ловил на обед...
Сонные глазки нырнули под плед.

Мать вышивает киевским швом.

Город бездушный гудит под окном.
Пламень закатный небо рассек.

.....

Есть ли кто в поле жив человек?

<1928>

Беспечный день*

Море – камни – сосны – шишки...
Над водой крутой откос.
Две девчонки, два мальчишки,
Пятый – я, шестой – барбос.
У заросшего колодца,
Где желтел песчаный вал,
Я по праву полководца
Объявил войскам привал.
Пили воду. Много-много!
Капли вились мимо уст.
Через полчаса, ей-богу,
Стал колодец старый пуст.
Мы сварили суп в жестянке –
Из креветок и пшена.
Вкус – резиновой солянки...
Пес не ел, а мы – до дна.
Было жарко, душно, сухо.
Час валялись мы пластом.
А барбос, закинув ухо,
Грыз бутылку за кустом.
Мы от взрослых отдыхали, –
Каждый сам себе отец...
Хочешь – спи, задрав педали,
Хочешь – прыгай, как скворец.

Дымной лентой вьется копоть:
Пароход плывет в Марсель...

Хорошо по лужам шлепать
И взрывать ногами мель!
Крабы крохотные в страхе
Удирают под утес.
Младший мальчик без рубахи
В щель за крабом сунул нос.
Но девчонки, сдвинув шеи,
Верещат, как леший в рог:
«Са-ша Черный! По-ско-рее!
Под скалою ось-ми-ног...»
Боже мой, какая радость!
Прискакавши колесом,
Выдираем эту гадость
Вшестером (считая с псом)...
Брюхо – розовая мякоть,
Лапы – вроде бороды.
Вообще, не зверь, а слякоть,
Отчего ж мы так горды?
Мы несем его в жестянке
И решаем все у пня:
Пусть живет, как рыбка, в банке,
Под кроватью у меня...

Как рысак, барбос наш скачет,
Мы горды, – а он при чем?
Красный бок далекой дачи
Вспыхнул в соснах кирпичом.
Подбираем по дороге
Все, что выбросил прибой:
Руль с неведомой пироги,
Склянку с пробкой голубой...
Для чего? Не знаем сами.
Обошли знакомый грот.
Ветер влажными крылами
Подгоняет нас вперед.
Из-за мыса вышла лодка,
Вяло вздувши паруса.

Море ласково и кротко,
Словно сытая лиса.
За спиной трясется склянка.
У сарая сохнет сеть...
Осьминог уснул в жестянке:
Тише, дети. Не шуметь!..

1928

Дети
(из поэмы «Утешение»)

Какой улов принес домой ты нынче,
Угрюмый человек?
Служба – труд, – все это только лямка,
Старинный долг за детский грех Адама.
Но даже конь, когда его в обед
От упряжи тугой освободят,–
Играет, скалит зубы,
Грызет колоду, фыркает, резвясь,
И – вдруг – всей мощной тушей
На воздух вскинется свободно и легко...
Какой улов принес домой ты нынче,
Усталый человек?

* * *

Сегодня в час досуга
Вдоль Сены я бродил...
Как ни люблю природу –
Застенчиво и нежно,
Но в дни иные лучше
Смотреть угрюмо в землю,
Глаза не подымая.

Река и небо – хмуры и темны,
Тучи – лохмотья нищего,
Вода – магнит самоубийцы,
Наглый, мутный рев,
Взбесившееся Время,
Хаос клубящийся...
Не думай, не смотри.

* * *

Но у бревна играли дети с псом.
Тряпку грязную
Они ему бросали...
Как радостно кидался он за ней,
Хватал и прядал,
Гордо к ним летел,–
Не знамя ли победы
Сжимал он в пасти?
Как осторожно вновь
С мольбой немой во взоре
Тянул из милых лапок
Он эту тряпку...
И девочка залиvisto смеялась
И так сияла –
Огнями шалости, веселья и здоровья,
Что псу я позавидовал в тот миг.
А мальчик, хмуря бровки,
Сжимал собачью шею
И повторял то ласково, то грозно:
«Отдай!»
И умный пес ребенку покорился.
Потом мы тихо рядом
Сидели на бревне.
Все трое долго на меня косились:
«Что надо этому – большому? Он чужой...»

Зачем он к нам подсел?»
Но обошлось... Пес лапой вдруг заскреб
По моему плечу, и дети улыбнулись.

* * *

В этот день
Домой вернулся я богаче.

<1931>

Фокс

I

На пне в тени узорной
Я фоксика стригу,
А он стоит покорно,
Сгибается в дугу,—
То пятится по-рачьи,
То томно щурит глаз...
В цирюльники собачьи
Попал я первый раз.
Ты, фокс, оброс, как леший,—
Легко ль весь день в бору
Скакать в такой бекеше
В июльскую жару?
Стригу я как попало —
Зигзагом вверх и вниз:
Спина собачья стала
Как зубчатый карниз...
Шерсть вьется белым пухом,
Летит снежком в кусты.

Еще клочок над ухом
Для полной красоты...
Готово. Фоксу любо,
Чихнул: «Спасибо, друг!»
И рысью, мимо дуба,
Удрал к козе на луг.

II

Фокс приклеился носом к руке:
«Что читаешь весь день в гамаке?
Помоги мне... Опять эта гнусная вещь –
Клещ!»
Я поставил собаку на ларь,
Выдираю из уха проклятую тварь
И давлю на пороге – вот так:
Крак!

Фокс мой сморщил резиновый нос,–
Операцию он, как герой, перенес...
Но без слов
Понял кроткий упрек я собачьих зрачков:
«Ах, хозяин, ищи не ищи,–
Через час снова будут клещи...»

Я опять в гамаке.
Фокс сидит на моем каблуке,–
Вдруг нацелился, щелкнул зубами, и вот
Гордо лапы поставил ко мне на живот:
«Ты клеща откопал в моем ухе,–
Я тебя избавляю от мухи!..»

III

Чуть на закате взял мандолу –
Мой фокс завыл и скрылся в лес...
Не хочешь слушать баркаролу?
Ты не собака, ты балбес!

Немузыкальная скотина!
Моей божественной игре
Внимает солнце, лес, долина
И даже козы на горе...

Но мой сосед, мальчишка Савва,
Насмешник, плут и егоза,
Толкнув меня плечом лукаво,
Прищурил синие глаза.

«Ну как же ты не понимаешь, –
Твой фоксик выкинул дебош
Не потому, что ты играешь,
А потому, что ты поешь...»

<1932>

Парижские будни*

Хмель («Каштаны все сочнее...»)

Каштаны все сочнее разворачивают лапы.
Вдали все голубей сереющая мгла.
Стою столбом без шляпы
У людного угла.
А воробьи на зелени газона,
Дуря от весны, топорщатся-пищат.
Глотай волну озона
И думай с ветром в лад...
В кафе у стойки жадно смотришь в стекла,
Прильнув к прохладному пивному янтарю.
За стойкой нос, как пламенная свекла...
Благодарю!
Так хорошо с газетою под мышкой,
Качаясь на носках, старинный марш свистать,
Переплянуться с крохотным мальчишкой,
Язык ему лукаво показать...
Он поражен, он тянет мать за юбку:
Смотри!
А я, серьезно сжавши губы в трубку,
Считаю фонари.
От Триумфальной арки вдаль лучами
Струятся светлые аллеи и дома.
Плывут автомобили за плечами...
Какая стройная густая кутерьма!
Дыра metro. Газетчица в сторонке.
Ныряю в пестрый вал.
Какой-то хлыщ прилип губой к девчонке –
И засосал.
Афиши – лестницы – привратницы – афиши...
В коричневые клетки влез народ.
Вдали, как мак, плазок алеет в нише.

Вперед!
Горят огни, пылают краской губы,
Переливаются с улыбками глаза,
Вдоль стекол вьются провода и трубы.
Качаюсь, как лоза...
Солидный негр блестит в углу очками,
Уткнув в газету маслянистый нос.
Две девушки тихонько каблучками
Аккомпанируют мелодии колес.
Где выйти? Все равно... Как загнанную лошадь,
Одышка двинула на лестнице в ребро.
Толкаю дверь: неведомая площадь
И серых сумерек густое серебро.

*1924, апрель
Париж*

Два мира

Нине Павловне Кошиц

Нет песен в городе! Нет благодатных звуков:
Ни пенья птиц, ни шелеста кустов.
Нестройный гам гудков, сирен и стуков,
И под колесами зловещий гул мостов.
Здесь не гремит густой орган прибоя,
Здесь нет цикад – беспечных скрипачей,
И только ветер, жалуясь и воя,
Летит вдоль вывесок во тьме слепых ночей.
Трамвайный лязг прорежет миг раздумья.
Смолкает в сердце робкая свирель...
На площади в копеечном бездумье
Под визг шарманки вьется карусель.
На перекрестке средь кружка немого
Исходит воплем продавец шнурков,
Да на реке, как мутный бред больного,

С буксиров вьется ржавый хрип гудков.
И лишь под аркою за будочным скелетом
Слепой солдат с собакой визави
Поет простуженным, надорванным фальцетом
О девушке, о счастье, о любви...

Но в том же городе над улицами где-то
Сверкает зал, притихла зыбь голов...
И вспыхнул звук, – он словно луч рассвета,
Возносит песнь на крыльях горьких слов.
Плывет мелодия, хрустальная услада.
О старомодная, бессмертная мечта!
Железная уходит ввысь ограда,
Синеют дали. Боль и красота.
В глазах банкира – грезы гимназиста,
Седой военный лоб закрыл рукой,
Худой конторщик с головою Листа
К колонне прислоняется щекой.
Пусть композитор спит давно в могиле, –
Из черных нот, прерывистых значков,
Воскресла вновь в непобедимой силе
Волна любви и лучезарных снов...
Дробятся в люстре светлой песни брызги,
Кольшется оранжевая мгла...
.....
И вновь на улице. Гудки – сирены – визги,
Но над пальто – два радужных крыла...

1927
Париж

Платан

На улице холод и сизый туман.
Внизу перед лавкой скучает платан...
На голой верхушке болтается лист,

И каждая ветка – как серенький хлыст.
А ветер, слетая воздушной тропой,
Сечет по коре дождевою крупой...
Хотя бы один прилетел воробей!
Угрюмое небо асфальта грубей,
И дети, к стеклу прижимая носы,
Проводят у окон пустые часы...
Огонь электрический вспыхнул дугой –
Сверкнули дождевики вдоль ветки нагой.
На светлую лавку косится платан:
Мальчишка в окне выбирает банан,
Лукавая кошка, урча на огонь,
Хозяйскую дочку толкает в ладонь.
Гирляндой прозрачной лежит виноград,
Над сыром краснеет пузатый томат...
Так радостно дереву в уличной мгле
Следить за уютною жизнью в стекле:
Как будто оно в освещенном кругу
Качает ветвями на летнем лугу,–
Внизу на салфетке закуски стоят,
И прыгают дети, и люди едят...

Но мимо по улице шел господин...
Другие с собаками, он был один.
С кривою усмешкой, хоть не был он пьян,
Погладил он тихо продрогший платан.
И вздрогнуло дерево в уличной мгле:
Как будто бы сердце забилося в стволе,
И стало так страшно средь улицы злой
С далекой сверкающей башней-иглой.

1927

Париж

Allée des Cygnes

Посреди свинцовой Сены
Стынет голая аллея,
Под мостом мычат сирены
И закат мутнее клея.
Справа крыши
И ворот фабричных латы,
Слева в нише
Складов грязные заплаты.

Волны мутны, тусклы, серы...
Вдоль откосов чернь бурьяна.
Две купальни, как химеры,
Вздели ребра из тумана.

Пусто. Вьются туч лохмотья.
Голых ясеней скелеты
Подымают к небу прутья.
Рябь воды мрачнее Леты.

Вдруг навстречу из-за ниши
На колесах два ажана,
Как летучие две мыши,
Пронеслись в волнах тумана.

На мостах визжат трамваи...
Башня мертвая сверкает...
Под откосом мерзнут сваи.
Цепь скрипит. Собака лает.

Но на скáмьях справа-слева
В этой мгле над Сеной хмурой
Звенья вечного напева –
Молчаливые фигуры.

Кто они? Швея – приказчик,
Подмастерье иль прислуга...
Лотерейный старый ящик

Им помог найти друг друга.

И они не видят даже,
Как над ними из-за арки
По ночной всплывает саже
Тень Лауры и Петрарки.

Прохожу, поднявши ворот.
Ночь зажглась огнем полдневным,
Над мостами ропщет город
Контрабасом задушевым.

В Сене отсвет вспыхнул дальний
Аметистовою пылью.
Даже грязные купальни
Стали радостною былью.

Даже сумрачным ажанам
В это время веселее
Под седым лететь туманом
Средь влюбленных вдоль аллеи...

Поворот... Ночное лоно.
Я грызу, мечтая, булку...
В сердце ангел вертит сонно
Музыкальную шкатулку.
Справа в нише
Старых складов дремлют гнезда.
Справа крыши
И фабричных окон звезды.

<1928>

Солнце («Угрюмый делец почтенных лет...»)

Угрюмый делец почтенных лет
Бросил портфель и застыл на скамейке:
Так мирно струится янтарный свет,
Так зыбки в листьях хрустальные змейки...

А в детской коляске серьезный малыш
Занес осторожно пухлые пальцы:
Солнце слетело с далеких крыш
Он его ловит на одеяльце...

Мальчик-посыльный идет через мост.
В пуговках ясных острые блики...
Забыв порученье и важный свой пост,
Свистит и машет рукою, как дикий.

И пес, солидный циник-бульдог,
Лежит на пороге и греет темя.
Мечтательно сжаты обрубки ног,
В зрачках золотится лучистое семя.

И чижик в клетке робко пищит;
Дрожат-пылают дома и трамваи,
Горит над платаном сверкающий щит,
И мимо проносятся птичьи стаи.

Художник, расставив в сквере мольберт,
Сердито мешает желтые краски,—
В ушах разливается птичий концерт,
В глазах — колыхание солнечной пляски...

А сверху, в кресле слепой старик
Пустыми глазами смотрит на солнце.
Дыхание легче, светлеет лик,
И все теплее перила балконца.

И вон на углу — смотри и молчи —
Сверкают стрелы на медленных дрогах,

Дробятся в бисерных розах лучи
И весело пляшут на траурных тогах.

1928

Париж

В Люксембургском саду

I

Ряды французских королев
Белеют в мартовской прохладе.
На баллюстраде
Похожий на барана лев...
Сквозь пух деревьев бледным жалом
Текут лучи.
На посеревшем пьедестале
Стоит Мария Медичи:
Глаза надменны, губы сжаты,
Узорным блюдом воротник,
Корсаж, как латы,
В ладони скипетр – словно штык...
А у подножья,
На фоне строгой королевы,
Веселые, как птицы Божьи,
Снимаются три бойких девы.
В свободный час
Они сбежали из конторы.
В сотый раз
Старик-фотограф мечет взоры...
«Снимаю!..» Но, увы, на грех,
В ответ вся тройка так и прыснет...
Старик в досаде только свистнет,
И снова сумасшедший смех, –
Как будто флейт лукавых трели,

Как будто льдинок вешний хруст...
О королева, неужели
Не разомкнете гордых уст?

II

Есть особого рода охота...
Ты пойдя в Люксембургский сад,—
Над бассейном лучей позолота,
Воробьи и дети пищат...
В стороне от парижской шумихи
Опустись на скамью, не скучай...
Вдруг малыш какой-нибудь тихий
Обернется к тебе невзначай.
Ты замри и склонись пониже,
Улыбнись глазами чуть-чуть:
Подойдет он к тебе поближе,
Покошится на шляпу и грудь.
И вздохнет глубоко и протяжно,
А потом улыбнется и сам
И слегка ладошкою влажной
Прикоснется к твоим усам.
И тебя за рукав влюбленно
Вдруг потянет к себе, позовет...
.....
А потом долговязая бонна
Подойдет и его оторвет.

1929

Городские чудеса

I

Пчела

Перед цветочной лавкой на доске
Из луковицы бурой и тугой
Вознесся гиацинт:
Лиловая душа,
Кадыщая дурманным ароматом...
Господь весной ей повелел цвести,
Вздматься хрупко-матовым барашком.

Смотри:
Над гиацинтом вьется
Пушистая пчела...
То в чашу завитков зарое тельце,—
Дрожит, собирает дань,
То вновь взлетит
И чертит круг за кругом.

Откуда ты, немая хлопотунья?
Где улей твой?
Как в лабиринт многоэтажный
Влетела ты, крылатая сестра?
Куда свой сладкий груз
Снесешь под гул автомобилей и трамваев?

Молчит. Хлопочет.
И вдруг взвилась — все выше, выше —
До вывески «бандажной мастерской»...
И скрылась.

II

Обезьянка

Косою сеткой бьет крупа.
По ярмарке среди бульвара
За парой пара
Снует толпа.
Строй грязных клеток,
Полотнища шатров,
Собачий визг рулеток,
Нуга – будильник – и пузыри шаров,
У будки прорицателя – шарманка:
Визжит, сзывает, клянчит...
Худая обезьянка,
Сгорбив спинку,
Качает-нянчит,
Зажавши книзу головой,
Морскую свинку,
Так нуден сиплый вой!

Качает-греет...
Гладит лапкой
Чужого ей зверька,
А он, раздув бока,
Повис мохнатой тряпкой,
Тупой и сонный.
И опять
Она к нему влюбленно
Склоняется, как мать.

Качает, нежит...
Застыл маляр худой
С кистями за плечами,
И угольщик седой, –
Глаза переливаются лучами...
Склонился лавочник к жене,
И даже brave солдаты, –
Взвод краснощекой деревенщины, –
Притихли в стороне.
Шарманка ржет...

Вздыхают женщины:
Кто лучше их поймет?

1929, апрель
Париж

Пензенскому Катону

Ваш Париж – Содом!

(Из эмигрантского разговора)

Хмурый пензенский спорщик,—
В жизни мало утех...
Если юный конторщик
На панели при всех
Тонконогую деву
Лобызает взасос,—
Не краснейте от гнева
И не морщите нос.

Может быть, это пошло,
Как панельный канкан...
Ведь у нас в нашем прошлом
Даже дворник Степан
Не лобзался с кухаркой
У ворот средь гуляк,
А в подвале под аркой,
Где прохлада и мрак.

Наши светлые ризы
Мы от моли спасли:
Лишь Татьяны и Лизы
В нашем прошлом цвели...
Но позвольте в Париже
Сквозь иное стекло

Этот ужас бесстыжий
Показать вам светло.

Он – конторщик из банка,
Дева в шляпке – швея,
Целый день спозаранку
Лишь одна колея.
Только в час перерыва
В ресторане вдвоем
Поедят торопливо,
Прикоснутся плечом.

И опять на панели...
Снова надо в ярмо...
Ни беседки, ни ели,
Ни софы, ни трюмо...
Губы что-то сказали,
Шепот вспыхнул, затих,
Как на людном вокзале –
Что им здесь до чужих?

Ведь вокруг из прохожих
Не взглянул ни один.
Все спешат, все похожи –
Шорох ног и машин.
Свежесть этих лобзаний,
Господин прокурор,
Словно ветер среди зданий,
Налетающий с гор...

В романтической Пензе
Писаря при луне
В честь Лаур среди гортензий
Пели гимны весне?
Что ж... Здесь проза и давка:
Торопись и живи.
Между сном и прилавком –

Пять минут для любви.

Чем в столовке унылой
Соло есть свой салат,
Вы бы тоже, мой милый,
Разыскали свой клад...
Я скажу осторожно:
Все, что греет, – добро.
Целоваться ведь можно
В коридорах метро.

<1929>

В Булонском лесу

Там, за последней виллой,
Вдоль глинистого рва
Светло-зеленой силой
Вздывается трава...

Весенним изумрудом
Омолодила пни,
Упавший ствол верблюдом
Раскинулся в тени...

Кольцо березок кротких
Под облаком седым
Роняет с веток четких
Зеленокудрый дым.

Мальчишка влез на липку –
Качается, свистя...
Спасибо за улыбку,
Французское дитя!

«Слезай-ка, брось свой мячик,

Мой фокс совсем не злой,—
Быстрее всех собачек
Помчится он стрелой...»

И вот они уж вместе —
И зверь, и мальчик-гном.
Жестянка искрой жести
Сверкнула под кустом.

Ну что ж, здесь были люди,
А людям надо есть.
В зеленом этом чуде
Пускай цветет и жесть...

Вверху клубки омелы,
Как шапки сизых гнезд.
Под бузиной замшелой
Хлопочет черный дрозд...

С дороги у изгиба
Моторный рявкнул бас...
Спасибо, лес, спасибо
За этот добрый час.

<1930>

Собачий парикмахер

В огромном городе так трудно разыскать
Клочок романтики — глазам усталым отдых:
У мутной Сены,
Вдоль стены щербатой,
Где мост последней аркою круглится,—
Навес, скамья и стол.
Старик с лицом поэта,
Склонившись к пуделю, стрижет бугром руно.

Так благородно-плавны жесты рук.
Так благостны глаза,
Что кажется: а не нашел ли он
Призвание, чудеснейшее в мире?
И пес, подлец, доволен,—
Сам подставляет бок,
Завел зрачок и кисточкою машет...
В жару кудлатым лешим
Слоняться нелегко,
И быть красавцем — лестно,—
Он умница, он это понимает.
Готово!
Клиент, как встрепанный, вскочил и наземь.
Ты, лев собачий! Хитрый Дон-Жуан
С седую эспаньолкою на морде...
Сквозь рубчатую шерсть чуть розовеет кожа,
Над шеей муфта пышною волной,—
Хозяин пуделя любовно оглядел
И, словно заколдованного принца,
Уводит на цепочке.
С балкона кошка щурится с презреньем...
А парикмахер положил на стол
Болонку старую, собачью полудеву,
Распластанную гусеницу в лохмах...
Сверкнули ножницы, рокочет в Сене вал,
В очках смеется солнце.

Пришла жена с эмалевым судком,
Увядшая и тихая подруга.
Смахнула шерсть с собачьего стола,
Газету распластала...
Три тона расцветили мглу навеса:
Бледно-зеленый, алый и янтарный —
Салат, томаты, хлеб.
Друг другу старики передают
С изысканностью чинной
То нож, то соль...

Молчат, – давно наговорились.
И только кроткие глаза,
Не отрываясь, смотрят вдаль
На облака – седые корабли,
Плывущие над грязными домами:
Из люков голубых
Сквозь ключья пара
Их прошлое, волнуясь, выплывает.
Я прохожий,
Смотрю на них с зеленого откоса
Сквозь переплет бурьяна
И тоже вспоминаю:
Там, у себя на родине, когда-то
Читал о них я в повести старинной, –
Их «старосветскими помещиками» звали...
Пускай не их – других, но символ тот же,
И те же выцветшие, добрые глаза,
И та же ясная внимательность друг к другу, –
Два старых сердца, спаянных навеки.

Как этот старый человек,
С таким лицом, значительным и тонким,
Стал стричь собак?
Или в огромной жизни
Занятия другого не нашлось?
Или рулетка злая
Подсовывает нам то тот, то этот жребий,
О вкусах наших вовсе не справляясь?
Не знаю...
Но горечи в глазах у старика
Я, соглядатай тайный, не заметил...
Быть может, в древности он был бы мудрецом,
В углу на площади сидел, лохматый, в бочке
И говорил глупцам-прохожим правду
За горсть бобов...
Но современность зла:
Свободных бочек нет,

Сograждане идут своей дорогой,
Бобы подорожали,—
Псы обрастают шерстью,
И надо же кому-нибудь их стричь.
Вот – пообедали. Стол пуст, свободны руки.
Подходит девушка с китайским вурдалаком,
И надо с ней договориться толком,
Как тварь любимую по моде окорнать...

1930

В метро

В стеклянном ящике
Случайно сбились в кучу
Сто разных душ...
Выходят-входят.
Как будто рок из рога бытия
Рукой рассеянною сыплет
Обрывки слов, улыбки, искры глаз
И детские забавные ужимки.
Негр и француз, старуха и мальчишка,
Художник с папкой и делец с блокнотом,
И эта средняя безликая крупа,
Которая по шляпам лишь различна...
На пять минут в потоке гулком слиты,
Мы, как в ядре, летим в пространство.
Лишь вежливость – испытанная маска –
Нас связывает общим безразличьем.
Но жажда ропщет, но глаза упорно
Все ищут, ищут... Вздор!
Пора б тебе, душа, угомониться,
И охладеть, и сжаться,
И стать солидной, европейскою душой.
В углу в сутане тусклой
Сидит кюре, добряк круглоголовый,

Провинциал, с утиными ступнями.
Зрачки сквозь нас упорными гвоздями
Лучатся вдаль, мерцают,
А губы шепчут
По черно-белым строчкам
Привычные небесные слова...
Вот так же через площадь,
Молитвенник раскрыв,
Сомнамбулою тихой
Проходит он сквозь строй автомобилей
И шепчет – молит – просит,–
Все о своей душе,
Все о своем спасенье...
И ангелы, прильнув к его локтям,
Его незримо от шоферов ограждают.

О Господи, из глубины метро
Я о себе взывать к Тебе не буду...
Моя душа лениво-бескорыстна,
И у Тебя иных забот немало:
Там над туннелем хоровод миров,
Но сложность стройная механики небесной
Замутнена бунтующею болью
Твоей бескрылой твари...
Но если можно,
Но если Ты расслышишь,
Я об одном прошу:
Здесь на земле дай хоть крупицу счастья
Вот этому мальчишке из отеля
В нелепой куцей куртке
И старику-посыльному с картонкой,
И негру хмурому в потертом пиджаке,
И кроткому художнику соседу,
Задумчиво сосущему пастилку,
И мне – последнему – хотя бы это лето
Беспечностью веселой озари...

.....

Ты знаешь, – с каждым днем
Жить на Твоей земле становится трудней.

1930

Пустырь

Где газовый завод вздымал крутые трубы,
Столбами пламени тревожа вечера,–
Там нынче – пепелище.
Вдали амфитеатром –
Изгибы стен, балконы, ниши, окна,
Парижский пестрый мир,
А здесь – пустыня.
Сухой бурьян бормочет на ветру,
Последние ромашки доцветают,
В углу – каштан пожухлый, кроткий, тихий,
Костром холодным в воздухе сквозит.
Плиты в мокрых ямах
Отсвечивают окисью цветистой;
Над скатом поздний клевер
Беспечно зеленеет,
А в вышине – тоскующие сны –
Клубятся облака.

Как бешеные, носятся собаки,
Играют в чехарду,
Друг друга за уши, как дети, теребят
И добродушно скалят зубы.
«Чего стоишь, прохожий?
Побегал бы ты с нами вперегонки...
Через бугры и рвы галопом вольным... Гоп!»
Так плухо за стеной звенят трамваи,
Так плавно куст качается у ног,
Как будто ты в подводном царстве.
А у стены старик –

Небритый нищий, плотный, красный, грязный –
Среди обрезков ржавой жести
В роскошной позе на мешках возлег
И, ногу подогнув, читает –
Я по обложке яркой вижу –
Роман бульварный...
Господь с тобой, бездомный сибарит!

Худая женщина застыла на бревне,
У ног – клубок лимонно-желтой шерсти,
В руках – дорожка шарфа...
Глаза на сложенный булыжник смотрят, смотрят,
Как будто пирамидой перед ней
За годы долгие весь груз ее забот
У ног сложили.
Опущенная кисть недвижна и суха,
И зябко ежатся приподнятые плечи, –
Но все же горькая отрада тешит тело:
Короткий роздых, запах вялых трав,
Распахнутые дали над домами
И тишина...
А рядом дочка, пасмурный зверек,
Жестянки тусклые расставив колоннадой,
Дворец осенний строит.
Насупилась... Художники не любят,
Когда прохожие на их работу смотрят.
Дичок мой маленький! Не хмурься – ухожу...
Стекло разбитое блеснуло в кирпичах.
За все глаза сегодня благодарны.
Пустырь молчит. Смотрю с бугра кругом.
Какой магнит нас всех сюда привлек:
Собак бродячих, нищего седого,
Худую женщину с ребенком и меня?
Бог весть. Но это пепелище в этот час
Всего на свете нам милее...

А вот и дар: среди рваных лопухов

Цветет чертополох... Как это слово гулко
Раскрыло дверь в забытые края...
Чей жезл среди Парижа
Взлелеял эти дикие цветы?
Такою совершенной красотой
Над мусором они тянулись к небу,
Что дальний рев сирен с буксирных пароходов
Валторнами сквозь сердце пролетел.
Три цветка,
Лиловых три пушка
В оправе стрельчатых ажурных игол листьев,
Сорвал я осторожно,
Зажал в платок,
И вот – несу домой.
Пусть в уголке на письменном столе
В бокале погостят.
О многом я забыл – как все мы позабыли,–
Они помогут вспомнить.

1930

У Сены

В переулок – к бурлящей Сене,
Где вода, клопоча, омывает ступени,
Заливая берег пологий,–
Все приходят люди в тревоге:
Рабочий хмурый,
Конторщик понурый,
Озябший старик с ребенком,
Девушка с рыжим котенком...
Слушают грозный гул
Воды, встающей горбом у лапы моста.
У откоса последняя грива куста
Опрокинулась в мутный разгул...
К берегу жметесь мертвый буксир,

Бревна несутся в лоснящейся мгле перевалов...
Дойдет ли вода до подвалов?
Хлынет ли в окна мирных квартир?
Поправив пенсне, какой-то седой господин
Отметил мелом на стенке грань колыханий...

* * *

Ты, мутное лоно грядущих годин!
Мел мой в руке – но черта роковая в тумане.

1930

Предпраздничное

Перед витринами каша:
Люди вежливо давят бока,
По-детски смеются взрослые,
Серьезны притихшие дети,
Какой-то младенец внизу
Ползает, мажет ладошкой по стеклам.
Забыты дела – банки, конторы,
Ты словно попал на «Остров безопасности»...
В витринах пухло-курносые куклы
Молят: «Купите! Меня! Меня!»
Изумленные мишки, слоны и пингвины
Таращат на нас стекляшки-глаза.
Вот домик из пряничных плиток,
Вот уютная алая станция
С собачкой в дверях,
Вот хлев с толстяками-барашками...
Все стародавние наши мечты
Коммерсанты собрали в витринах.
Так любо толкаться, глазеть,

Улыбаться вместе со всеми
В теплом потоке людей,
Не думать, забыть хоть на час
О своей оболочке земной
В старомодном пальто,
Прикрытом вареником-шляпой...
К чертям!

В дверях – крутая вертушка.
В стеклянном вихре вонзаешься в зал:
Во все концы,
Во все этажи
Палитра всех попугайских тонов,–
Подарки – подарки – подарки...
Переливы – разливы огней,
Шорох маленьких ног.
Коротышки в пушистых гамашах
Обалдело сияют глазами...
А сбоку их мамы:
Ряды тонконогих газелей,–
В руках и под мышкой пакеты, пакеты...
За пальто меня тянет малыш,
Но я ведь не мама.
И мамы тоже в тревоге:
Где свой? Где чужой?
Где выход? Где вход?
Где сумочка? Где голова?..

Сбитая с ног продавщица –
Бретонско-парижский бутон,–
Как резинку, уста растянула
В устало-любезной улыбке:
«Что вам, сударь, угодно?»
В зеркале наискось вижу,
До чего он беспомощен – этот синьор,
Называемый мною...
Смотрю ошалело вокруг

И выбираю... десть писчей бумаги...
Какая фантазия!
Какой грандиозный размах!

<1930>

Солнце («Всю зиму нормандская баба...»)

Всю зиму нормандская баба,
Недвижнее краба,
В корсете – кирасой
Сидела за кассой.
И вот сегодня очнулась.
Оправила бюст, улыбнулась,
Сквозь очки
Вонзила свои водяные зрачки
В кипящую солнцем панель,
Отпустила мне фунт монпасье,
И, словно свирель,
Прошептала: «Месье...
Какая сегодня погода!»

И рядом сапожник, –
Качая свой жесткий треножник
И сунув в ботинок колодку, –
Веселым аллегро в подметку
Стал гвозди вбивать.
Янтарный огонь, – благодать! –
На лысине вдруг заплясал...
Витрина – искристый опал...
В вышине
Канарейка в окне,
Как влюбленная дура, трещала прилежно.
Мои каблуки
Осмотрел он с улыбкою нежной
И сказал, оскалив клыки:

«Какая сегодня погода!»

* * *

В витрине аптеки графин
Пылал, как солнце в июле.
Над прилавком сухой господин
Протянул мне пилюли.
Солидно взглянул на часы,
Завил сосиски-усы,
Посмотрел за порог,
Где огромный, взволнованный дог
Тянулся в солнечном блеске
К застенчивой таксе,
И изрек отдельно и веско
(Взяв за пилюли по таксе):
«Какая сегодня погода!»

И даже хромой гробовщик,
Красноглазый старик,
Отставив игриво бедро,
Стоял у входа в бюро
И кричал, вертя подагрическим пальцем,
Подбежавшей с развальцем
Газетчице, хлипкой старушке,
С вороньим гнездом на макушке:
«Какая сегодня погода!»

Лишь вы, мой сосед,
Двадцатипятилетний поэт,
На солнце изволите дуться.
Иль мир – разбитое блюдце?
Весною лирическим мылом
Веревку намыливать глупо...
Рагу из собачьего трупа,

Ей-Богу, всем опостыло!
Пойдемте-ка к Сене...
Волна полощет ступени,—
Очнитесь, мой друг,
Смахните платочком презренье с лица:
Бок грязной купальни – прекрасней дворца,
Даль – светлый спасательный круг...
Какая сегодня погода!

1932

На пустыре

I

Футбол

Три подмастерья,—
Волосы, как перья,
Руки глισταми,
Ноги хлыстами
То в глину, то в ствол,—
Играют в футбол.

Вместо мяча
Бак из-под дегтя...
Скачут, рыча,
Вскинувши когти,
Лупят копытом,—
Визгом сердитым
Тявкает жесьть:
Есть!!!

Тихий малыш

В халатике рваном
Притаился, какмышь,
Под старым бурьяном.
Зябкие ручки
В восторге сжимает,
Гладит колючки,
Рот раскрывает,
Гнется налево-направо:
Какая забава!

II

Суп

Старичок сосет былинку,
Кулачок под головой...
Ветер тихо-тихо реет
Над весеннею травой.
Средь кремней осколок банки
Загорелся, как алмаз.
За бугром в стене зияет
Озаренный солнцем лаз...
Влезла юркая старушка.
В ручке – пестрый узелок.
Старичок привстал и смотрит,–
Отряхнул свой пиджачок...
Сели рядом на газете,
Над судком янтарный пар...
Старушонка наклонилась,–
Юбка вздулась, словно шар.
А в камнях глаза – как гвозди,–
Изогнулся тощий кот:
Словно черт железной лапой

Сжал пустой его живот!

III

Любовь

На перевернутый ящик
Села худая, как спица,
Дылда-девица,
Рядом – плечистый приказчик.

Говорят, говорят...
В глазах – пламень и яд,–
Вот-вот
Она в него зонтик воткнет,
А он ее схватит за тощую ногу
И, придя окончательно в раж,
Забросит ее на гараж –
Через дорогу...
Слава Богу!
Все злые слова откипели,–
Заструились тихие трели...
Он ее взял,
Как хрупкий бокал,
Деловито за шею,
Она повернула к злодею
Свой щучий овал:
Три минуты ее он лобзал
Так, что камни под ящиком томно хрустели...

Потом они яблоко ели:
Он куснет, а после – она,–
Потому что весна.

<1932>

Уличная выставка

Трамваев острые трели...
Шипение шин, завыванье гудков...
По краю панели
Ширмы из старых мешков.
На ширмах натканы плотно
Полотна:
Мыльной пеной цветущие груши,
Корабли, словно вафли со взбитыми сливками,
Першеронов ватные туши,
Волны с крахмальными гривками
И красавицы в позах французского S,–
Не тела, а дюшес...
Над собачьего стиля буфетом-чудовищем,–
Над домашним своим алтарем
Повесишь такое чудовище,–
Глаза волдырем!

* * *

У полочек, расправивши галстуки-банты,
Дежурят Рембрандты,–
Старик в ватерпруфе затертом
Этаким чертом
Вал бороды зажимает в ладонь.
Капюшон – пузырем за спиной,
Войлок – седую копной,
В глазах угрюмый и тусклый огонь...
Рядом – кургузый атлет:
Сорок пять лет,
Косые табачные бачки,
Шотландские брючки,

Детский берет,—
Стоит часовым у нормандских своих деревень,
Равнодушный, как пень,
У крайних щитов
Средь убого цветистых холстов,
Как живая реклама,
Свирепо шагает художница-дама:
Охра плоских волос,
Белилами смазанный нос,
Губы – две алые дыньки,
Веки в трагической синьке,—
Сорок холстов в руках,
А обед в облаках...

* * *

Но прохожие воблою вялой
Сквозь холщовый текут коридор.
То какой-нибудь плотный малый
В першеронов направит взор...
То старушка, нежное сердце,
Вдруг приклеит глаза к холсту:
На подносе три алые перца
К виноградному жмутся листу...
Но никто – собаки! – не купит,
Постоят и дальше в кафе,—
И художник глаза лишь потупит,
Оттопырив мешком галифе...
Лишь один господин солидный
С хudosочною килькой-женой –
Уж совсем, совсем очевидно –
Выбрал нимфу с жирной спиной,
Но увидел цифру «сто двадцать»,
(А ведь рама без малого сто!)
И не стал даже, пес, торговаться,—

Отошел, запахнувши пальто...

<1932>

В угловом бистро

I

Каменщики

Ноги грузные расставивши упрямо,
Каменщики в угловом бистро сидят, –
Локти широко уперлись в мрамор...
Пьют, беседуют и медленно едят.

На щеках – насечкою известка,
Отдыхают руки и бока.
Трубку темную зажав в ладони жесткой,
Крайний смотрит вдаль, на облака.

Из-за стойки розовая тетка
С ними шутит, сдвинув вина в масть...
Пес хозяйский подошел к ним кротко,
Положил на столик волчью пасть.

Дремлют плечи, пальцы на бокале.
Усмехнулись, чокнулись втроем.
Никогда мы так не отдыхали,
Никогда мы так не отдохнем...

Словно житель Марса, наблюдаю
С завистью беззлойной из угла:
Нет пути нам к их простому раю,

А ведь вот он – рядом, у стола...

II

Чуткая душа

Сизо-дымчатый кот,
Равнодушно-ленивый скот,–
Толстая муфта с глазами русалки,–
Чинно и валко
Обошел всех, знакомых ему до ногтей,
Обычных гостей...
Соблюдая старинный обычай
Кошачьих приличий,
Обнюхал все каблуки,
Гетры, штаны и носки,
Потеря о все знакомые ноги...
И вдруг, свернувши с дороги,
Клубком по стене,–
Спираль волнистых движений,–
Повернулся ко мне
И прыгнул ко мне на колени.

Я подумал в припадке амбиции:
Конечно, по интуиции
Животное это
Во мне узнало поэта...
Кот понял, что я одинок,
Как кит в океане,
Что я засел в уголок,
Скрестив усталые длани,
Потому что мне тяжело...
Кот нежно ткнулся в рубашку,–
Хвост заходил, как лоза,–

И взглянул мне с тоскою в глаза...
«О друг мой! – склонясь над котом,
Шепнул я, краснея,–
Прости, что в душе я
Тебя обругал равнодушным скотом...»
Но кот, повернувши свой стан,
Вдруг мордой толкнулся в карман:
Там лежало полтавское сало в пакете.

Нет больше иллюзий на свете!

<1932>

Капризные вирши*

Современная баллада

Ветер рвется за рубаху,
Весла гнутся и скрипят.
Заноси плечо с размаху,
Грудь закидывай назад!
Ивы гуще водопада
Никнут сизой пеленой...
Хоть одна б всплыла наяда,
Хоть один бы водяной!

В каждой лодке – пресный, местный,
Добросовестный роман:
Гретхен с шеей полновесной
И берлинский Дон-Жуан.
Лобызнутся, вытрут губы –
И опять за бутерброд.
Пожуют, оскалят зубы
И друг к другу тянут рот...

В весла яростно влезая,
Выбираюсь на простор.
Из надводного сарая
Запыхтел пузан-мотор.
Трели томных жабьих взводов
Все страстнее... Ну и прыть!
Хоть у них без бутербродов
Обойдется, может быть...

Яхты плавно и любовно
Воду носом бороздят.
Вечереет. В восемь ровно
Надо к пристани назад...

Мглится влажная прохлада.
Вдруг под ивой у коряг
Пузырем всплыла наяда
И беклиновский толстяк.

Не смутился я нимало, –
Чем нас нынче удивишь?
И шипящей лодки жало
К ним направил сквозь камыш.
В час вечерний, в час бескрайний,
В час, гасящий небосвод, –
Что друг другу шепчет тайно
Нежить местных пресных вод?

«Не утопленник – огарок!»
Злобно фыркнул водяной.
«В кошельке – сто тысяч марок...
ТЬфу, какой улов дрянной!»
А в ответ уста вздохнули:
«Ах, что сделалось с людьми!
Дед! Куда ж они девали
Все червонцы, черт возьми?!»...

<1923>

Капризные вирши

Помню май в Берлине блеклом:
Каждый день, как раб наемный,
Дождь с утра дубасил в стекла –
Монотонный, неумный...
Хлюпал-булькал плеск струистый.
Разбухало все в природе, –
Вишни были водянисты,
И табак сырел в комодке.
Переулок был безлюден,

Тая в мутной синеве,
И мозги мои, как студень,
Колыхались в голове.

Не потоп ли? Весь в смущенье,
Ощутил я трепет рабий:
Потерял Господь терпенье,—
И опять разверзлись хляби...
Я к издателю собрался
Сговориться о ковчеге,
Но подумал... и остался:
Пусть уж тонет, дьявол пегий!
Сквозь гардины с дрожью в теле
Заглянул я за карниз:
Пустяки! Вода с панели
Уходила в трубы вниз.

А теперь сию я в Риме.
Август месяц на исходе,
Но лучи неукротимы
От восхода до захода.
Ртуть за градусник полезла,
Сохнут пальмы, скачут блохи,
Вся вода в трубе исчезла
И из крана — только вздохи.
Целый день лимонным соком
Укрощаю душный жар,
А сквозь ставень медным оком
Рдеет солнечный пожар.

О Господь! Твои загадки
Выше нашего сознания...
Мне ли править опечатки
В пестрой книге мироздания?
Но глаза к Тебе поднимаю,
Чтоб Тебя обеспокоить:
Ты не мог ли нашу землю

Лучше как-нибудь устроить?
Климат мог быть в центре суше,
А на юге посвежей,
Или б дал нам вместо туши
Тело легкое чижей...

Дождь иль зной, а чиж-мечтатель
Распеваает гимн в три ноты.
Платье, кровля и издатель –
Никакой о них заботы!
Что ему наш мир бездушный,
Революции и визы?
Вон обед его воздушный –
Сотни мошек бледно-сизых...
Вся земля ему отрада,
Всюду родина над ним –
И совсем ему не надо
Ни в Берлин летать, ни в Рим.

1923

Рим

Лирическая кухарка

Блестя золотыми зубами,
Из парка
Выходит кухарка-швейцарка
С бобами.
Расставила боком подметки,
Застыла:
На лице разлапистой гулко и четко
Воркует голубка... Как мило!
Две бабочки вьются над маком, –
Жених и невеста.
Сияя восторженным лаком,
Кухарка – ни с места.

Посмотрит на тучки,
На желтых утят в светло-сизой капусте
И сложит умильно швейцарские ручки
На бюсте.

* * *

А в кухне клокочет бульон,
Бежит через край,
На блюде охалка сырых макарон,
Под блюдом – рассыпанный чай,–
И мухи, на мясо усевшись гурьбой,
Жужжат вперевбой...
Какая обида!
Напрасно уныло взывает хозяйка:
«Где Фрида?!»
Поди – и узнай-ка...

* * *

О Фрида, цветы без забот!..
Случаен твой жребий кухарки:
Дух Сафо встревоженно-жаркий
В тебе несомненно живет.
Прими же мой братский привет!
Когда-нибудь, выбравши время,
Тебе возложу я на темя
Венок из твоих невозможных котлет.

1924

Апрель

С задорным лаем мчатся псы,
Платан проснулся бурый,
А наш консьерж завил усы
И строит прачке куры...
На скамьях – солнечная ртуть.
В коляске два младенца
Друг дружку сцапали за грудь,
Здравши вверх коленца.
Средь серых стен над мостовой
Вдоль старого базара
Сверкает вешней синевой
Небесная Сахара.
В кустах зеленый птичий рай,
Каштан в ажурных бантах,
И даже старенький трамвай
Весь в легких бриллиантах...
В витринах прачечной сквозят
Пленительные плечи...
Консьерж погиб, – апрельский яд
Смертельнее картечи!

<1925>

Париж

Урок
(посв. читающим на вечерах писателям)

Однажды среди мирной прогулки
Мне друг мой, прозаик, сказал:
– Читать надо дерзко и гулко,
Чтоб звуком заполнить весь зал!

Чтоб лампы на люстрах дрожали!
Чтоб замер у двери ажан...
Но правую руку вначале
Ты можешь засунуть в карман...

А после – восторженным жестом
Воздень ее вдруг к потолку!
Взбей слово рассыпчатым тестом,
Воркуй, как глухарь на току...

Нелепо, подобно жирафу,
Торчать на эстраде в тоске:
Давид выходил к Голиафу
С одною пращою в руке.

Не мямли, краснея позорно,
Не ной в носовую дуду.
Глазами фиксируй упорно
Девицу в четвертом ряду.

Концы подавай полногласно –
То басом, то нежным альтом,
И если услышишь: «Прекрасно!»,
Подайся вперед животом.

.....
Прозаик устроил свой вечер,
А я поучиться пришел.
Три люстры горели, как плетчер,
Сиял лакированный пол.

И вот – распахнулась портьера.
Он вышел. Храни его Бог!
Встал боком и желтый, как сера,
Взглянул на дрожащий сапог.

И вдруг загундосил уныло,
Отставивши ногу, как ять...
Резинку жевал он иль мыло,
Не мог я, признаться, понять.

Где жесты? Где звонкие ноты?
Ладони висели пластом,
В носу заливались фаготы,
И галстук болтался пистом...

Окончил. Одернул манишку
И рысью скорее-скорей,
Косясь на рояльную крышку,
Исчез средь кулисных дверей.

<1925>

Б. К. Зайцеву

Юбилейный стиль известен:
В смокинг стянутое слово
Напомадишь, и разгладишь,
И подкрасишь, и завьешь...
Восклицательные знаки
Соберешь в букет разбухший
И букетом этим душишь
Юбиляра с полчаса.

Юбиляр сидит понуро,
Вертит в пальцах карандашик,
И в душе его крылатой
Загораются слова:
«О, когда, когда он кончит?..
Где моя ночная лампа,
Стол мой письменный и туфли,
Крепкий чай и тишина?»

Но сегодня случай легкий:
Разве Зайцеву Борису
На турецком барабане
Можно арии слагать?

Разве жаворонку нужен
Пышноцветный хвост павлиний?
Таает-таает в бледном небе
И, сливаясь с ним, звенит...

А теперь начнем по пунктам.
Первый пункт. Во время оно
Карамзин маститый молвил
И, конечно, неспроста,—
Что отменный автор должен
Быть отменным человеком...
Не конфузьтесь, милый Зайцев,
Это сказано про Вас.

Пункт второй отметим кратко:
В книжке Зайцева Бориса
Не найдете вы героев,
Хоть с прожектором ищи...
Не легка его задача —
Он о среднем человеке
Пишет так, что этот средний
Всех героев нам милей.

Третий пункт. Язык российский
Рвут макаки, точат черви:
Слово — хриплый эпилептик,
Слово — ребус-спотыкач.
Но ручьем хрустально-светлым
Русским складом, русским ладом,
Со сказуемыми в центре
Льется Зайцевская речь.

Пункт четвертый. Тихий Зайцев,
Как ни странно, двоеженец:
Он Италию с Россией
В чистом сердце совместил.
Сей роман — типично русский,—

И у Зайцева Бориса
Римский воздух часто веет
Безалаберной Москвой.

Пятый пункт вполне интимный,
И никто о нем не знает,
Но редактор «Перезвонов»
Должен выслушать меня:
Он из рукописей пестрых
Ни одной чужой страницы,
По рассеянности русской,
Не засунул за диван.

Пункт шестой... Но, впрочем, будет...
На челе у юбиляра,
Я отсюда вижу ясно,
Выступает мелкий пот.
Слава Зайцеву Борису!
В юбилей тридцатилетний
Пусть его в России новой
«Нива» новая издаст...

Пусть по русским закоулкам —
От Архангельска до Ялты —
Разлетятся, словно брызги,
Книжки светлые его...

А пока мы здесь в Париже
Задушевно и любовно
Крикнем Зайцеву Борису
Беспартийное «ура»!

*1926, 12 декабря
Париж*

Хорошо близ Занзибара,
Притаясь в тенистом логе,
Наблюдать, как слон с слонихой
На песке задрали ноги.
Как жираф под эвкалиптом,
Обоня воздух душный,
Самку издали разнюхав,
Поцелуй ей шлет воздушный.
Как бушмен с блаженной миной
В два украденных манжета
Продевает томно пятки
Темно-бронзового цвета...
А вдали за пышной чащей, –
Это ль, друг мой, не поэма? –
Может быть, сокрыты стены
Африканского Эдема.
Ева черная, зевая,
Прислонившись к Злому Древу,
Водит яблоком опавшим
По лоснящемуся чреву...
И Адам, блаженный лодырь, –
Не открыт еще Европой, –
Всласть бодается под деревом
С молодой антилопой.
Черный ангел спит на страже
Под алоэ у калитки.
По бедру его тихонько
Вверх и вниз ползут улитки...
Ты, читатель, улыбнулся?
Это, милый, все, что надо,
Потому что без улыбки
Человек противней гада...
А теперь вернемся к теме:
Чем вздыхать по Занзибару,
Мы с тобой пройдемся лучше
По парижскому бульвару.
Занзибар – журавль в лазури,

Жизнь проходит час за часом,
Если, друг мой, нет нектара,
Утоляют жажду квасом.

* * *

Листья желтые платанов
Тихо падают на шляпу
И летят вдоль сизых улиц
По воздушному этапу...
Высоко над головою
Лента неба в два-три метра.
Пей бесплатное лекарство,—
Запах осени и ветра!
Вдалеке графин пунцовый,
Как маяк, горит в аптеке.
Вдоль панели под брезентом
Копошятся человеки.
И у каждой дамы сумка
Иль корзинка с прочной крышкой...
Ведь нельзя живого карпа
Волочить домой под мышкой.
В этот час все сердцу мило:
Даже связки сельдерея,
Даже грузный стан торговли
Над гирляндами порея.
Почему? И сам не знаю.
После лет гражданской драки
Каждый мирный лист капусты
Шлет масонские мне знаки...
Над помостом запах моря,
И мотор жужжит, как улей,
Это чистят пищу бедных,
Вороха блестящих мулей.
Карпы тяжело пучат жабры.

Кролик врозь раскинул ляжки.
Мельник с пафосом Жореса
Рекламирует подтяжки.
Подойдешь – не замечает,
Как шаман, исходит в крике...
Над распластанной печенкой
Факел розовой гвоздики.
Рядом с будничною пищей,
Рядом с мазью для посуды
Вянут нежно и покорно
Пышных астр цветные груды.
Фоксик вежливо и робко
Полизал усы лангусты.
Смотришь влево, смотришь вправо,
Голова – кочан капусты...
И плывешь в потоке женском,
Словно морж в лебяжьем стаде,
Подгоняемый толчками
Сбоку, спереди и сзади.
Иногда, как в лотерее,
Ты свое заденешь счастье,
Зацепившись глупой сеткой
Вдруг за чье-нибудь запястье:
Дрогнут острою улыбкой
Губы стриженной русалки,
И в глазах вопрос лукавый
Многоопытной весталки...
Ладно, матушка, видали!
Выбирай свои лимоны...
Над прилавками горланят
Трехобхватные матроны.
И мясник, лихая штучка,
Седоусый Казанова,
Так и рубит, так и режет
В центре кладбища мясного.
Выдираешься на волю.
Чрево тыквы ярче солнца.

Белый пудель улыбнулся
Мне с оконного балконца.
В стороне соседка Даша,
Сдвинув царственные брови,
Тщетно впихивает в сумку
Колоссальный сноп моркови.
В угловой роскошной лавке,
В виде отдыха для нервов,
Сдуру купишь вдруг паяльник,
Для закупорки консервов.
И идешь домой веселый
С грузом масла и бананов,
Поддавая вверх ботинком
Листья желтые платанов.
Дома спросят: «Где же масло?»
Масла нет... Рука качалась,
Шар в аптеке рдел пунцовый,
Масло в сетке колыхалось...
«Потерял?» Пожмешь плечами
И в смущенье щелкнешь звонко,
Как разбившая молочник
Пятилетняя девчонка.

1927

Париж

Химические стихи

(нечто эмигрантско-бытовое)

Сосед мой химик, симпатичный малый,
Вертя изысканно кургузым пиджачком,
Гусаром этаким на стул верхом уселся
И заявил, прихлопнув каблучком:
«Союз российских химиков в Париже

Химический устраивает бал...
Я вас прошу от имени Союза
Химический сложить нам мадригал».

«Химический?!» – Я побледнел, как свечка.
Ведь этак завтра по его следам
Закажут гимн российским акушерам,
А послезавтра бронепоездам...
Как воспоешь предродовой период?!
Или предел упругости брони?..
Ни практики, ни опыта, ни знанья,–
И вообще... спаси и сохрани!

«Химический? – переспросил я снова.–
Скажите мне – я в химии балбес,–
Когда с женою подерется химик,
Вы в этом видите химический процесс?»
«Конечно, нет!» – ответил он с досадой,
Добавивши глазами – «Остолоп!»
Я долго думал, очень долго думал
И тер, смутясь, похолодевший лоб.

«А если химик, нагрузившись ромом,
Полезет в ванну и его взорвет?
Могу ли я подобный редкий случай
Назвать химическим и двинуть в оборот?
Желаете – подам его в балладе
Иль обточу в химический сонет...»
Но химик мой зубами только скрипнул,
И понял я, что это значит – «нет!».

«Постойте... Год назад я отдал платье
В химическую чистку наобум...
И так как я не заплатил за чистку,
Безжалостно был продан мой костюм.
Уж эта тема, друг мой, безусловно
Находка для химических стихов!»

Но химик встал и вышел, хлопнув дверью,
Обиженный до самых потрохов.

Я всей душой – а он такой сердитый...
Вскипел, запенился, как сода с кислотой...
Я ж не могу, засунув Музу в колбу,
Сварить ее над газовой плитой
И, процедив сквозь клякспапир в пробирку,
Подать к столу химический бульон...
Поэт и химия друг с другом столь несродны,
Как бабочка и... пьяный почтальон.

<1928>

Грешные стихи

Свеж и томен лес Булонский...
Спит пустынное кафе.
Вдоль аллеи топот конский.
И Диана в галифе.

Каждый листик, как гостинец...
Распушилась бузина.
На скамейке пехотинец
И змеиная спина.

Шлем – в траве, ладонь – на блузке.
Губы в губы, как насос.
В этих случаях по-русски
Выражаются: «взасос».

Я, конечно, равнодушен,
Эмигранту наплевать!
Зову тайному послушен,
Пробираюсь вглубь, как тать.

Там, где сонно бродят козы
За опушкою густой,
Подымаются березы
Белоствольною четой.

Дождь ветвей с узлами почек
Грамм, примерно, с двадцать пять
Я в сатиновый мешочек
Соберу в лесу опять.

И возьму в аптеке спирта...
Ты не фыркай, ты постой!
Слаще славы, слаще флирта
Этот «почечный» настой.

Вкус – кусок весны в растворе,
Цвет – русалочий зрачок!
Хватишь в радости иль в горе
И завьешься, как волчок...

Я, ей-ей, не алкоголик,
Но ведь жизнь суха, как жесть.
А с приятелем за столик
Отчего ж весной не сесть?

Штоф в чужом глазу – улика,
Но в своем – не зрим ведра...
Не красней же, как гвоздика,
И скорей вставай с одра.

Ты трезвей маркиза Позы,
Ты ромашку только пьешь, –
Но боюсь, что все березы
Нынче днем ты обдерешь!

Зеленое воскресенье

Гремя, трамвай подкатывает к лесу.
Толпа – ларьки – зеленый дым вершин.
Со всех концов к прохладному навесу
Текут потоки женщин и мужчин.
Дома предместья встали хмурой глыбой,
Прикрыв харчевнями облезлые бока.
Пей затхлый сидр, глотай картошку с рыбой
И медленно смотри на облака...
Слепой толстяк, похожий на Бальзака,
Прильнув к гармонике, растягивает мех.
Брось в шляпу мзду. Вот палка, вот собака, –
Зеленый лес зовет сегодня всех.

«Оставьте, Муза, старую повадку.
Умерьте сатирическую рысь.
В воскресный день кому из нас не сладко
Лежать под деревом, задревши пятки ввысь?
Пусть вся поляна в масляных бумажках,
Пусть под кустами груды сонных ног, –
Любой маляр в сиреневых подтяжках
В неделю раз цветет, как римский бог.
Париж – котел. Шесть дней в труде и давке.
А в день седьмой с приплодом и с женой
Сбегают в лес, поесть яиц на травке,
И смыть галдеж зеленой тишиной...»
Такой тирадой утешая Музу,
Глазами ищешь, где б поменьше туш.
Ныряешь вглубь, как шар бильярдный в лузу,
Принять лесной, зеленый, летний душ!
Над старым дубом в блеске бирюзовом
Плывет сорока. Бог ее прости...
За бузиною в платье мотыльковом
Стоит дитя лет двадцати пяти.
Рот – вишенкой, ячком – подбородок,
Колонки ног, как лилии в песке...

А перед ней, нацеливая «кодак»,
Застыл Ромео в плотном котелке.
Пейзаж направо – градусом сильнее:
Она и он, вонзив друг в друга рот,
Лобзаются в траве, закинув шеи,
Выделявая пятками фокстрот.
Налево... Впрочем, перейдем к природе.
Всего спокойнее глаза направить ввысь:
Зеленокудрые, качаясь на свободе,
Густые липы в высоте сплелись...
Трава мягка. Вдыхает ветер сонный.
Летит синичка, вьется стрекоза.
О старый дуб! В твоей душе зеленой
Запутались усталые глаза...

Среди берез в сквозном зеленом дыме
Спит грузовик, уткнувши хобот в ствол.
Пять мясников с подругами лихими
Играют в сногшибательный футбол.
Хребты дугою, ноги роют землю...
Летят кентаврами, взбив кожаный арбуз...
От глаз до пят я этот жанр приемлю!
Брыкнулся б сам, но, так сказать, конфуз.
Мой фокс застыл в блаженном созерцанье:
В глазах горит зеленый пепермент:
Пойдем, дружок! Учись смирать желанья,
Мы посторонний, пришлый элемент...
Как кролики, уткнувшись в полотенце,
Разинув рты, спят дети под кустом.
Мой фокс лизнул попутного младенца
И по траве помчался вскачь винтом...
Желтеет дрок. Темнеет ежевика,
Бесшумный ястреб взвился вдалеке.
И больно мне, и совестно, и дико,
О человек, мотор в воротничке!

Спускаюсь вниз и выбираю домик:

Вон тот за соснами, с плющом до чердака...
Но умный фокс летит, как белый гномик,—
Внизу кафе, и прочее – тоска...
Течет толпа обратной волною,
Трещат звонки, в кустах мелькает люд.
Полны закатной, влажной тишиною,
Детишек сонных матери несут.
Заполним поезда и пароходы.
Шесть трудных дней, толкаясь и рыча,
Мы будем помнить – сосны, травы, воды,
Синицу, дрок и буйный взлет мяча.

1928, май
Париж

Горе от прохожих

(Рассказ в стихах)

В заливе под Тулоном,
Сверкая ходят зыби.
На стульчике зеленом
Сидит Иван Билибин.
Комар звенит на цитре,
И дали в сизой ряске.
У пальца на палитре
Цветастые колбаски.

В песок всосалась крепко
Сосна на мощной пятке.
Зрачок проверил цепко
Коры волнистой складки...
Костлявых сучьев вилы
И сочных лап кираса
Художнику так милы,

Как леопарду мясо.

Сидит молчит и пишет...
Сосна натурщик кроткий:
Едва-едва колышет
Развесистые щетки.
Ботинок жмет конечность,
Лучи стреляют в темя...
Давно нырнуло в вечность
Обеденное время.

Но вот земляк бродячий
С томатами в лукошке,
Сорвавшись с белой дачи,
Приклеился к дорожке
И голосом подземным
Бубнит, как по тетрадке,
Что в море Средиземном
Ужасно краски сладки...

Иван Билибин люто
Одернул вниз жилетку
И молча, как Малюта,
Прищурился сквозь ветку.
Взглянул на даль, на лодку,
И, стиснув свой треножник,
В стрелецкую бородку
Ругнулся, как сапожник.

Земляк ушел направо.
Чуть льются птичьи свисты...
Но за спиной орава –
Парижские туристы.
Стянулись на опушке
Вокруг складного стула
И смотрят... как телушки
На пушечное дуло.

Минуты три-четыре...
Все ближе гнусный шорох.
На шее, словно гири,
В душе – бездымный порох.
Еще одна минута:
И вдруг быстрее пули,
Он повернулся круто
К своим врагам на стуле.

О жуткий поединок!
Чуть шевеля усами,
От шляп и до ботинок
Он их грызет глазами...
А те, как кость из супа,
Застрявшая среди плотки,
Торчат вокруг стула тупо,
Расставивши подметки.

Ушли... Вздохнул художник...
Валы плывут рядами.
Опять скрипит треножник
Размерными ладами.
Увы!.. Пришла собака,
О ствол потеряла спину
И с видом вурдалака
Уставилась в картину.

Сто раз метал он шишки
В лохматого эстета...
Потом пришли мальчишки
И дачница Нинета...
И даже мул сутулый,
Умильно вздев головку,
Из-за мимозы к стулу
Натягивал веревку.

Но вот завесой бурой
Закат развесил свитки.
Иван Билибин хмуро
Сложил свои пожитки.
Зажал свой стул под мышкой
И по песку вдоль бора
Пошел в свой городишко
Походкой командора.

Не видит он покоя,
Сосет его забота:
Расставить под сосною
Четыре пулемета?!
Иль, взвившись в шаткой клетке
(Как в штукатурном цехе),–
У самой верхней ветки
Работать без помехи!..

<1928>, сентябрь
Париж

Ошибка («Это было в Булонском лесу...»)

(Рассказ в стихах)

Это было в Булонском лесу –
В марте.
Воробьи щебетали в азарте,
Дрозд пронесся с пушинкой в носу...
Над головой
Шевелили пухло-густыми сережками
Тополя,
Ветер пел над дорожками,
И первой травой
Зеленела земля.

Я сидел на скамейке
Один.
А вдали, у аллежки,
Лиловый стоял лимузин.

Сквозь стволы – облаков ожерелие...
Вдруг на дорожке
Показалась с сиаемскою кошкой
Офелия...
Ноги – два хрупких бокала,
Глаза – два роковых василька,
Губы – ветка коралла.
Змеисто качались бока,
С плеча развратным, рыжим каскадом
Свисала лисица.
Поравнялась... Окинула взглядом
Стоящий вдали лимузин,
Раскрыла тюльпаном свой кринолин:
Садится.

Сначала сиаемская кошка,
Как удав,
Потерлась о мой равнодушный рукав
И поурчала немножко...
Потом и Офелия,
Ко мне повернувшись слегка,
Показала конец язычка...
Приворотное зелие!
Глаза ее видели зорко:
За липой *мой* лимузин.
Я – седой господин,
Поросячий король из Нью-Йорка.
Ах, как стреляли два василька –
В меня, в лимузин, в облака!
Как кончик туфли волновался!
Но я не сдавался...

Чтоб в даме с рыжей лисой
Рассеять туман,—
Полез я в карман
И вынул хлеб с колбасой
В эмигрантской газете...
Милые дети!
Что́ с ней вдруг стало!..
А вдали к лимузину устало
Подошел англичанин с женой
И укатили домой.
Офелия встала...
Даже у кошки сиамской,
По логике дамской,
Засверкал раздраженьем
Дымно-сиреневый глаз...
Ушли с презреньем,
Не обернулись даже назад...
Вот и весь мой рассказ...

Разве я виноват?

<1929>

В санатории

Чуть глаза распялишь утром,
Вздернув нос над простынею,
Чуть лениво дрогнешь пальцем
Разоспавшейся ноги,—
Из нутра соседней койки
Бас, пропахший никотином,
Задаёт вопрос в пространство:
«Дьявол! Где же сапоги?»
Он лежит под простынею,
Как утопленник, сердитый,
И сдувает с носа муху

В ожидании слуги.

Но ответить не успеешь,
Легкий стук – и в дверь вливается
Гуттаперчевой походкой
Санаторский Гавриил.
Как грудным младенцам соску,
Он в постель приносит кофе...
Стыдно завтракать в постели,–
Отказаться нету сил.
Капли катятся вдоль шеи,
В масле нос и подбородок...
Кто бы взял меня на ручки,
Спеленал и поносил?

Запахнув халат, как тогу,
Мой сосед с кровати вспрянул,
Мыло в руку, руль налево,–
И гремит по ступеням.
Но, как вепрь, с горы сорвавшись,
Вдруг слетит в бассейн гаремный,
Так влетел он рикошетом
В умывальную для дам...
Ручки дергают за ручку,
Шорох бешеных сандалий
И за дверью два сопрано:
«Идиот!» «Гип-по-по-там!»

На веранде под балконом,
Дверь заставивши скамейкой,
Дамы солнечною ванной
Пропекают свой загар.
Наши окна над верандой...
Целомудренной рукою
Прикрываю плотно ставни,–
Скромность лучший Божий дар.
Ведь от зрелища такого

Архивариуса даже
Может в дрогнувшее темя
Хлопнуть солнечный удар...

Управляющий в столовой
Из замусленной пижамы
Мне с изысканностью светской
Протянул ладонь ребром.
Экономка с кислым вздохом
Только что ему напела,
Кто вчера, вернувшись в полночь,
Вместо брома принял ром...
Он в меня вонзает око,—
Но душа моя прозрачна,
Но глаза мои невинны,
Как кувшинки над прудом.

Под смоковницей бесплодной
Шахматисты – врач и повар,
Сдвинув лысины к фигурам,
Преют с важностью богов.
Даже шахматы вспотели...
Сбоку сфинксами застыли
Два ревматика в халатах.
Слышишь жесткий скрип мозгов?
Но петух, вскочив на столик,
Сдуру сдвинул все фигуры
И в истерике умчался
Под проклятия врагов...

На пригорке под мимозой
Распластались на циновке
Три весталки, два студента,
Я и утка без хвоста.
Кто прикрыл свой лик газетой,
Кто, головку томно свесив,
Смотрит вдаль, где куры в ямке

Копошатся у куста.
Кот на грудь ко мне взобрался,
Лезет к уху, старый евнух...
Превосходная карьера –
Быть подстилкой для кота.

Массажистка бреет ноги,
Не мои, свои, конечно.
Петухи друг друга лупят,
Выгнув грудь, как апаши...
Опрокинулась бутылка,
Повернуться б, да не в силах,–
И струею теплой хлещет
На бедро мое Виши...
Лень, праматерь всех пороков!
Я молюсь тебе сегодня
Упоенно и блаженно.
Из нутра моей души.

<1929>

На колониальной выставке

I

Тихое семейство

Медлительно-кроткие души,
Слон и слониха –
Две серые, грузные туши –
Шествуют тихо...
Меж ними виляет задом
Единственный сын,–
Папаша с мамашей рядом,

Бока, как надежный тын,
Слон нежно толкает слоненка
Пяткой под брюхо,
Слониха дышет ребенку
Хоботом в ухо...
За рвом лилипуты-людишки
Смеются, пищат.
Зонтики – шляпки – пальтишки,
Алая пыль и сад.
Родитель, фыркнувши гулко,
Раскрыл треугольником пасть:
«Бросьте ребенку булку.
Неужто так трудно попасть?»
Но люди молчат в смущенье,
Взглядом по палке скользя, –
На палке висит объявление:
«Кормить животных нельзя».
И вот, как гигантский робот,
Слон встал на цементный вал
И, ввысь закинувши хобот,
С акации гроздь сорвал...
Сунул закуску слоненку –
Ешь, дорогой!
А мать, склонившись к ребенку,
В восторге брыкнула ногой.

II

Негритянка

Черная Диана
В полосатом бурнусе
Ела банан
У камышовых ворот.

А вокруг прохожие,
Как любопытные гуси,
Стопились кольцом
И смотрели ей в рот...

Она их не видела,—
Не хотела видеть!
Глаза над толпою —
Холодное копье...
Но никто и не думал
Диану обидеть:
Смотрели на жирафа —
Теперь на нее.

Сквозь кусты из зверинца
Повеяло вонью.
Башня на солнце
Сверкала, как палаш.
Вытерла по-орловски
Рот ладонью
И, качаясь на бедрах,
Ушла в шалаш.

III

У пруда

Моторные лодки проползают лениво,
И в каждой лодке — шестнадцать голов.
Хорошо у пруда дуть черное пиво,
Не бродить по киоскам, не щупать ковров...
Только радио с дуба хрипло и грубо
О любви неземной исступленно орет,—
Ощущаешь всей кожей, как вверху из раструба

Излучается в воздух лирический пот...
Изможденные путники шаркают мимо,—
Сорок тысяч предметов и пара лишь глаз.
В автокарах, как редьки, сидят пилигримы:
Котелки и бинокли, и сиреневый газ.
Духота и пылица, распухли все гланды,
Башмаки разогрелись, рука, словно плеть...
Отдохну и пойду не спеша в Нидерланды.
Надо чучело буйвола там посмотреть.

1931

Колониальный день

Со сконфуженной улыбкой
Влез я в поезд лилипутский,
Подобрал повыше ноги,—
В сердце — ветер, в пятках — зуд...
Сквозь кусты летят-ныряют
Разноцветные киоски,—
Дети что ли их слепили
Из халвы и пастилы?
Тарахтят-гремят колеса...
Сонно озеро блеснуло.
Здравствуй, башня в бычьих мордах!
Сомали! Мадагаскар!
Дама рядом вертит ножкой...
Ах, сударыня, простите!
Не могу ж я разорваться —
Или башня, или вы...

Кругосветным хороводом
Обогнули круг волшебный:
В голове лапша цветная,
Гроздь крыш и куполов...
Полмилльона потных ближних!

Вправо двинуться иль влево?
В ресторан антропофагов?
Или к лону синих вод?
Под соломенным наметом
Глянцевитый, толстый идол
На меня уставил строго
Пупковидные глаза...
Я воткнул ему под мышку
Смятый свой путеводитель
И, пугливо озираясь,
Скрылся в зарослях кустов.

В итальянской строгой зале
Дышат ангелы прохлады...
На стене вдоль карт мигают
Светляками маяки.
За витриной мелкий жемчуг,
Пряжа, кофе и кораллы...
Но душа моя надулась:
«К черту пряжу! Ухожу!»
В нидерландском павильоне
Было, право, интересней:
На скамейке иностранка
Изучала томно план...
О кудрей льняная пряжа!
О лукавых губ кораллы!
И глаза, как зерна кофе –
По семнадцать франков фунт...

Дотащился до зверинца...
На площадке голой спали
Львы, безгласно повернувшись
К пестрой публике спиной.
В ров жираф забрался тощий
И, как нищий, клянчит пищи...
Я облатку аспирина
Сунул в рот ему, смутясь...

В три ряда на бурых скалах
Восседали павианы:
Может быть, у них был раут
Иль научный реферат?
На бугре облезлый страус
В пыль струей зеленой прыснул...
Я смущенно отвернулся
И пошел, вздыхая, прочь.

Все, что надо, я проделал:
Полчаса глазел, как негры,
Зверски дергая задами,
По помосту дули вскачь...
Обошел базар тунисский,—
Все духи там перенюхал
И купил зачем-то каску
Из прессованной трухи...
Купол крепости суданской
Власть глазами я ощупал,
Сосчитал вверху все палки,
Выпирающие вбок...
И потом стопой смиренной
Обошел я храм Ангкорский...
Ах, пожить бы в этом храме
Одному недели три!

Чтоб у входов часовые
Отгоняли всех знакомых,
Чтоб во всем огромном храме
Только я и дактило...
Чтоб... Но сумерки сгустились.
Выполз к озеру усталый...
О измученные пятки!
О прилипший воротник!
Переливчатым каскадом
Вспыхнул пестрый дым фонтанов,—
Я задумчиво и скорбно

Ел под елкой бутерброд.
Ел и думал, содрогаясь:
«Как теперь я с этой каской
Проскользну в метро ночное,—
В человеческую кашу,
В человеческий компот?!»

1931

Картофельная идея

Я давно уж замечаю:
Если утром в час румяный
Вы в прохладной тихой кухне
Кротко чистите картошку
И сочувственно следите,
Как пружинистой спиралью
Вниз сползает шелуха,—
В этот час вас посещают
Удивительные мысли...
Ритм ножа ли их приносит,—
Легкий ритм круговращения,—
Иль движения Жильберты,
Добродетельной бретонки,
Трущей стекла круглым жестом
Над карнизом визави?
Мой приятель, Федор Галкин,
У стола, склонясь над чашкой,
В кофе бублик свой макает
И прозрачными глазами,
Словно ангел бородатый,
Смотрит томно на плиту...
Если б он поменьше чавкал,
Если б он поменьше хлюпал,
Как насос вбирая кофе,—
Он бы был милей мне вдвое...

Потому что эти звуки,
Обливая желчью сердце,
Оскверняют тишину.
– Федор! – вдумчиво сказал я,
Чистя крепкую картошку:
– Днем и ночью размышляя
Над разрухой мировой,
Я пришел к одной идее,
Удивительно уютной,
Удивительно простой...
Если б, друг, из разных наций
Отобрать бы всех нас зрячих,
Добрых, честных, симпатичных
И сговорчивых людей,–
И отдать нам во владенье
Нежилой хороший остров,–
Ах, какое государство
Взгромоздили бы мы там!
Как хрусталь оно б сияло
Над пустыней мировой...
Остальные – гвоздь им в душу! –
Остальные – нож им в сердце! –
Пусть их воют, как шакалы,
Пусть запутывают петли,
Пусть грызутся, – но без нас.

Федор Галкин выпил кофе,
Облизал усы и губы
И ответил мне, сердито
Барабаня по столу:
«Я с тобою не поеду.
В детстве я проделал опыт –
В детстве все мы идиоты –
Сотни две коровок божьих
Запихал с научной целью
Я в коробку из-под гильз,
В крышке дырки понатыкал,

Чтобы шел к ним свет и воздух,
Каждый день бросал им крошки,
Кашу манную и свеклу,—
Но в неделю все подошли...
От отсутствия ль контрастов,
От сужения ль масштабов,
От избытка ль чувств высоких
Или просто от хандры?
Не поеду!» – Федор Галкин
Раздраженно скомкал шляпу
И, со мной не попрощавшись,
Хлопнул дверью и ушел.

1932

Пластика

Из палатки вышла дева
В васильковой нежной тоге,
Подошла к воде, как кошка,
Омочила томно ноги
И медлительным движеньем
Тогу сбросила на гравий,—
Я не видел в мире жеста
Грациозней и лукавей!

Описать ее фигуру –
Надо б красок сорок ведер...
Даже чайки изумились
Форме рук ее и бедер...
Человеку же казалось,
Будто пьяный фавн украдкой
Водит медленно по сердцу
Теплой, бархатной перчаткой.

Наблюдая хладнокровно

Сквозь камыш за этим дивом,
Я затягивался трубкой
В размышлении ленивом:
Пляж безлюден, как Сахара,—
Для кого ж сие творенье
Принимает в море позы
Высочайшего давленья?

И ответило мне солнце:
«Ты дурак! В яру безвестном
Мальва цвет свой раскрывает
С бескорыстием чудесным...
В этой щедрости извечной
Смысл божественного свитка...
Так и девушки, мой милый,
Грациозны от избытка».

Я зевнул и усмехнулся...
Так и есть: из-за палатки
Вышел хлыщ в трико гранатном,
Вскинул острые лопатки.
И ему навстречу дева
Приняла такую позу,
Что из трубки, поперхнувшись,
Я плотнул двойную дозу...

Из провансальской тетради*

Мистраль

Пускай провансальские лиры звенят:
«Мистраль – это шепот влюбленных дриад,
Мистраль – это робкий напев камыша,
Когда в полнолуние он дремлет, шурша,
Мистраль – переключка мимозных стволов,
Дубово-сосновая песня без слов,
Мистраль – колыбельная песня лозы,
Молитва лаванды и вздох стрекозы...»
Пускай провансальские лиры звенят, –
Я прожил в Провансе два лета подряд.

Сегодня в усадьбе бушует мистраль.
С утра замутилась небесная даль,
Летят черепицы с грохочущих крыш,
В истерике бьется безумный камыш,
У псов задираются к небу хвосты,
Из книги, шипя, вылетают листы,
Верандная кровля, как дьявол шальной,
Шуршащее чрево вздымает копной,
И кот мой любимый, мой вежливый кот
В отчаянье лапою землю дерет...
У моря ли сядешь – лопочет песок,
Струится за шиворот, хлещет в висок,
Колючие брызги врываются в нос,
И ветер горланит, как пьяный матрос.
В лесу ли укрытого ищешь угла, –
Пронзает сквозняк от ствола до ствола,
Вверху завывает чудовищный рог,
Взлохмаченный вереск скрежещет у ног,
А злое шипенье сосновых кистей
Вползает под кожу до самых костей...

Из хижины старой в окошко пляжу:
Дыбясь, виноградник ложится в межу,
Вздыхаются ленты засохших бобов,
И желчь приливает до самых зубов...
Кого бы зарезать? Кота или пса?
Над крышей шакальи хрипят голоса,
Под балкой качается сочная гроздь, –
И с завистью тайной косишься на гвоздь.
Душа – словно мокрый, слинявший чулок...
С размаху бросаешь тетрадь в потолок.
В ответ в очаге загудели басы,
И сажа садится, кружась, на усы.

В саду показался земляк-агроном,
Под мышкой баклага с пунцовым вином,
Рот стиснут, в глазах смертоносная сталь,
Прическу винтом завивает мистраль.
Влетевший за ворот воздушный поток
Из левой штанины вдруг вырвался вбок...
Спина парусит, и бока пузырем.
Буксирной походкой берет он подъем.
«С веселой погодкой, любезнейший друг!»
В ответ агроном описал полукруг
И вдруг превратился в живую спираль...
.....
О шепот дриады! О нежный мистраль!

1927

Ла Фавьер

Сбор винограда («В дверях стоит высокий, седоусый...»)

В дверях стоит высокий, седоусый,
Сухой, как Дон-Кихот, сосед-француз.
По-нашему, – «мужик», – но слово это
Не вяжется нимало с гибким станом,

Отменной вежливостью, плавностью манер,–
Принес в плетенке синих баклажанов,
Десяток фиг, да круглый штоф вина.
Откажешься – обида: дар от сердца...
Долина провансальская щедра...
А просьбица, конечно, между прочим:
«Наутро сбор, отяготели лозы,
Ссыхается и вянет виноград...
В Марселе дети... Что им здесь в деревне?
Вокруг – безлюдье. Милости прошу...»
Мы чокнулись. Винцо совсем не плохо:
Гранатный цвет, густой и терпкий запах,–
Достойный сок для медленных плотков.
Рукопожатие. До завтра. Ровно в семь.

* * *

Лениво солнце брызжет над холмами.
Вдали в долине сизый влажный пар.
В руках тупые ножницы с пружиной.
Под лозами кирпичная земля.
Все маскарад – и этот старый фартук,
И этот мирный, благодатный труд,
И рук чужих неспешное движенье,
И ножниц звяканье среди безмолвных лоз...
Но близко все... Как песнь из детской книги,
На перепутье всплывшая в душе.
Жена хозяина, увядшая Церера,
В соломенной – корзиночкой – шляпке,
Под подбородком затянула бант.
Мы с нею рядом. Сквозь резные листья,
Склонившись к гроздьям, взглянет на меня
И улыбнется вежливо и кротко:
Не правда ли, как наш Прованс красив?
Вы – чужеземец? Там, у вас в России,

Стряслась какая-то, слышали мы, беда?..
Что ж, поживите в ласковом Провансе,–
Здесь хорошо... и места хватит всем,–
Так я толкую кроткую улыбку
И взгляд участливый еще прекрасных глаз.

* * *

За гроздью гроздь летит в мою корзину,–
Крупны, как слива, сочные плоды,
Налет свинца сиреневым румянцем
Тугие виноградины покрыл...
Под сенью листьев налитые кисти
Просвечивают матовым стеклом.
Вот розовый-медовый «Барбаросса»,
Вот желтая-янтарная «Шасла»,
Вот черный-иссиня... Прижмешь к ноздрям – вино!
Полна корзина... Вскинешь на плечо –
Быка бы, кажется, через плечо забросил –
И, спотыкаясь, вдоль разрыхленной гряды
Бредешь к чернеющим у хижины корчагам.
Сползают гроздья в тесное дупло,
Пестом корявым их тесней притопчешь,
Сок хлюпает и радостно шипит.
Раздолье пчелам! Пьют не отрываясь.
Мул у стены, ушастый гастроном,
Кисть оброненную вмиг притянул губами
И хряпает, расставив ноги врозь,
Закрыв глаза в блаженном упоенье...
А рядом на соседней полосе
Верзила-парень, долговязый циркуль,
Застрял в кусте: одной рукою в рот,
Другую – в крутобоковую корзину.
Обычай свят: во время сбора ешь,
Не разоришь хозяина, хоть лопни!

Хозяйские внучата между тем,
Лукавые мальчишка и девчонка,
Подкрались сзади к парню, как лисята,
И вымазали вмиг его лицо
Густым багряным соком винограда...
Смеется бабушка, сам парень гулко ржет,
И заливаются неудержимо внуки...
Обычай свят: во время сбора – ешь,
Но если вымажут, то, чур, – не обижайся!

* * *

Под зыбкой тенью перечных деревьев
За трапезой полуденной сидим...
На старом ящике палитра вкусных яств:
Багровый срез ослиной колбасы,
Янтарный сыр с коралловою коркой,
Ковш с фигами, – вдоль кожуры лиловой
Припали к трещинкам тигровой масти осы...
Надломишь хлеб – так вкусно хрустнет корка!
Жужжит над бровью пьяная пчела,
В сентябрьском солнце мягко мреют горы,
За скатом шлепает дремотная волна,
И листья лоз так ярко-изумрудны,
И бархатный так темен кипарис,
Что закрываешь медленно глаза,
Чтобы раскрыть их в изумленье снова...
На что смотреть? На дальние леса?
На синие глаза хозяйской внучки?
На сизый остров в дымной полумгле?
В руке стакан. Чуть плещется вино...
Благослови, Господь, простых чужих людей,
Их ясный труд и доброе молчанье,
И руку детскую в ладони неподвижной...

<1928>

Городок

У подножья лесных молчаливых холмов
Россыпь старых домов.
Пирамидкой замшелой восходит костел,
Замыкая торжественно дол.
В тихой улочке стены изгибом слились.
Спит лазурная высь...
Парусит занавеска над входом-норой.
Гусь кричит под горой.

Здесь, в лавчонке глухой, отдыхает душа.
Выбирай не спеша
Стопку старых конвертов, лежалый бисквит,
Колбасу из ослиных копыт...
Пахнет затхлой корицей, алеет томат,
Мухи томно жужжат,
И хозяин, небритый сухой старичок,
Равнодушен, как рок.

Вот и почта. Над ящиком стерлись слова.
Под окошком трава...
Опускай свои письма в прохладную щель,
Господин менестрель!
За решеткой почтмейстер, усатый бандит,
Мрачно марки слюнит.
Две старухи, летучие мыши в платках,
Сжали деньги в руках.

И опять я свободен, как нищий дервиш.
Влево – мост и камыш,
Вправо – тишь переулка, поющий фонтан,
И над плеском – лохматый платан.
Колченогие старцы сидят у быстро,
Олеандр пламенеет пестро...

Средь домов вьется в гору дорога-змея,
И на каждом пороге – семья.

Сквозь каштаны пылает сверкающий диск.
Площадь. Пыль. Обелиск.
Как во всех городках, этот камень простой
Вязью слов испещрен золотой.
Имена, имена... Это голос страны,
Это скорбное эхо войны:
«Кто б ты ни был, прохожий, замедли в пути
И детей наших мертвых почти».

Я склоняю чело... Здесь вокруг – их земля,–
И холмы, и поля...
Только звона своих колокольных часов
Не слышать им вовеки веков,
Только в глине чужой под подножием креста
Обнажились оскалом уста,
Только ветер чужой, вея буйным крылом,
Напевает им черный псалом...

Воробьи налетели. Под дерзкий их писк
Обогнул обелиск.
На решетке, качаясь, висят малыши,
Голубь взвился в тиши...
У последнего дома кудлатый щенок
Изгибается в льстивый клубок:
«О прохожий, зачем ты уходишь к реке?
Разве плохо у нас в городке?»

<1928>

Деревенские удовольствия

Странная игра

Под лозой лопочет гулко речка.
На лозе трепещет стрекоза...
Я тянусь. Вот-вот схвачу... Осечка!
Из-под пальцев взвилась егоза.

И опять садится. Плеск волны.
«Начинайте, милый друг, сначала».
Так со мною в Петербурге до войны
Некая медичка поступала.

II

Первый опыт

Теоретически все это так легко:
К айве веревкой прикрутить козу,
Сесть под козой на табурет внизу,
Взять за сосцы... И брызнет молоко.

Увы, увы... Практически не так:
Коза ногой прорвала мой пиджак,
Веревка лопнула, сосцы умчались в сад,
Пытаюсь встать... и падаю назад.

III

Отрезвление

Склонивши лоб, лечу в местечко
На двухколесном рысаке:
«Бумага, хлеб, чернила, свечка»,—
Подробный список в башмаке.

Душа, как огненная роза...
Но ведь и розе не прожить
Без орошенья и навоза.
Уймите, Муза, вашу прыть!

Из-за мечтательности вашей,
Вчера к столу придвинув стул,
Я сдуру в чашку с простоквашей
Перо шальное окунул.

Ведь так дойдешь и до горчицы...
Пора очнуться! Руль в руке...
Вертитесь, бешеные спицы!
Подробный список в башмаке.

IV

Бегство

Я проснулся и спичкою чиркнул о стул...
В низкой комнате плеск, и шуршанье, и гул.

Ведьма, что ли, влетела в ночное окно?
Трепыхается свечка, в аллее – темно.

Задрожал я до пяток, как в бурю камыш:
Над башкой прочертила летучая мышь!

Острогранным зигзагом – вперед и назад...

Разве я заколдованный дьяволом клад?

Пять минут я штанами махал в вышине,
Но не выдержал, – сдался, – скользнул по стене,–

И, по лестнице темной сбежав босиком,
На ларе под часами свернулся клубком.

1928

Пюжест

В Марселе

I

Среди аллеи на углу базар:
Кувшины стройные, цветистые рогожки
И пестрые тунисские дорожки
По-деревенски радостны, как жар...
А под платанами гирляндами висят,
Как кремовый гигантский виноград,
Чудесные густые ожерелья...
– Скажите мне, что это за изделия?
Не погремушки ль для слоновьих ног?
Иль для верблюжьей сбруи украшенья?

* * *

И спутник мой, без тени восхищенья,
Мне отвечает коротко: «Чеснок».

II

На козлах толстый франт
С бичом в ленивой лапе.
В оглоблях Россинант
С гвоздикую и в шляпе.

Рассевшись, как бебе,
Под белым балдахинцем,
Ты кажешься себе
Почти персидским принцем...

Навстречу в две стены
Плывут бурнусы, фески,
И белые штаны,
И медные подвески...

Румяна и жирна,
Под пальмовым наметом
Марсельская Нана
Торгуется с пилотом.

Внизу синеет порт
В щель улицы-колодца.
В душе веселый черт
Все веселей смеется...

Но кляча стала вдруг,–
Глаза, как две черешни!
«Куда?» – «Не знаю, друг,
Я, милая, не здешний».

III

Посмотри, посмотри, как вскипает, как пенится след!
Чайки низко над нами летят вперегонку...
Провансалец-старик надвигает на брови берет,
Смотрит вбок на сапфирный лоснящийся цвет
И в мотор наклоняет масленку.

Раздвигается порт. Вкусно пахнёт соленая даль.
За спиной над домами янтарная мгла и пылица.
На волне, отражая дрожаще-цветную спираль,
Пароходы пустые открыты до ржавого днища.
Удирает душа... Ничего на земле ей не жаль.

Паутиной стальной маячит воздушный паром.
Спят подъемные краны, амбары пустынь и резки.
Островок, как дракон, промелькнул острозубым бугром,
Мол растаял и косо отходит гранитным ребром.
Закачался наш катер... Веселые брызги и всплески!

Далеко-далеко чуть сквозит желто-серый Марсель.
Богородица – щит рыбаков – золотится над далью.
Развертелась моторная прялка – журчащая трель,
Хрусталем васильковым вспухает морская постель,
Переливчатой льется эмалью...

Повернули назад. Не навек же заплыли сюда...
Катер мал. Надо жить, и ходить, и работать, и драться.
Ты послушай, послушай, как гулко лопочет вода!
На часок из тюрьмы отпускает судьба иногда,
Час промчался... изволь возвращаться.

Вырастают седые дома, расплывается мгла.
Флаг наш вяло повис – скучно в гавани виться и хлопать...
Как гагары, качаются лодки, томительно пахнет смола.
У камней полукругом кишат-копошатся тела –
Это люди смывают марсельскую копоть...

<1928>

На току («По овсяным снопам...»)

По овсяным снопам
Возит мул допотопный каток,
Свесил голову вбок,
Подбирает колосья к зубам.
Шелестит карусель...
Напрягает все мускулы мул,
Раздувает бока,
А хозяин уселся под ель,
Трубку в зубы воткнул
И дымит в облака.

Ходит мул без конца...
И бормочет, и фыркает в нос:
«Надо в поте лица
Добывать свой насущный овес!»
А за толстым гранитным катком
Ходят гуси гуськом
И, шипя и косясь на бревно,
Не трудясь, подбирают зерно.

Слышишь, веялка мерно пыхтит?
Пыль из устья раструбом летит.
Русский запах овса – благодать!
Ты вертись, ты вертись, рукоять...
Раздобрели мешки,
Как поповны, толсты-широки...
Напрягая хребет меж колес,
Мул в сарай на двуколке их сvez.
Плавно вздулось белье на лугу.
На току – ни души,
Только голуби бродят в кругу.
На овсяном стогу
Человек разметался в тиши...

Жук в соломе шуршит у волос,
Над глазами – метелкой овес.
Гаснет в небе коралловый пыл,
Аметистом пронизана даль,
И над бором – родная печаль –
Левитановский месяц застыл.

1928

Пюжет

Прованс

У колодца

Из моря вышло кроткое солнце
И брызнуло в сосны янтарной слюдой.
Беру ведро и по светлой тропинке
Спускаюсь вниз вдоль холма за водой.
А сзади фокс, бородатый шотландец,
Бредет, зевая, за мной по пятам.
Здравствуйте, светло-зеленые лозы!
Шелест ответный бежит по кустам...
Над пробковым дубом промчалась сорока,
Внизу, над фермой завился дым...
Вот и колодец – за старую фигой –
Замшелые камни кольцом седым.
Ведро, звеня, опускается в устье,
Так сонно пищит чугунный блок.
Сквозь щит ежевики склоняешься к устью:
Дрожит и плещется темный кружок, –
Как будто во влажную душу природы
Заглянул ты в ранний безмолвный час...
Упруго взбегает тугая веревка,
В оцинкованном лоне студеным алмаз.
Голубеет вода переливным лоском,

Тихо качает ржавым листом...
Прикоснешься губами, пьешь – не напьешься
И мысленно вертишь кентаврским хвостом.
Ты, фокс, не зевай, городская собака!
Взгляни, как ветер кудрявит лозу,
Как с гулким звоном вдоль светлой дороги
Проходят тучные овцы внизу...
Пойдем-ка к дому тихо и чинно.
Все крепче свет на сосновых стволах,
И яро скрежещут, проснувшись, цикады
Во всех зеленых, лесных углах.

Ферма

Весь дом обшит навесами –
Щитами камыша.
Кот на щербатом столике
Разлегся, как паша...
Петух стоит задумчиво
Среди своих рабынь.
Сквозь темный лоск шелковицы
Ликующая синь.
Лук тучными гирляндами
Свисает вдоль стены.
Во все концы симфония
Бескрайней тишины...
Под лапчатой глицинией
На древнем сером пне
Сидит хозяйка дряхлая,
Бормочет в полусне...
Она не знает, старая,
Что здесь над ней вокруг
Земное счастье тихое
Сомкнуло светлый круг...
Два олеандра радостно

Качают сноп цветов,
Мул на дорогу сонную
Косится из кустов.
Стеною монастырскою
Со всех сторон камыш,
И море блещет-плавится
В просветах хвойных ниш.

На холме

Разлив остролистых каштанов,
Над ними – пробковый дуб,
А выше – гигантские сосны
Вздымают по ветру чуб.
Сторонкой угольщик старый
С мешком спускается вниз.
Качнулся игрушечный парус
Над блеском сияющих риз.
Лежу на прогретых щепках...
Под скрежет цикадных пил
Хотя б провансальский леший
Со мною мой хлеб разделил...
Ау! Но из бора ни звука.
Не видит, не слышит. А жаль...
Мы б слушали строго и молча,
Как ржет за ущельем мистраль.
Мы б выпили вместе по-братски
Из фляжки вина в тишине,
И леший корявою лапой
Меня б потрепал по спине.
Должно быть, застенчивый малый,
Зарывшись за камнем в хвою,
Зелеными смотрит глазами
На пыльную обувь мою.
Ну что же, не хочет – не надо...

Я выпью, пожалуй, один.
За ветер! За светлое море!
За мир провансальских долин.

<1930>

В осенний день

Сквозь небесное сито весь день моросил
Тусклый, серенький дождик.
Хлопья туч паутиною рваной носились
Над Северным морем...
Мы бегали к морю прощаться –
Смеялись, толкались,
Писали на старых купальных будках
Свои имена,
Махали, как дураки,
Хмурому морю платками...
Итальянец, быть может, завыл бы
От этой бескрайней мглы,
От ив прибрежных, пронизанных мокрою пылью,
От диких скудных песков, –
А мы обнимали глазами серый залив,
Серые будки, нашу серую дачку,
Даже серый, заплыванный грязью забор.
И запах прели:
Сыроежки, промокший вереск, кленовые влажные листья, –
Вьелся нам в складки души и портпледов
На долгие годы.
Бутылка пуста, но вино было густо:
Вспомни, закрой глаза и вдохни...

И вот теперь: юг, Прованс – благодать...
Но только небо обложат низкие, круглые тучи,
И синее море станет графитным,
И песок закурится в дюнах,

Свиреля знакомым северным свистом,
А над холмами дымная опустится мгла,
И ветер сырой во всех кустах залопочет,
С усмешкою слушаешь жалобы
Фермеров здешних и рыбаков:
«Ах, какая погода! Какая, сударь, погода!»
В предчувствии долгих дождей душа оживает,
Как белый медведь в осенний холодный день
В своем парижском бассейне...
Даже банки с грибами в лавках местечка
Вдруг стали родными –
А летом глаза на них не смотрели.
Жду не дождусь:
Плеска, журчанья, мокрого блеска коры,
Гулкого плача воды, струящейся с кровли,
Запаха глины размытой,
Улиток, ползущих вдоль липкой скамейки...
Вереск оживший
Сиреневым дымом холмы расцветит,
И бодрая осень
Протянет волнистые пряди тумана
Из Прованса –
К далекой северной дачке...

<1930>

В рыбацьем местечке

Русалки в широких матросских штанах
Развинченно бродят по пляжу.
Семейство марсельцев, обнявшись в волнах,
Взбивает жемчужную пряжу...
У будки прилизанный юноша-сноб,
На камень взобравшись отлогий,
Пытается встать для чего-то на лоб,
Мохнатые вскинувши ноги.

Под зонтом, усевшись на клетчатый плед,
Спиной к облакам и заливу
Какой-то соломенно-бронзовый швед
Ест с детской улыбкою сливу.
Вскипает волна – темно-синий удав,
Весь берег в палатках узорных,
И дети, испуганно губы поджав,
На осликах едут покорных...
Но вот из-за бора летит гидроплан,
Косые снижаются лыжи,
Скрежещет гигантской цикадою стан
И вихрем несется все ниже:
Взметнулась снопом водяная межа –
И дамы, собаки и дети
Бегут, спотыкаясь, пища и визжа,
К свалившейся с неба комете.

* * *

За пляжем у тихой дремотной луки
Темнеют дорожками сети,–
Пингвинами ходят вдоль них старики
И ноги волочат, как плети.
Носы их багровы, тела их грузны,
На них пояса, как подпруги...
Часами недвижно сидят у сосны,–
Что больше им делать на юге?
А их сыновья, мускулистый народ,
Надвинувши лихо береты,
Играют в шары, наклонившись вперед,
Полуденным солнцем прогреты.
У мола цветные домишки в тени,
Над трубами дым, словно вата.
Не раз рисовали мы в детские дни
Такие домишки когда-то...

Тоится густой виноград на стене,
Чуть дышат под окнами шторы,
И кот созерцает, как в сонной волне
Полощатся дынные корки...
На скамьях кружок молчаливых старух –
Красавиц былых привиденья.
Их руки не в силах согнать даже мух,
Иссохшие руки-поленья...
И вдруг повернулись: с курортной черты
Зашла в шароварах наяда,
Гримасой сжимаются дряблые рты
И столько в гримасе той яда,
Что сам Вельзевул, покраснев, как морковь,
Закрылся б плащом торопливо...
Но дева чуть морщит безбровую бровь
И бедрами вертит лениво.
Девчонка-подросток со вздохом глухим
На гостью глядит городскую...
За лесом крылатый корабль-пилигрим
Врезается в синьку морскую.

1931

Разъезд

I

Дрожит осенний воздух винный.
Бескрайно море. Тишина.
В последний раз на пляж пустынный
Приходит Настя Дурдина.

В воде студеной плещет робко
Порозовевшею стопой...
Опять в Париж – массаж, и штопка,

И суп с перловой крупой.

Бор скован сизой полутьмою,
На каждом камне – Божья кисть...
Но что же делать здесь зимою?
Не камыши ж на пляже грызть.

Она в раздумье полусонном...
Под рокот ласковой воды
Париж не кажется ей лоном
Забот, несчастий и нужды,–

Ни муравейником бездушным,
Ни злой мансардною тюрьмой:
Душа плывет путем воздушным
Туда – в Париж... К себе – *домой*...

Волна качается лениво,
Сливая в пляске янтарей
Уют осеннего залива
С каморкой серенькой в Отей.

II

Мул везет по шоссе чемоданы,–
Навалили горой – наплевать...
Чужестранцы... Наедут и схлынут.
А другие приедут опять.

В чемоданах купальные тряпки,
И спиртовки, и русский роман.
А сверху жестяная коробка
Тарахтит, как лихой барабан.

На двуколке французская баба

Сонным басом кричит на мула.
Ветер старые фиги качает,
Над холмами пушистая мгла...

А вдоль пляжа бредут русопеты.
Дети тащат под мышкой кульки,
Старичок в допотопном пальтишке
На ходу поправляет носки.

Кто-то в море заехал ботинком,
Чертыхнулся и сел на песок.
Худосочная хмурая дева
Обернулась на дальний мысок.

Вот и будки – стоят, как солдаты,
На пустое глядят казино.
Пальма жалкие перья топорщит,
В море – холодно, пусто, темно...

Посчитались: никто не растаял.
Старичок зонтик с палкой связал.
За платаном игрушечный домик,
Бледно-розовый тихий вокзал.

1931

В Борме

I

Борм – чудесный городок,
Стены к скалам прислонились,
Пальмы к кровлям наклонились,
В нишах тень и холодок...
Реет замок в вышине.

За террасою у школы
Скат зеленый и веселый
С тихим морем в глубине...
Как цветущий островок,
Дремлет Борн в житейском шторме,
Но всего прекрасней в Борне
Смуглых девушек венки.
Ах, какие здесь глаза!
Щелкнут черные ресницы,—
И до самой поясицы
Так и вздрогнешь, как лоза...
Поступь, каждый поворот...
Что ни девушка – Диана.
Стань на камень у фонтана
И смотри, разинув рот.
Но присядь-ка к ней рядком:
От божественного тела
Нестерпимо, одурело
Так и пышет чесноком!

II

Сажу на площади в кафе,
Под тентом вьются мошки...
У ног сидят и смотрят в рот
Три инвалидных кошки.
Одна, – хозяин объяснил,—
Автомобилем смята.
Другой отъели крысы хвост,—
Жестокая расплата!
У третьей сбоку вырван клочок,
Дуэль с бульдогом в роще...
У всех у трех горят глаза,
Все три, как ведьмы, тощи.
Прозаик на такую тварь

Взглянул бы равнодушно,
Но я, поэт, могу ль при них
Жевать свой сыр насущный.
Скормил уродам весь кусок,
А сам глотаю слюни.
Зато душа моя чиста,
Как бабочка в июне...
Три кошки лижут животы,
Смотрю на скалы фатом...
Приятно, черт возьми, порой
Быть знатным меценатом.

III

С детства люблю захолустные лавки...
Пахнет корицею, луком и воском.
Кот круглорожий сидит на прилавке,—
Сытая спинка подернута лоском.
Глажу его, словно давнего друга...
Что же купить мне: тетрадку иль свечку?
Кактус за дверью вздымается туго,
Лента дороги сбегает к крылечку.
Школьницы — две черноглазые мышки —
Горсть переводных купили картинок.
Старенький ксендз в запыленном пальтишке
Щупает связку холщовых ботинок...
Черт меня знает, зачем мне все это...
Сердце пронизано завистью смутной.
Как старомодная сказка поэта,
Мирный клочок этой жизни уютной.
Лавочник толстый с отцовской улыбкой
Мне завернул шоколадную плитку.
Ленты мимозы качаются зыбко,
Месяц в небесную выплыл калитку...
Что же стою на щербатом пороге?

К дьяволу! Лавка, как лавка... Видали.
Мало ль своей, настоящей тревоги,
Мало ль своей, неизбывной печали...

1931

Летний дневник*

Из летней тетради

I

Пьяный мотылек

На ночной веранде столик.
Лампа. Алый блеск вина...
Мотылек, ты алкоголик!
Ты упьешься допьяна...

Но припал он и не слышит,—
Восемнадцатый глоток!
Ветер крылышки колышет,
Жадно ходит хоботок.

Обсосал края бокала
И в вино свалился вниз.
«Нет блаженнее финала»,—
Тихо молвил бы Гафиз.

II

Душ

В саду расплавленная лава.
На кухне – пекло, в спальне – сушь.
Но там, под елкою, направо –
Прохладный душ.

В кругу рогож, как хризантема,
Стою, глаза потупив ниц.
Над головою – диадема
Из зыбких спиц.

Бокам свежей... Трясется будка.
Я наслаждаюсь, грудь раздув.
Но вот из-под рогожи утка
Продела клюв.

Все подбирается поближе, –
Кряхтит и плещется у ног.
Как стали девушки бесстыжи!
Помилуй Бог...

III

Парадокс

Кричит котенок, просится: «Возьми!»
Ну что ж, поняньчу, пусть не плачет.
И пес перед дверьми
Припал к ногам и нос в колени прячет.
Коза под деревом, веревку натянув,
Вытягивает морду благосклонно,
И старый гусь, склонив учтиво клюв,
За мной шагает, словно бонна!

Земные парадоксы странны...
Как разобраться в такой причуде?
В Париже – озверели люди,
А здесь, в глуши, – скоты гуманны.

IV

Постирушка

Все на свете условно...
У колодца в корыте
Я стираю любовно
Носовые платки.

Осы вьются над чубом.
Пена брызжет в ресницы...
В упоенье сугубом
Полощу и свищу.

Но с судьбою не сладить:
Нету полного счастья!
Не умею я гладить, –
Не умею, хоть плачь...

<1928>

Пикник

I

Добрый конь автомобильный,
Отдуваясь, тянет в гору.
Высоко над головою
Пирамидки хвойных вех.
Справа срыв – крутая бездна,
Над глазами – веер неба,
На коленях русский мальчик,
За спиною – русский смех...

Из долины раскаленной,
Из глухих безводных склонов
Мы на долгий день сегодня
Едем к ласковой воде:
К средиземному заливу,
К влажно веющему ветру,
К задремавшему простору,
К зыбко льющейся слюде.

Путь все круче и змеистой.
Пролетели мертвый город,—
Как Петрушка, из окошка
Сонный вынырнул толстяк.
И опять к нам жмутся скалы,
Остролистые каштаны,
Одичалые руины,
И душистый хвойный мрак...

Мальчик молча барабанит
По руке моей раскрытой:
Даже дух перехватило —
Столько детских здесь чудес!
Вдруг за узким поворотом
В рамке скал, легендой синей,
Море, радостное море,
Синькой брызнуло сквозь лес.

II

Австралийским диким цехом
Мы сидели под сосною:
Дама тонкая, как струйка,
Дама пышная, как шлюз,
Франт-шахтер землисто-пегий,
Голиаф — полковник-фермер,

Агроном с глазами Леды,
Я и мальчик. Полный груз!

Вас купальные костюмы
Не шокируют, читатель?
Не смущайтесь. Летом жарко –
Летом сам Нептун без брюк...
Опустив глаза в кастрюлю
(Не в буквальном, впрочем, смысле),
Час мы чистили картошку,
Сельдерей, морковь и лук.

Это пресное занятие
Под густые вздохи моря,
Под протяжный шорох сосен
Убаюкивало нас...
Запиши в блокнот настольный:
То, что в кухне нам противно,
Здесь у моря нас пленяет,
Словно арфа в лунный час.

А потом пошли купаться...
Здравствуй, синее раздолье!
Здравствуй, мыс зеленокудрый!
Здравствуй, лодка, здравствуй, краб!
Мы ныряли, как сардинки...
А потом, раскинув руки,
На спине я закачался,
Как маститый баобаб...

Над лицом плясало солнце,
Сосны кланялись мне в ноги,
Пансион каких-то рыбок
Чуть не вплыл в раскрытый рот.
Мальчик в радостном испуге
За мою держался пятку,
А его большая мама

Колыхалась, словно плот.

О, как вкусен борщ у моря!
Жирный борщ с бараньей ляжкой,
Борщ, в который каждый сыпал
Сколько влезет овощей...
Даже стыдно, право, вспомнить,
Сколько съели мы тарелок,
Растянувшись в позе римлян
Средь разбросанных вещей.

Франт-шахтер, как зебра пегий,
Примостился к хрупкой даме
И в галантном настроенье
Отгонял фуфайкой ос.
Остальные... захрапели.
Вы слышали, как тюлени
На прибрежных теплых скалах
В носовой свистят насос?..

Я скользнул тихонько в чащу,
Сел у пня, скрестивши ноги,
Комара на шее хлопнул
И задумался... О чем?
Это знают только осы,
Ветер, веющий в ресницы,
Пролетевшая сорока
И мимоза над плечом...

III

Мы летим домой, на хутор...
Мрак. Гудок ревет, как дьявол!
Впереди над фонарями
Взмыла глупая сова.

Заяц дикими прыжками
Поперек шоссе промчался...
К счастью, к горю? Все забыл я,—
Все приметы, все слова.

Мальчик спит, прильнувши к локтю
Ветер жалобно лопочет:
«Ты живи, живи, не бойся!
Кто боится, тот дурак...»
Спорить с ветром бесполезно...
Гладь шоссе летит навстречу,
Полотно, толчок на рельсах,
И опять нырнули в мрак.

Вот и наш уездный город.
Три сестры стоят обнявшись,
Почтальон гуляет с теткой,
В небе лунное серсо.
К двум платанам-великанам,
К ресторану «Храбрый Кролик»,
К озаренной куще сада
Подкатило колесо.

Мы сейчас под светлой липой
Есть мороженое будем.
Надо кончить день по-детски —
Это самый мудрый стиль...
Даже мальчик наш проснулся,
И опять... головку набок.
Мошкара под лампой пляшет
Провансальскую кадрили.

1928

Ливень

В конюшне старой скрылся я от бури.
Сквозь дверь раскрытую клубились облака...
Вдали клочки лазури,
Залив шипящий и гряда песка.
Под ветром виноградники мотались,
Гудел тростник,
Влетали пчелы, пели, волновались.
Мой пес приник к колену и поник.
Листва взлетала стаею зеленой,
Пылил очаг холодной золой,
Сверкнула молния в разрыве тучи сонной
Коленчатой иглой...
Раскатистой волною грянул гул,
Графитный шлейф к холму спустился круто,
Тростник притих, вздохнул,—
И хлынул ливень весело и люто.

* * *

В дверь вдвинулась дымящаяся потом
Седая голова коня...
Втянулась, сбруею звеня,
Спина, покрытая клеенчатым капотом,
А сзади фермер, сгорбленный старик,
Мешок на голове, — в глазах тревога:
Кипит ключом размытая дорога.
И ветер дик!
По треплющейся гуще винограда
Хлестнули комья града...
Грудь и лицо подставивши грозе,
Промчался он к взлохмаченной лозе.
С осколком льда на скрюченной ладони
Бежит назад... Не убран виноград!
Ко мне растерянный он обращает взгляд,—
Вихрь рвется в дверь, как дух погони...

Прибиты гроздя влажные к земле,
Град по межам взбухает белой грядкой,
А у холма все гуще на челе
Венец лиловый вьется темной складкой.

* * *

О Господи, не осуди меня...
Тревога фермера сознания не задела,—
Я жадно вдаль смотрел и слушал, онемелый,
Размерное дыхание коня.
Нет у меня ни виноградника, ни крыши,—
Глаза остались... Листья мчались выше,
Воды бурлящей желтые извивы
Неслись у ног в залив,
Сквозь дым дождя кусты вздымали гривы,
И ослепителен был молний перелив...
Такой библейской красотой и силой
Была полна разящая гроза,
Так радовался ветер буйнокрылый,
Так трепетала влажная лоза,
Что, если бы в тот дикий миг
Стрелой небесною Господь меня настиг,—
Улыбка беззаботная сковала б
Немые, почерневшие уста...
.....

1929

В море («Мы плыли с острова Пор-Кро...»)

Мы плыли с острова Пор-Кро
В моторной лодке...
Волны боковые

С шипящим шумом хлопались в борта.
С гребня вновь на гребень
Всползала грузно лодка
И вновь в лоснящиеся скаты низвергалась.
Муть подступала к сердцу...
Мы все притихли,
И даже дети на крутом носу
Встречали веер брызг молчаньем.
Француз-рыбак, веселый провансалец,
Насупившись, брал в лоб шальные волны,
Чтобы удары гулкие ослабить...
Мигнул подручному, – и коренастый малый
Обвисший рыжий парус вздернул ввысь.
Раздулась грудь, конец залопотал,
Канат из рук толчками вырывая...
Воздушным першероном
Косящий впрягся парус
Машине в помощь...
Тяжко-тяжко
Брал бот за валом вал.
С журчащим рокотом ручьи к корме струились,
И нудно пахло маслом.
Как сердце старое,
Прерывисто и глухо
Стучал мотор.
А в небесах над нами
В торжественной беззвучности заката
Пылали облака...
От края и до края,
Пунцово-золотые,
Перебегали струны.
Над нашим грузным ботом,–
Усталою, ныряющей собакой,–
Над нашим жалким скарбом,
Качающимся яростно у ног,
Над нашим содроганьем и борьбой
Дышала тишина...

Оранжевые тихие утесы
Вставали полукругом над водой,
И засыпающая даль сливала волны
В лиловую пустыню.
Лишь чайки, крылья изогнув серпами,
Парили в зыбкой мгле...
Я к борту прислонился,—
Муть подступала к сердцу,
И странную беззвучную молитву
Уста мои шептали:
«Не дай, о Господи, Твой вечер золотой —
Благоуханное и нежное молчанье —
Мне осквернить недомоганьем мерзким...
Смири хребты разнузданных валов...
Я грешен, зол, и дик, и невоздержан,—
Дай мне ступить на твердый край земли,
И Ты увидишь — я исправлюсь...»
И вот свершилось...
Как будто благостная, властная рука
Смирила волны маслом.
Мы обогнули алую скалу.
Валы ягнятами покорными свернулись,
Сквозь мглу прибрежные мигнули нам огни,
Вновь на носу защебетали дети,
И я, из-под скамьи достав бутылку,
Припал к ней с облегченьем...

1931

Вода

В городе кран повернешь — брызнет хрустальный поток,
Хоть до карнизов залей всю квартиру...
Никто в городах о воде и не вспомнит,—
По трубам, жилам подземным, взбегают до острых мансард,
Равнодушно внимаешь знакомому плеску,

Как гулу вечерних трамваев...
Но здесь, на холме, у залива –
С ранней зари о воде все заботы.
В цистерне под тихой верандой
Подынешь чугунную крышку:
Дождевая, от солнца укрытая влага,
Все убывает... Пьют много – жарыща, –
Чайник не сходит с плиты.
Руки хватаются то за топор, то за грабли, –
Ежеминутно надо с ладоней смывать
Пыльный налет...
И вот – в подмогу цистерне
Внизу у оливы колодец.
Фермер с широкой улыбкой только руками развел:
«Берите! Хватит на вас, на меня и мула...
Кто в Провансе откажет соседу в воде?..»
И вот, сквозь вереск шершавый,
В гору кувшин несешь, отдуваясь...
Ветер пищит в волосах, плещется сонная влага,
Пес, как приклеенный, сзади бредет по пятам,
Пасть широко разевая...
Всласть из чашки своей наверху он напьется,
Студеной водой остудит горячую плотку
И хвостом благодарно вильнет.
А под вечер – только багряные мальвы
Холмы увенчают закатным венцом, –
Ведро за ведром притащишь к крыльцу
И щедрой рукой зеленых польешь малышей:
Олеандры, мимозы, глицинию, тонкую грушу
И перечных два деревца...
Жадно сухая земля вбирает светлые струйки
И гибкие ветви, качаясь, как будто шуршат:
«Спасибо, спасибо...»
Вот и сосед – доктор с женой и мальчишкой,
Каждый несет свою дань, ухмыляясь:
Большое ведро, поменьше и детскую лейку.
Чайник огромный мы ставим на низкий очаг,

Кора заворчала, взметнулись веселые искры,
С первыми звездами в воздухе дымном сливаясь.
Старый фонарь под навесом горит маяком,
Гулкие капли из края цистерны
Медленно капают в таз,
И осы, одна за другою, слетаются пить...

1931

Сбор винограда («За рядом ряд обшариваем лозы...»)

За рядом ряд обшариваем лозы.
Полнеба в пепле волокнистых туч...
Косматые кусты, освобождаясь от гроздьев,
Встают, раскинув изумрудный сноп.
Две девочки, зарыв в листву береты,
Болтают и стригут – пусть взрослые молчат...
Старик срезает важно кисть за кистью,
Как бы обряд свершая вековой.
А черный мул с дороги смотрит-ждет:
Бока продрогли, ветер дует в ноздри...
Ряды корчаг стоят у колеи.
Пора б грузить – и в путь, сквозь камыши.

Вдоль рыжей глины грузною стопой
Иду к мулу, к плечу корзину вскинув.
Усталость бодрая укачивает сердце,
Глазам раздолье: зелень, космы туч,
А за межой взлохмаченные фиги...
А ветер свежий бьет крылами в грудь,
Шуршит вдоль лоз, в рукав прохладой веет
И звонкой пустотой в ушах лопочет...
Спасибо, друг! Хоть час один, как мул,
Я прошагаю, медленно качаясь,
Ловя ноздрями крепкий дух земли...
«Гоп-гоп! Корзина!» Снова полный груз.

Редуют лозы – ряд склоненных спин,–
И первые малиновые листья
Огнем сквозистым радостно играют.
Под фигою – баклага на земле.
Подходим медленно – звенят стаканы сонно,
В молчанье пьем багряное вино.
Закат торжественный пылает над холмом
Безмолвною вечернею молитвой...
Идем домой сквозь джунгли тростников.
Со всех сторон поют-скрипят двуколки –
Соседи сбор подвозят к погребам.
Ногам работа – серые чаны
Примятым виноградом нагрузят
И, как во дни блаженные Гомера,
Босыми пятками начнут его давить,
Окрашивая терпким соком икры...
Шумит тростник. Усталая спина
Под ветром ежится... За поворотом – кровля.
Хозяин-фермер сумрачно бурчит,
Что это лето даст ему не много:
Жара и ветер высушили гроздь,–
Неполон сбор... Убытки велики...

Но жалоба его до сердца не дошла.
Мой виноградник пуст, – растрепанные бурей,
К земле прибиты светлые стихи...
И даже та любимая гряда,
Где зеленели детские страницы,
Здесь на чужбине теша детвору,–
Ненужным пустырем чернеет у дороги...
Молчу. Не жалуясь. Не хмурьтесь же, хозяин,
Господь пошлет вам в будущем году
Обильный урожай.

Под тamarиском

Когда лежишь на берегу босой,–
Поет вода и чайки вьются с писком,–
И ешь свой хлеб с ослиной колбасой
Под матово-сквозистым тamarиском,–
Ты самому себе покажешься святым:
Ты даже ос не отгоняешь с носа,
Летит песок, кадильный звонкий дым,
И ящерица вьется вдоль откоса...

Свой хлеб готов ты разделить с осой,–
Пусть только, злюка, не кусает в темя.
С издателем ослиной колбасой
Готов ты поделиться в это время...
Корректоров и тех готов простить,
Все их «досадные», как оспа, опечатки...
Сквозь сосны брызжет солнечная нить,
И ветер ласковый во все влетает складки.

Но если в этот трижды мирный час
Припрется дачник из лесного дома
И заскулит – в четырнадцатый раз! –
О кризисе, о близости разгрома,–
Вся святость, к дьяволу, с тебя слетает в миг...
Ты, в душу впившийся, гундосящий репейник!
С какой бы радостью тебя, копченный сиг,
Всадил бы я башкою в муравейник!..

<1932>

Солнечная ванна

Вдоль по пляжу – пятна ближних...
Кто, задрав клешнею ногу,
Роет детскую лопаткой

Крутобокую берлогу,
Кто младенца плавать учит,
И бутуз, в испуге диком,
Миль на десять оглашает
Лес и берег буйным криком...
Плотный немец – локти к брюху,–
Пятки вскидывая к тылу,
Сам себя вдоль дюн гоняет,
Как цыганскую кобылу...
Эмигрантская Диана,
Мотылек на смуглых ножках,
Пронеслась веселой рысью
В изумрудных панталошках...
А в воде, на мелком месте,–
Темя в шлемах – огурцами,
Два обглоданных нудиста
Притворяются пловцами.

* * *

На песке томлюсь я в дюнах
В живописном беспорядке,
Чтобы солнечною ванной
Успокоить боль в лопатке.
Ближних нет. Порой над валом
Промелькнет в трико гусыня,–
Левый глаз чуть-чуть прищуришь,
И опять вокруг пустыня...
Сверху солнечная лава,
Снизу жаром жжет песчаным,–
Будто ты лежишь в духовке
Нашпигованный каштаном...
Муравей ползет по ляжке,
Плещет бабочка на вые,
И в глазах фонтаном искры,–

Ало-бело-голубые...
Ах, какие в это время
Мысли в черепае роятся!
Но без пишушей машинки –
Так к чертям и разлетятся...
В голове зевает вечность,
В сердце – огненные спицы,
А пониже – обалделость
Разомлевшей поясницы...

* * *

Врач-приятель мне в Париже
Объяснил весьма толково:
«Зря, дитя мое, на солнце
Не валяйтесь, как корова...
Алкоголь в приличной дозе
Подымает человека, –
Так и солнце, так и бабы, –
Как сказал Мартын Задека...»
Но лежать, считать минуты?
Где я здесь возьму будильник?
Сосны спят... Цикадный скрежет
Монотонен, как напильник...
Встанешь – вся спина пылает.
Боком выйдет эта лежка!
Завтра весь до пят облезу,
Как ошпаренная кошка...
А пока, – спасибо, солнце,
За тяжелый жар твой медный,
За чудеснейшие мысли,
Улетевшие бесследно...
Нынче я не догадался,
Нынче я был идиотом:
Завтра в дюны я с собою

Карандаш возьму с блокнотом.

<1932>

Без вакансий

Вверх за лодочным сараем
Подымается тропинка...
Независимо и гордо
По корням стучит дубинка.
Справа сосны, слева море,
Посредине – я с собакой.
Жаба сунулась под камень
Торопливой раскорякой...
Что ты, друг мой! Ты ведь дома, –
Мне поступок твой неясен:
Эмигрант французской жабе
Совершенно безопасен...
В складках скал внизу открылся
Райский клочок воды сапфирной.
Ни души... Морские травы,
Да над камнем кактус жирный.
И с крутой тропинки чертом,
Под ребром скалы прохладной,
Вниз – в игрушечную бухту
Так и ринулся я жадно...

* * *

Благодарными глазами
Я взглянул, вздохнув, вдоль склона:
Вот... До самого заката
Поиграю в Робинзона.
Но за камнем – гвоздь им в печень! –

В элегантнейшей палатке
Робинзоновская пара
Копошилась на площадке...
Он, на сук повесив галстук,
Перед зеркальцем овальным
Поправлял пробор свой жидкий
Жестом сдержанно-астральным...
А она в пижаме алой,
Наклонив серпом головку,
Над изящнейшим подносом
Томно чистила морковку.
Два складных паучьих кресла
Лиловели перед входом,
И на столике походном:
Граммофон и банка с медом...
Я зажал собаке морду,—
Надо вверх идти, однако.
Все вакансии на свете
Не для нас с тобой, собака...

* * *

У стволов автомобиля
Мирно спят, блестя щитами.
Жесть консервных ржавых банок
Тускло блещет под кустами.
Загорелые, как пряник,
Две курносые Астарты
С быковидными юнцами
Под сосной играют в карты.
В глубине бока палаток
Раздувают тихо чрево...
С европейской точки зренья,
Оснований нет для гнева...
Что же ты, пришлец, томишься?

Подарить тебе весь берег,
Чтобы ты земле и небу
Не устраивал истерик?
Не пора ль к собакам бросить
Прометеево наследство
И, идя навстречу моде,
Добросовестно впасть в детство?..
Сам себя призвав к порядку,
Я пробил тростник боками
И пошел сквозь бор в местечко
В «буль» сражаться с рыбаками.

<1932>

Дождь («Утром фермерша-старушка...»)

Утром фермерша-старушка
В гости к нам пришла на дачку
И присела, отдуваясь,
У кривой сосны на тачку.
Платье – черным парашютом,
Лопухом плетеным шляпка...
В ручки пухлые дохнула,–
Старичкам всегда ведь зябко.
А глаза ее, коринки,
Мигом все схватили зорко:
Дворик, домик наш, веранду
И раздувшуюся шторку.
«Вот», – она сказала тихо,
Показав рукой на тучи,
Над лиловыми холмами
Наплывавшие все круче.
«Шестьдесят семь лет в Провансе
Просидела, как на стуле,
Но такого не бывало,–
День за днем дожди в июле!»

Покачала головою,
Скрючив ножки, как ворона,
И седую бородавку
Пощипала удрученно.

* * *

Полчаса она скрипела...
Я сидел на камне кротко
И с сочувственным вниманьем
Ковырял дыру в подметке.
«Чуть опрыщут виноградник
Легкой пылью купоросной,
Все сейчас же до пылинки
Смоет, к черту, дождь несносный...
Вы лозу-то оберните,—
Сколько, сударь, белых пятен!
Дождь в июле винограду,
Как быку мясник, приятен...
Разрослись шатрами листья,—
Кисти спрятались до света...
Что-то будет с виноградом
В это пакостное лето?
И чеснок, как гриб, червивый,
И капуста захирела,
Огурец любой разрежешь,—
Весь, как дудка, пустотелый!
Помидор — дурак зеленый...
Все убытки, да убытки...»
И, как демон, запахнула
Крылья черные накидки.

* * *

Эмигрант, подбитый ветром,
Долго слушал я соседку,
И казалось мне, что Ротшильд
Горько плачет мне в жилетку...
Вон внизу за перелеском
Дом ее стоит, как крепость.
Дождь гнезда ее не смоеет,—
Что за дикая нелепость!
Кров, семья, покой, достаток,
Каждый ствол скрипит: «Я дома»...
С детства каждая ложбинка,
Как ладонь своя знакома.
Вот когда б на нашу льдину
Посадить ее хоть на день,—
Чтоб она бы поклевала
Эмигрантских виноградин...
Этой мысли я, конечно,
Вслух не высказал старушке
И сказал ей в утешенье,
С ней прощаясь у опушки:
«Есть примета, — если лозы
Глупый дождь в июле мочит,—
Винограду будет меньше,
Но вино в цене подскочит».

<1932>

С холма

Выбрав место у тропинки,
Где сквозь бор синее море,
Где вдали бельишко сохнет
На бамбуковом заборе,
Я принес большую доску,—
Пар дымился над ушами! —
И четыре толстых ножки

Обтесал карандашами...
Вбил их в землю – слон не вырвет!
За холмом стреляло эхо;
И прибил к ним туго доску,–
Не работа, а утеха...
А потом лазурной краской,
Цвета крыльев серафима,
Густо выкрасил скамейку –
Дар любому пилигриму:
Чтоб присел, забыв земное,
И, попыхивая трубкой,
Власть смотрел, как парус в море
Дышит гоголем над шлюпкой...
Да и сам приду не раз я
Посидеть Наполеоном,
Руки гордые сложивши,
В одиночестве зеленом...

* * *

Где влюбленных нынче встретишь?
В казино, сцепясь друг с другом,
Пары вьются, как моторы,
Равнодушно-мертвым цугом...
А на пляже те же пары,
Загорев, как голенище,
Распластав тела у будок,
Переваривают пищу.
Но сегодня – наконец-то! –
На моей скамейке синей
Я заметил сквозь кустарник
Бога юного с богиней.
Он был в трусиках лиловых,
А она в трико морковном...
Метров на сто был пронизан

Воздух шепотом любовным,
Шея к шее, сердце к сердцу,
Под сосной склонились рыжей...
За смолистыми стволами
Подобрался я поближе.
Подобрался и расслышал:
Рдея страстью огневою,
Оба пламенно шептались
Над таблицей биржевою...
Скрылись в чаще. Мрачно сел я
На пустынную скамейку.
Петушок с соседней фермы
Из-за камня поднял шейку,
Покосился на газету –
На последнюю страницу:
Может быть, сейчас он клювом
В биржевую ткнет таблицу?
Но петух меня утешил:
Звонко грянул голос зычный,–
Пять патлатых кур сбежались
На султанский зов привычный...
Двум он клювом дал по шее,
Двум скормил мои он крошки
И ушел в кусты за пятой,
Томно вскидывая ножки.
Я подумал с облегченьем:
Есть любовь еще на свете!
И, зевнув, разрезал дыню
На развернутой газете.
Зной оранжевою дымкой
Острова вдали туманил,
И внизу какой-то олух
«Стеньку Разина» горланил.

ПОЭМЫ

Дом над Великой*

(Картины из русской жизни)

1

На тихом берегу Великой,
Широкой медленной реки, –
Забор оброс полынью дикой,
Крапивой проросли мостки.
Ворота – крепость. Словно стража,
С боков – точеные столбы.
И облаков витая пряжа,
Как знаки ласковой судьбы...
Ленивый кот сидит в калитке
И слушает дремотно плеск.
Плывет старик в затертой свитке,
На влажных веслах алый блеск.
А за забором мир зеленый, –
И благодать, и тишина.
С тычинок хмель свисает сонный,
Круглится тыква, как луна.
Пустой парник раскинул стекла,
За ним – укропов абажур,
Над грядкой вылезает свекла,
Под тачкой спит семейство кур.
На райских яблонях так нежно
Желтеют шарики дождем.
А над пригорком безмятежно
Встал над рекою белый дом.

С балкона даль – отрада взорам:
Синеет вольный бег реки,
Нагорный берег сизым бором
Сбегают в дальние пески,
И грузный мост навис змеею,
И купола цветут в садах,
И стены древней чешуею
Зигзагом вьются в слободах...
Смолой прогретой пахнут густо
Резные столбики перил.
Внизу кудрявая капуста
Полна избытком крепких сил.
А там за домом под балконом,
Где виснет желтых груш каскад,
Где шмель гудит осенним звоном,
Где грабли на песке лежат,
Где спит малинник в паутинке,
Скрывая холмик муравьев,
Где на алеющей рябинке
Галдит семейство воробьев,
Где шар блестит над мокрой клумбой,
Венчая пышных астр костры,–
Там за классической тумбой,
Обнявшись, ходят две сестры.

Они погодки. В эту зиму
Последний раз ходить им в класс.
Над домом вьется лента дыму.
«Обедать, девочки!» – «Сейчас...»
Собрали сноп из листьев клена,–

Осенний радостный пожар.
Из кухни выползла Матрена,
На пухлых ножках жирный шар.
В столовой маятник двурогий
Солидно ходит вверх и вниз.
Друг дома – фикус козлоногий
Возносит листья под карниз.
И уж, конечно, у окошка
Спит в клетке желтенький пушок,
Поджавши скрюченные ножки,
А в прутьях сахара кусок.
Клеенка в синеньких узорах
Свисает круто со стола.
Дрожащий зайчик на приборах,
Искрясь, запрыгал из угла.
С буфета тянет сладкой дыней,
В углу диван – уютный кит,
И белый квас в резном графине
Ажурной пеною пыхтит.

Мать разливает суп янтарный
Спокойной медленной рукой.
Вплывая в солнце, воздух парный
Клубится влажной пеленой.
Отец из-под очков устало
Взглянул на дочек – хороши...
«Здоровы?» – Тихий смех, как жало,
Вдруг брызнул в солнечной тиши.
Мать улыбнулась. Шорох ложек.
В лазурных окнах – пестрый Псков.
А под столом шуршанье ножек
И драка легких башмачков.
На блюде, лапки сжав на бюсте,

Как безнадежный инвалид,—
В цветной пупыристой капусте
Смешная курица лежит.
Дрожит графин, трясется миска...
«Мамуся, что на третье?» – «Кот».
Хохочут девочки до писка.
Отец в салфетку прячет рот.
Но младшей все всегда известно:
Скользнув глазами за порог,
Она запела: «Врать нечестно!
На третье – яблочный пирог!»

Под синим абажуром лампа
Бросает круг на тихий стол.
На темной стенке два эстампа:
Пастух с гусями и козел.
Девицы в ужасе священном
Над космографией сидят.
Мать, опустив моток в колена,
Отцовский штопает халат.
Часы стучат. Бегут минуты.
Затих пузатый самовар.
У младшей – тоненькой Анюты –
В глазах истома и угар...
А старшая беззвучно встала,
Прошла в отцовский кабинет:
Отец над счетами устало
Склоняет вязаный жилет.
«Помочь?» – Как бойко по костяшкам
Танцует девичья рука...
Отец доволен. Дым барашком
Уходит ввысь из мундштука.
Над головами карта фронта...

Сквозь дебри рек, лесов, песков,
От Риги вплоть до Гелеспонта,
Змеится пестрый строй флажков.

6

В уютной белой комнатухе,
Где листья кленов так пестры,
Лежат, зарыв глаза в подушки,
Две неподвижные сестры.
Вверху колпак мерцает глазом
Под потолочной наготой,
И туалет белеет газом,
Как новобрачная фатой.
Сквозная дымная кисейка
Сквозь прут продета на окне.
Открыток пестренькая змейка
Висит на матовой стене.
Чуть слышно младшая просила:
«Ты спишь?» – «Не сплю». – «Иди ко мне!..
О чем ты думала, Людмила?»
«О нас, о Боге, о войне...»
«Боишься?» – «Нет... Чего ж бояться...
А так... нерадостно подчас...» –
Но в стенку стук. Нельзя шептаться.
Рука к шнуруку – и свет погас.
Прильнули вмиг к подушке пышной,
Склонясь друг к другу головой,
И зацарапали неслышно
В коробке с рыхлою халвой.

7

Матрена встала. Сизый пар
Еще плывет с реки над садом.
Перед плитою самовар
В трубу гудит багровым чадом.
Зеленый ямбургский сундук
Покрыт тряпичною дорожкой.
Матрена мечется без рук
И разговаривает с кошкой.
Работы выше головы!
На печь поставить простоквашу,
Подбросить кроликам травы,
Поднять девчонок и папашу,
Сварить вкрутую три яйца...
А самовар? А булки с маком?
Ворчит, но красный круг лица
Сияет добродушным лаком.
В сторонке узкая постель
Верблюдом горбится за ширмой,
Кишит прусачьей ратью щель,
Вверху плакат с ландринской фирмой.
Над ложем в ракушках солдат
Застыл, как столб, в квадрате рамы.
Воюет, бедный... Брат иль сват?
А по бокам две голых дамы.

Племянник Степа каждый праздник
Из корпуса приходит в дом.
Толстяк, задира и проказник,—
У дяди он, как тихий гном.
Пыхтя, отдаст визит Матрене,
Получит первый пирожок,
Качаясь, посидит на клене,
Как явский бронзовый божок.

Потом нырнет в подвал прохладный,
Упорно станет к верстаку
И в клинья медленно и ладно
Вобьет кленовую доску.
Пыхтит мальчишка, вьется стружка,
Фуганок ходит вверх и вниз,
Ходи! Работа не игрушка...
Он дяде мастерит сюрприз.
Но если вдруг в оконной нише,
Где цепкий вьюн струится ввысь,
Кузины выплянут, как мыши, –
Он им кричит свирепо: «Брысь!»
Меньшая с хохотом пристанет:
«Полковник, хочешь бутерброд?»
А он живот галантно стянет
И, как акула, сразу в рот.

В расцветших окнах гам и пенье,
А за балконом дождь и тьма.
У старшей дочки день рожденья,
И в доме нынче кутерьма.
В гостиной гам, грызут орехи,
Гудят веселые баски.
На всех диванах без помехи
Кадеты – классики – шпаки.
Подруги дочек, нежным роем
Обороняясь от юнцов,
Любого сделают героем
Или последним из глупцов.
Матрена, ерзая фасадом,
Как ледокол, пронесит чай.
Перед пьянино плавным ладом
Плывет дуэт: «Не искушай!»

В углу изысканные франты
И белый выводок наяд,
Пища, разыгрывают фанты,—
Предлог для флиртовых услад.
А в кабинете, за вазоном,
Где пальма вскинула шалаш,
Склонясь над столиком зеленым,
Сидит интимный круг папаш.

Любой пустяк из прежних дней
Так ненасытно мил и чуден...
В базарной миске, среди сеней,
На табуретке стынет студень.
Янтарно-жирный ободок
Дрожит морщинистою пленкой,
Как застывающий прудок
Под хрупкой корочкою тонкой...
Желток в хрящах застыл кольцом,
Каемка миски блещет сонно,
И кот, глубокий гастроном,
Вдыхает воздух упоенно...
Петух, нахохливши манто,
Просунул гребень, зорко плянул,
Ударил клювом в решето
И негодуяще отпрянул...
В передней солнце и покой.
Обои залиты румянцем.
Перед зеркальной доской
Галоши блещут ровным плянцем,
На вешалке, раскинув стан,
Висит кадетское пальтишко.
В углу таинственный чулан

Мерцает тусклою задвижкой.

11

Чулан! Хранилище сластей,
Пузатых банок панорама,
Приют мышей, соблазн детей,
Кунсткамера жилого хлама...
На узких полках встали в ряд
Киты домашнего лабаза:
Крыжовник, вишня, мармелад
И райских яблочек топазы...
На толстых нитках вдоль стены
Висят грибов сушеных четки.
Под срезом жирной ветчины
Томится штоф лимонной водки.
А на крючках – картуз отца
И портупея дяди Кости,
Вид мавританского дворца,
Сачок и синий зонт без трости.
В простенке дремлет детский стул,
Топорщась прорванным плетеньем.
Играя краем медных скул,
Сундук пылится под вареньем.
Плывут пылинки. Тишина.
В тазу белеет горка пуху.
В решетке узкого окна
Паук высасывает муху.

12

Горит рябинами аллея,
Осенний воздух свеж и вял.

В гостиной, у стены, скамейка,
А на скамейке арсенал:
Упругий колобок замазки,
Полоски ваты и песок,
Зеленый гарус в толстой связке
И с кислотою пузырек.
Пора вставлять двойные рамы!
Матрена в радостном пылу,
Дрожа молочными буграми,
Визжит суконкой по стеклу.
Над садом облако, как парус.
Благословен родной уют...
Болтая, сестры режут гарус
И кислоту в стаканы льют.
А мать на стареньком диване,
Как незаметный дирижер,
Как мудрый вождь на поле брани,
Следит, кося пытливый взор.
В руках снуют стальные спицы.
Вкруг кротких глаз густая тень,
И серой стопкой рукавицы
Растут упорно каждый день.

Последний сбор. Редуют ветки,
В корявых листьях вся трава.
В дырявой зелени беседки –
Все обнаженной синева.
Матрена и кадет без шапки
Снимают поздние дары:
Землистых крепких груш охапки,
Тугих антоновок шары...
Подсев к лукошкам, сестры важно
Перебирают пестрый груз.

Вдали заливисто-протяжно
Орет обиженный бутуз.
К забору пламенно прильнули
Мальчишки, головы склоня.
«Лови!» Плоды летят, как пули.
Кадет хохочет: «Размазня!»
Людмила листьями прикрыла
Корзинку с пятнами ранет.
Со Степой – мама разрешила,–
Снесут в знакомый лазарет...
Болтают. Зубы – зерна риса.
А над скамьей, качаясь в лад,
На тонких ветках барбариса
Сухие ягоды горят.

Вблизи сарая, вдоль забора,
За гибкой сеткой птичий двор:
Петух с величием командора
Косит глаза на рыхлый сор.
Над ржавой чашкой спят курята.
Индюк, бессмысленный бандит,
Раздув копной сквозные латы,
Раскинул хвост свой и пытит.
Вдоль стенки ковыляют утки
И, свесив жирные зады,
Пихают в жадные желудки
Остатки брошенной еды.
В корытце трется поросенок.
Кивает жимолость вверху...
Рябая курица спросонок
Сердито возится в пуху.
Плебеи... Лишь одни испанки,–
Семья до глянца черных кур,–

Хранят породистость осанки
В дородной грузности фигур...
Дворовый пес, кудлатый Гектор,
Уткнувши в сетку нос, плядит,
Топорщит брови, как инспектор,
И изучает птичий быт.

Раскрыты настежь дверцы печки,
Треща березовой корой,
Клубятся желтые колечки,
Шипит и каплет сок сырой.
Людмила, руки сжав в колени,
На рысьей шкуре на полу,
Сидит, полна дремотной лени,
И смотрит в огненную мглу.
В ногах раскрытый том Лескова:
Легенды византийских дней
Цветной парчой родного слова
Слились с цветением огней...
Отец качается в качалке.
В Управе за день сбился с ног,—
Двадцатый год в служебной свалке,
А сил все меньше, — видит Бог...
На потолке мерцаньем блеклым
Играет зарево костра.
Прижавши нос к холодным стеклам,
Ликует младшая сестра:
Роясь, как легкие пушинки,
Заполонив весь тихий сад,—
Сегодня первые снежинки
Над подоконником кружат!

Дом полон мирной тишиною.
В глубоком кресле у портьер,
За жардиньеркой вырезною,
Мать разбирает несессер.
За ниткой нить в увядших пальцах
Палитра бисера дрожит.
В углу, распяленный на пьльцах,
Алеет на траве бандит.
Стук в дверь и тонкий голос: «Можно?»
Порхнув, как птицы, за порог,
Присели сестры осторожно
У материнских милых ног.
Плетеных кос тугие дуги
И торопливый детский взгляд,—
Какая радость на досуге
Перерывать знакомый клад!
Игольник в виде дамской ножки,
Поблекший веер кружевной,
Кусок гранатовой застежки,
Флакочик с пробкою резной,
Клочок парчи с цветком левкоя,
Шелков лоснящаяся сеть...
Сто раз видали? Что ж такое!
В сто первый можно посмотреть.

Альбом – музей родного круга,
Ах, без него не полон дом!
Шершавой кожей стянут туго,
Лежит на столике альбом.
На крышке бронзовые латы,

Вдоль ребер золотая грань.
Шаблон? Ну что ж, пусть память свято
Отдаст шаблонам добрым дань...
Вот сестры, выгибая спинки,
Лежат на шали нагишом,
Вот мама в белой пелеринке
Глядит испуганным ершом...
Отец в мундире реалиста
Такой безбожно-молодой...
Рябая няня Феоктиста
И дед с огромной бородой.
Над вавилонами трельяжа
Кузина опускает взор,
И средь испанского пейзажа
Сверкает каской брандмайор.
В конце – Шекспир, кружок управцев,
Обсевших с двух сторон отца,
Портрет двух дядюшек-красавцев
И тетки, тетки без конца...

С войны приехал дядя Костя,
Обросший, словно Робинзон.
Дом принял дорогого гостя
И оградил со всех сторон.
Племянницы ходили следом...
В углах все те же образа,
Так небывало за обедом
Салфетки тешили глаза...
В раздумье шевеля усами,
В гостиной, на крутой софе,
Как на коне, сидел часами
В подшитых замшей галифе.
Рука на перевязи черной,

В глазах железная печаль,—
Но о войне молчал упорно
И все смотрел куда-то вдаль...
Кормил в саду соседских фоксов,
К забору прислонясь щекой,
И горький дух последних флоксов
Вдыхал с отрадною тоской.
А сын кадет — полуребенок,
Скользнув в калитку, каждый раз
Летел к отцу, как жеребенок,
Сияя от ушей до глаз.

В настывшем угловом покое
Еще с утра кипит возня:
Обтерли щеткою обои,
В голландской печке треск огня.
Комод, кушетка — все готово,
У двери таз блестит вдали,
И сестры с чердака крутого
Кроватку детскую снесли.
Дом стал ковчегом. Из Калуги
Приедет с внучкою свекровь,—
Сын где-то пал в боях на юге,
Жить стало тяжко, — едут в Псков...
Под вечер старенький извозчик
Вкатил в ворота. Конь-кащей.
Знакомый парень перевозчик
Засуетился у вещей.
На лестнице веселый грохот:
Трещат ступени, скачет пес,
И попережку плач и хохот,
И хриплый лай, и гул колес.
Старушку в платьице горошком

Ведут к дивану в уголок,
А внучка жметя у окошка,
Как недоверчивый зверек.

Над сундучком стоит Матрена.
В руках белеет письмецо,
И слезы горечью соленой
Кропят распухшее лицо.
Людмила робкими глазами
Скользит по полкам и стене:
Вон над кроватью в узкой раме
Солдат плечистый в вышине...
Пойти за дядей? Он поможет.
Неслышно затворилась дверь.
Шипит плита. На жарком ложе
Ворчит котел, как добрый зверь.
Запели шпоры у порога.
Матрена замерла и ждет.
«Письмо? От брата? Ранен в ногу...
Поставь свечу, что не в живот!..
Ведь он псковской, и фронт их рядом,
Отправят в Псков, – ты погоди.
И лазарет сейчас за садом,–
Хоть каждый день к нему ходи...
Не плачь. Все это в нашей силе:
Сейчас пойду за справкой в штаб».
Ушел и погрозил Людмиле:
«Ох, не люблю плаксивых баб!»

Синеет сумрак над Великой.
Из окон даль – тусклей свинца.
Над водяной равниной дикой
Вспухают волны без конца.
Обоз плетется за обозом.
Солдаты давят брюхом кладь,
И рыхлый снег, сгрудясь с навозом,
Желтит накатанную гладь.
Вдали судов понтонных кости
Качают мокрый темный мост...
Не отрываясь, дядя Костя
Все смотрит на обозный хвост...
Прошел. За ним, склонившись к крупу,
На доски въехал ездовой.
На передках, тулуп к тулупу,
Трясетя дремлющий конвой.
Над дальним берегом из штаба
Плывет бессонный желтый луч,
И месяц трепетно и слабо
Скользит по хлябям из-за туч.
По саду ветер леденящий
Пронесся воющей волной.
«Остынет чай!» – Призыв звенящий
Поет, как арфа, за спиной.

Храпит усталая Матрена,
Белея в воздухе пятой.
На лавке кот сидит бессонный
Перед холодной плитой.
Скрипят стропила, стонет крыша,
Гудят протяжно провода,
Шипит сугроб в балконной нише,
На стеклах мерзлая слюда.

Деревья прядают и гнутся,
Кусты, как руки мертвецов,
Вздывают пальцы и трясутся,
А снег летит со всех концов...
Как будто стаей бесноватой
Вся нежить рек, лесов, полей
Ворвалась с вьюгою косматой
В затишье снеговых аллей...
Тревожны голоса глухие.
Дымится небо. Ветер лют.
Летят, ведут хмельного Вия,
Прильнули к стеклам и ревут...
Но в доме тихо. Демон снежный
Поет-гудит над гранью крыш,—
В ответ пьянино звякнет нежно,
Да крикнет пол — и снова тишь...

Погибло все в шальном разгроме
Под наглым красным каблуком...
Кто там сегодня в белом доме?
Какой звериный «Исполком»?
Трещат машинки возле шкапа.
Сереют грязные полы.
Два-три сознательных сатрапа
Обходят рваные столы.
На стенах знаком каннибальства
Рычат плакаты: «Бей! Убей!»
В гостиной — красное начальство,
В передней — тысяча скорбей...
На кухне грязь и строй бутылок,
В чулане пыльный пулемет,
В подвале, среди гнилых опилок,
Пол странной ржавчиной цветет...

В той спальне, где ютились сестры,
Свистит раскормленный матрос,—
На туалете сеткой пестрой
Плевки и пятна папирос.
В саду кишат чужие люди:
Краснеет револьверный шнур,
Чернеют кожаные груди...
Зады — с двойным пятном кобур.

Иль, может быть, как черный остров,
На берегу родной реки
Торчит обуглившийся остов,
Вздымая грязные куски?..
Над крышей виснет лист железный,
Гудит и пляшет на ветру,
Да рельсы мощью бесполезной
Впились в балконную дыру.
Внизу, среди мусорного вала
Осколок кухонной плиты...
Густой узор людского кала
Обвил гирляндой все кусты.
Забор исчез. Среди гряд щербатых
Лопух разросся, словно спрут,
Да одурелые солдаты
На пнях подсолнухи грызут.
Собаки роются на свалке,
Парник без рам осел в воде.
Над мертвым домом вьются галки
В закатно-огненной руде.
Семья?.. Не спрашивай, не думай...
Безмерно страшен красный быт:
Один лишь домовый угрюмый

Всю правду знает и молчит.

1924

Рим

Главы из поэмы «Дом над Великой»*

Пес

Отец – лягаш, а мать – дворняга.
Как тряпка уши, хвост – метла...
Со дна соседнего оврага
Его Матрена принесла.
И вот он Гектор. Честный малый,
Влюблен до трепета в сестер,–
Но в кухню равнодушно вялый
Приходит он, как визитер.
Дадут оладью – благодарен,
Прогонят – медленно уйдет.
Душою он собачий барин,
Хоть по обличью санкюлот.
Часами смотрит он с пригорка,
Лениво вывалив язык,
Как над окошком пухнет шторка,
Как за забором бродит бык...
Терпеть не может балалайки,
Не любит пьяных и бродяг.
Порою вдруг в плебейской шайке
Сбегает в родственный овраг.
Но ночью он меняет шкуру:
От сада рыщет до ворот...
Лихой и верный (сунься сдуру),–
Любому плотку перервет.

На колокольне

За садом, где в речное лоно
Песчаный врезался пустырь,
Белеет за оградой сонно
Спасо-Мирожский монастырь.
Сюда не раз ходили сестры:
На колокольне свет и тишь.
В садах сентябрь колдует пестрый,
Внизу зигзаги стен и ниш.
Цветет цикорий светло-сизый...
Сквозь барбарисные кусты
Глядятся в облачные ризы
В двухскатных кровельках кресты.
Но в гимназические годы
Могилы – ласковый пейзаж...
Горят домишки, льются воды,
Сливаясь в солнечный мираж.
Здесь все окрест – свое до боли.
Пройдет монах среди мшистых плит,
Да стриж, влетевший с синей воли,
Крылом о медь прошелестит.
Над водокачкой – позолота,
Над баней алый хвост зыбей...
И сестры жмутся у пролета,
Как пара кротких голубей.

Дрова

Вдали забор в чертополохе.
У сходней – мятая трава...
В крутой ладье из-под Черехи
Пригнали мужики дрова.
Летят поленья белым цугом,
Стучат, как кепли... Славный звук!
Припав к руке с кудлатым другом,
Белоголовый смотрит внук, –

А дед в растрепанной жилетке,
Лохматый леший, худ и бос,
Выносит дровяные клетки,
Саженья тыча под откос...
Свезут на тачках груды звеньев
И сложат во дворе средь плит.
Бальзам березовых поленьев
Вечерний воздух напоит.
Пройдет Матрена, – мимоходом
Погладит ласково дрова,
И кот на них немым уродом
Вверху застынет, как сова.
И сестры сядут на крылечке, –
Торцовый терем свеж и крут:
Немало вечеров у печки
Они зимою проведут.

Инфлюэнца

У младшей дочки «инфлюэнца».
Озноб и жар бегут чередой,
На спинке кресла полотенце
Ягою кажется седой.
А изумрудный луч лампадки,
Связав подушку и киот,
Дробится в стрельчатые рядки,
Сияньем северным растет...
Кружится потолок уютно,
Все жарче стеганный атлас.
В окне герань краснеет мутно,
И так далек вчерашний класс!
Верхом на облаке мелькнула
В стекле начальница, как тать...
Кот Брандмайор сидит у стула
И строго смотрит на кровать.

В глазах волна пушистой дремы...
Натерли скипидаром бок,
А доктор, старичок знакомый,
Ворча, смотрел на язычок,
Теперь никто не потревожит.
Под абажуром спит огонь...
И только мать порой положит
На лоб спокойную ладонь.

Танюша

Из Устья в Псков, с попутной баркой,
С кошелкой липовой в руке,
Свалилась крестница к кухарке,—
Танюша в байковом платке.
В кошелке крынка со сметаной
И соты с медом — сельский дар...
Румянец мальвою багряной
Кирпичный освещал загар.
Глаза — застенчивые мышки.
Нос — православный колобок.
Все ковыряла винт в задвижке,
Стреляя исподлобья вбок...
Хлебнула чая и за швабру.
Все дико ей: обойный борт,
Лучи в подвесках канделябра
И телефон, трескучий черт.
Разбила гипсового фавна,—
Ворчит Матрена, сестрам смех,—
И обходила так забавно
Перед диваном рысий мех...
Лишь во дворе у песьей будки
Очнулась крестница вполне:
И пес, и кот, и даже утки

Пришли к Танюше, как к родне.

Раненые

С утра вдоль берега с вокзала
Плетутся раненых ряды.
А рядом – кленов опахала,
Дом в тишине, цветы, плоды...
Гудя, ползут автомобили.
На желтых койках подвесных
Сквозят в тумане душной пыли
Тела солдат полуживых.
Порой промокшая подвязка
Мелькнет в толпе, как алый крик.
Идут-плывут. Жара и тряска.
Что день – все больше... Псков привык...
Сквозь хмель беседки смотрят сестры,
Таясь за ржавою листвою, –
И жалит боль иглою острой,
И гаснет день, как неживой.
Вверху за топодем больница.
В палатах свет и чистота, –
Там с каждым днем угрюмей лица
И молчаливее уста.
Сожмется грудь, замрут расспросы.
И только руки заспешат
Раздать скорее папиросы,
И образки, и шоколад...

Дождик

Прохладный бисер брызжет в стекла,
Жемчужной мглой дымится сад.

Ботвой ожившей блещет свекла,
И струйки хлюпают вдоль гряд.
Даль так тиха, пуста, лилейна!
Вокруг расцвел зеленый цвет...
Перед крыльцом, как два бассейна,
Галош отцовских парный след.
Туман молочный прячет в складки
Мосты и тыквы куполов.
Из желобов, свергаясь в кадки,
Поет вода из всех углов.
Так интересно из-под зонта
Смотреть на пузырьки в реке.
На синий клоч у горизонта...
Пусть капли хлещут по щеке!
И, надышавшись свежей влагой,
Потом к крыльцу пуститься вскачь,
Упасть, вскочить с лихой отвагой,
Влететь в столовую, как мяч...
«Катюша, что с тобой, голубка?» –
Звеня посудой, спросит мать.
Чулки – хоть выжми, в брызгах юбка,
Хохочет... Что же ей сказать.

Кружевница

Раскрытый короб на паркете
И в нем волною напоказ
Суровых, плотных кружев сети, –
Соблазн для русских женских глаз.
Мережки, вставки и прошивки...
Так любо, севши на кровать,
Разрыть до дна сквозные гривки,
Товар добротный перебрать.
Душок от кружев свеж, как сено.
Чихает кот, воротит нос.

А вологодская сирена
Поет, торгуется взапас.
Лицо – просфорка, бровь – шнурочком,
Великопостные глаза.
И русый чубчик над платочком.
А в общем, баба-егоза.
Весь женский пол собрался в спальне.
И даже старенький отец
На говорок приплелся дальний,
Подсел и смотрит, как скворец.
Кот утомлен такой забавой...
У дочек щеки все алей:
Дорожка с пышной птицей павой
Всего на свете им милей.

Капуста

По аромату и по хрусту,
Еще в сенях, кто не поймет:
Шинкуют белую капусту,
Меню российского оплот.
Свезли на тачке с огорода
Охাপку крепких кочанов...
В саду – румяная погода,
Над крышей – тишь лазурных снов.
Матрена мечется, как квочка...
На блюде соль, – крутой снежок.
В сенях – ошпаренная бочка,
Тяжелый камень и кружок.
Весь день стучат и рубят сечки.
Крошат морковку... Тьма хлопот!
И даже кошка на крылечке.
По кочерыжке лапой бьет...
Тмин на скамейке подоконной
Чуть не забыли в суете.

Пса не кормили, – бродит сонный
С клочком капусты на хвосте.
Конец... Упарилась стряпуха,
Как клюква, жар ее ланит.
Склони к набитой бочке ухо:
Под камнем сок чуть-чуть шипит.

<1928>

Кому в эмиграции жить хорошо*

I

Однажды в мглу осеннюю,
Когда в Париже вывески
Грохочут на ветру,
Когда жаровни круглые
На перекрестках сумрачных
Чадят-дымят каштанами,
Алея сквозь глазки,—
В кавказском ресторанчике,
«Царь-пушка» по прозванию,
Сошлись за круглым столиком
Чернильные закройщики,
Три журналиста старые —
Козлов, Попов и Львов...
И после пятой рюмочки
Рассейско-рижской водочки
Вдруг выплыл из угла,—
Из-за карниза хмурого,
Из-за корявой вешалки,
Из сумеречной мглы —
На новый лад построенный,
Взъерошенный, непрошенный
Некрасовский вопрос:
Кому-де в эмиграции,
В цыганской пестрой нации
Живется хорошо?
Козлов сказал: «Наборщику»,
Попов решил: «Конторщику»,
А Львов, икнувши в бороду,
Отрезал: «Никому».
Опять прошлись по рюмочке

И осадили килькою,
Эстонской острой рыбкою,
Пшеничный полугар.
Козлов, катая шарики
Из мякиша парижского,
Вздохнул и проронил:
«А все-таки, друзья мои,
Ужели в эмиграции
Не сможем мы найти
Не то чтобы счастливого,
Но бодрого и цепкого
Живого земляка?
На то мы и газетчики, –
Давайте-ка прощупаем
Все пульсы, так сказать...
Пойдем в часы свободные
По шпалам по некрасовским,
По внепартийной линии,
По рельсам бытовым...»
Попов, без темперамента,
Как вобла хладнокровная,
Взглянул на потолок:
«Ну что ж, давай прощупаем.
С анкетами-расспросами
Мы ходим к знаменитостям
Всех цехов и сортов –
К махровым кинобарышням,
К ученым и растратчикам,
К писателям, издателям,
К боксерам и раджам.
Пожалуй, дело ладное
По кругу эмигрантскому
Пройтись с карандашом...»
А Львов пессимистически
Потыкал в кильку спичкою,
Очки почистил замшею
И, наконец, изрек:

«Искать Жар-Птицу в погребе
Занятие бесплодное,—
Но что же, за компанию
Пойду и я на лов...»
Козлов мигнул хозяину —
Сейчас, мол, кончим, батенька.
Уж полоса железная
До половины с грохотом
Спустилася на дверь...
«С чего начнем, приятели?» —
Спросил Козлов задумчиво.
«С наборщика, с конторщика,
Пожалуй, на модель?»
«Давайте, други милые,
Начнем хоть с маляров.
Профессия свободная,
Веселая, доходная...» —
Промолвил Львов с усмешкою
И зонтик свой встряхнул.
Пошли ночью улицей,
Сутулые и хмурые,
И мигом распрощались
У бара на углу...

II

В ро-де-шоссе замызганном,
В пустой квартире старенькой
Стоял на шаткой лестнице
Маляр Фаддей Созонтович,
Посвистывал, побрякивал
И потолок белил...
Вдруг стук в окошко с улицы.
С панели, встав на цыпочки,
Любезно машет ручкою

Знакомый журналист:
«На пять минут, позвольте,
Зайдем к вам поболтать?»
Вошли втроем приятели,
Уселися с опаскою
На ящик перевернутый...
Маляр слезает с лестницы:
«В чем дело, господа?»
Перемигнулись, хмыкнули,—
И с благородной грацией
Козлов заводит речь:
«Да вот, Фаддей Созонтович,
Решили мы с коллегами
Обследовать по малости
Наш эмигрантский быт...
Решили мы, душа моя,
Начать с малярной братии,—
Труд легкий, дело нужное,
Ремонты да построчечки,—
В жилище человеческом
Без вас не обойтись.
Знай крась, бели, посвистывай,
Покуривай, поглядывай,—
Так вот, мой дорогой?..»
Маляр, надвинул на ухо
Бумажный свой колпак,
Передником закапанным
Стер пот с лица усталого
И сел, скрестивши туфельки,
Как турок, на паркет.
«Да, ремесло занятное...
Хотя я по профессии
Приват-доцент ботаники,—
Белилами-обоями
Души не накормлю,
Но чрево, не пожалуюсь,
Малярной кистью мягкойю

Лет пять питал-поил.
Да вот теперь заминочка,
Работа с перебоями,—
Три дня свистишь-работаешь,
А два-три дня — ау!
Мы люди контрабандные,
На новых на построчках
Не очень разгуляешься,—
Нецеховому мастеру
Заказаны пути...
Вся наша горе-практика
У эмигрантской братии:
Обмолодишь переднюю
В рассрочку иль в кредит,
Обойными остатками
Оклеишь спальню тесную
И в виде приложения
Диванчик перебьешь...
Иной клиент ругается,—
Свои дерут-де дорого,
Да по фасону русскому
Начнут и вдруг... запьют...
Не без того, голубчики,—
Одна стена оклеена,
Другая вся ободрана,
Как лошадиный труп...
Да вот душа малярная
Ремонта тоже требует,—
Посердятся, полаются,
Но в общем — ничего-с.
К чужим со злости сунутся,—
Чужие хлеще нас.
Покрутятся, повертятся
И вновь зовут своих...
А нынче то ли с кризиса,
Иль там по вдохновению
Все эмигранты, дьяволы,

Манеру завели:
Сын красит дверь столовую,
Мать мажет кухню охрою,
А сам папаша в фартуке
Крахмалит кистью пухлою
Обои на полу...
Вот тут и заработаешь!»
Приват-доцент ботаники
Швырнул в камин окурочек
И, вздернув брюки мятые,
На лестницу полез.
«А я вот незадачливый,—
Сказал Попов сконфуженно,—
Хотел оклеить спальенку,
И вышло блеманже...
Зайдите в понедельник,—
Столкуемся-сторгуемся».
«Угу!» – ответил с лестницы
Нахмуренный доцент.

III

К почтенной русской пифии
Варваре Теософенко,
Как ситцем на прилавочке,
Торгующей судьбой,—
Ввалились ранним утречком
Три пациента странные:
Какой они профессии,
Какого рода-звания —
Сам бес не разберет...
Как тыква перезрелая,
К ним подкатила радостно
Орловской корпуленции
Сырая госпожа.

«Прошу. Озябли, голуби?
Кто первый – в ту каморочку,
А вы вот здесь покудова
Приткнитесь на диванчике,–
Газетки на столе...»
Но Львов сказал решительно:
«Мы все втроем, сударыня,–
А за сеанс мы вкладчину
По таксе вам внесем».
«Втроем? Да как же, батюшка,
Судьба у всех, чай, разная?
Как сразу трем гадать?»
Но даму успокоили:
«Мы, милая, писатели,
Мы сами предсказатели,
Поди, не хуже вас...
А вы уж нам по совести
Свою судьбу счастливую
Раскройте поскорей...
Ведь вы как доктор, матушка,
Ведь к вам все ущемленные
Приходят за рецептами,
А сам-то доктор, думаем,
Ведь должен быть здоров?..»

* * *

Насупилась красавица,
С досадой прочь отбросила
Колоду карт набухшую
И тихо говорит:
«Глумитесь, что ли, соколы?
Да нет, глаза-то добрые,
Участливые, русские
У всех у трех глаза...»

Не с радости гадаю я,
А, сами понимаете,
И заяц станет знахарем,
Коль нечего жевать...
Не жалуясь, голубчики,
Клевала я по зернышку
И утешала каждого
Широкою рукой.
Кабы судьба треклятая
Хоть хвостик бы оставила
От всей моей от щедрости,—
Ни одного несчастного
Средь нас бы не нашлось...
Эх, сколько горя горького,
Бескрайнего, бездонного
В каморку эту тесную
Текло, лилось рекой!
Ведь я же тоже, милые,
Не истукан бесчувственный,
Не янычар с кинжалищем,
А русский человек.
Да вот теперь и тюкнуло:
Клиенты все посхлынули...
Поди, не верят более
Ни картам, ни судьбе.
Да и с деньгами, яхонты,
Все нынче подтянулись:
Уж лучше съесть две порции
Монмартрского борща,
Чем зря с судьбой заигрывать,—
Доить ежа в мешке...
Вот и сижу счастливая,—
Вяжу жилеты теплые,
Да по домам окраинным
Знакомым разношу...
Кому-нибудь понадоблюсь,—
Свяжу в кредит, родимые,

Хоть тридцать лет носи!...»

* * *

Приятеля почтительно
Гадалке поклонились,
Сверх таксы расплатились,
Вздохнули и ушли.

IV

Час от Парижа – много ли?
Но тишь в полях безмерная,
Вокруг усадьбы крохотной
Крутым кольцом стена.
Каштаны оголенные
Мотаются-качаются,
Луна, бельмо печальное,
Над кровлей ворожит...
А из окна вдоль дворика
Желтеет свет полоскою.
Тепло в столовой низенькой,
Храпят-стучат часы.
Приятеля-анкетчики
Пьют чай с вареньем яблочным
У круглого стола
И слушают задумчиво,
Как голосит комариком
Пузатый самовар.
Их добрая знакомая,
Дородная хозяйюшка
Агафья Тимофеевна,
Шестое выдув блюдечко,

Ладонью губки вытерла
И начала доклад:
«Что вам сказать, затейщики?
Живу-дышу, не жалуясь,
Мои испанки-курочки,
Могу сказать, не хвастаясь,
Известны всем вокруг.
Пером, как уголь, черные,
Дородны, как боярыни,
Штаны на ножках – с муфтою,—
Не куры, а орлы...
И яйца, что гусиные,—
Чуть наберу лукошечко,
Не донесешь до станции:
С руками оторвут.
Но, как раба последняя,
Весь день-деньской я в хлопотах.
С зарей помет выскребывай,
Курятник подметай,
Да тачку при из лавочки
С пшеном иль кукурузою,—
Едят мои испаночки,
Как батальон солдат...
Все, почитай, что выручу,
Они же сами слопают,
А я с моей племянницей
Остаточки жую.
Ни именин, ни праздников,
Среда ли, воскресенье,
Одним лишь руки заняты,
Одним башка затуркана:
Корми, лечи и чисть.
А летом... сверх пропорции
Другие удовольствия,—
То вдруг подроят сеточку,
Здоровые ведь, бестии! —
И шасть к соседу в сад...

Летишь, скликаешь, мечешься,
За все, что смято-склевано
Свои яички кровные
Неси соседу в дань...
А ястреба? А коршуны?
А крысы с ближней мельницы?
Повадились, проклятые,
Прорыли ход под сеткою
И задушили, аспиды,
Четырнадцать цыплят...»

* * *

Агафья Тимофеевна
Седьмое блюдо налила,
Подула и отставила,
И кротко говорит:
«В усадьбе этой, милые,
Конечно, есть счастливые,
Да только уж не я...»
«А кто?» – привстав над креслицем,
Спросил Козлов стремительно.
«Да куры, куры, батюшка!
Живут в тепле и сытости,
Без горя и забот...
Не я ль при них поденщица?
Не я ль при них уборщица?
А им, вальяжным барыням,
Всего лишь и хлопот –
Знай с петухом амурничай
Да яйца от безделия
По всем углам неси...»

* * *

Три друга рассмеялись,
И в старом самоварчике
Три рожи добродушные
Широко расплылись.

V

Козлов сидел с коллегами
У милой Веры Павловны –
У тетушки своей,
И слушал, как расписывал
Приехавший из Африки
Российский эскулап
Житье свое гвинейское,
Похожее на взмыленный,
Бенгальско-экзотический
Благополучный фильм.
«Да-с... Земство наше черное,
Дремучее, просторное,
Не то что здешний быт.
Я тачку эмигрантскую
В Европе бросил к лешему,–
В просторах вольной Африки
Врач – первый человек...
Как шаха, на носилочках
Внесут в село гвинейское,
Навстречу население
Гремит в жестянки ржавые,
Трясет задами в ракушках,
Приветствует врача...
Вождь лучшую мне хижину
Отводит средь селения,

Подносит в дар мне идола
С огромнейшим пупком,
„Бой“ тащит фрукты, курочку
И столик раскладной...
Поешь, покуришь вволюшку –
Страж в очередь покорную
Для оспопрививания
Сгоняет весь народ.
Мой фельдшер – вакса черная,
Как колдуну заправскому,
Подносит мне почтительно
Всю огненную снасть...
Объедешь всю епархию,
В поселок свой воротишься,–
Ложись в гамак под пальмою
И виски дуй со льдом.
То в шахматы с учителем
Под баобабом срежешься,
То в теннис перекинешься
От скуки сам с собой...
Иль на охоту с неграми
В ночную пору тронешься,–
Осветят глушь прожектором,–
Пали в любые встречные
Горящие глаза.
Домой придешь с трофеями:
Пантера, рысь ушастая...
И камушком завалишься
Под полог на кровать.
А утром после душика
Закажешь завтрак повару,
Для аппетита сделаешь
Турне велосипедное,–
Удав-подлец с тропиночки
Прочь в заросли ползет,
В ветвях мартышки щелкают,
Да бабочки гигантские

Трепещут над рулем...
Вернешься свежий, встрепанный,
Пойдешь в амбулаторию:
Волчанка, грыжа, зубики,
Слоновая болезнь...»

* * *

«Не служба, а варение,
Так, стало быть, вы счастливы?» –
Спросила Вера Павловна,
Козлову подмигнув.
Врач ухнул рюмку в чашечку
И стрелку перевел:
«Как вам сказать, сударыня...
В подводном царстве сказочном
Был счастлив ли Садко?
Без русского без берега
Какое, к черту, счастье!
Все дальше он, все мглистее, –
О чем тут говорить...
Как сыч в лесу таинственном
Один я там торчу, –
За два-три года в Африке
Лишь раз от попугая я
Добился русских слов...»
Врач посмотрел на чашечку
И, морщась, выдул ром.

VI

От массажистки Галкиной
Пришло к друзьям послание:

На именины в пятницу
Зовет к себе в отель...
Под небо в лифте въехали
И в номер постучались,
«Войдите!» – хрипло пискнула
За дверью именинница.
Встряхнулись и вошли...
Но что за наваждение!
На столике бутылочки
Совсем не именинные, –
Аптечный арсенал.
А на кровати Галкина, –
Спиною кверху, бедная, –
Под пледом жметесь-корчитесь,
Как рыба на песке...
«Ах, Господи! Ах, Боже мой!
Всем пневматички тиснула,
Лишь вас забыла, светики,
Вчера предупредить...»
«Что с вами, драгоценная?» –
Спросил Попов с участием,
А сам дышать старается
В перчатку через нос.
«Обычная история...
Как мяч футбольный – бешеный,
Гоняю я по городу
С трамвая на трамвай.
Клиенты все капризные,
Чуть опоздаешь – куксятся,
Летишь по расписанию,
В манто с собачьим котиком
На липовом пуху...
Говядину клиентскую
Взбиваешь, давишь, тискаешь, –
Мясник, не то что девушка,
Вспотел бы десять раз.
Ну, вот я и упарилась,

Да у трамвая, потную,
Продуло до печеночки,
До самого нутра...
Вот я теперь и праздную».
Не солоно хлебавшие,
Приятели откланялись,
Но Галкина хрипит:
«Куда, куда ж, голубчики?
Постойте-ка минуточку!
Моя соседка Аннушка
Поставила мне баночки
И позабыла снять, –
По телефону вызвали
На экстренную практику
Ее вместо меня.
Снимите банки, милые,
Нет сил моих терпеть!»

* * *

Что делать? Не откажешься...
Козлов шагнул решительно,
Приподнимая плед:
Вдоль всей спины гирляндой
Под банками глазастыми
Надулись фиги сизые,
Опарою торчат...
Чуть дернул, – так и взвизгнула,
Брыкнув ногою, Галкина:
«С ума сошли вы?! Черт!
Вы с мясом банки вырвете,
Противный человек...»
Попов к дверям попятился
И дезертиром выкатил
Скорее в коридор.

Львов отстранил приятеля,
Внимательно-старательно,
Чуть вбок склоняя баночки,—
Края так и зачмокали,—
Все до одной их снял.
И вазелином вымазал
Всю спину именинницы —
Багровую, лиловую,
Как зебра, полосатую,
Горячую, как печь...

* * *

Друзья спускались с лестницы.
«Еще одна счастливая...» —
Шепнул в кашне мохнатое
Нахохлившийся Львов.

VII

В воскресный день сиреневый
По уговору общему
Вонзились три приятеля
В шоферский кабачок...
Француз — хозяин розовый
Над стойкою свинцовой
Пашою восседал.
Веселою палитрою
Бурда аперитивная
Пестрела со стены.
И в уголке за столиком
За низенькою ширмою
В пальтишках буро-фирменных

Гудела по-шмелиному
Шоферская компания –
Лихие землячки.
Взлетали руки крепкие
И светлым пивом чокались,
Переливались хриплые,
Обветренные улицей,
Бензином прокопченные,
Бронхитами подбитые,
Глухие голоса:
«Дай, Васька, лапу... Умница!
Тебе, шуту усатому,
Бандиту конопатому,
Сегодня повезло!
За Ваську! Ишь, как жмурится...
Счастливец... Эк, ведь клюнуло!
И пенсии не надобно, –
Как у Христа за пазухой
Теперь ты будешь жить».

* * *

Ушли гурьбой, понурые.
Один за дальним столиком
Склонился над тарелкою
Виновник торжества.
Друзья к нему пробрались,
Подсели, познакомились,
За ручку потряслись.
«Вот, – говорят, – голубушка,
Себя по доброй воле мы
Загнали в лабиринт:
По линии некрасовской
Мы ищем в эмиграции
Счастливых земляков, –

А тут судьба попутная
Вдруг нанесла на вас...
Случайно мы подслушали
По вашему по адресу
Волшебные слова...
Так в чем же ваше счастье,
Василий... как по бабушке,
Извольте подсказать?»

* * *

Чуть жареной картошкой
Не подавился со смеху
Опешивший шофер:
«Я – Павел Спиридонович,
А Васька, вот он, бестия,
Счастливым ваш сюжет...»
Он вынул из-за пазухи
Мохнатого, усатого
Котенка-шалуна.
«Сегодня перед завтраком
В лесу Булонском пасмурном,
Порожняком слоняючись,
Его я подобрал.
Кричал, чудак, под деревом,—
Пришлось усыновить...
Сведу к жене в подарочек!
Пока я ежжу-рыскаю
И счастье трехфранковое
По городу ловлю,—
Весь день-деньской в отельчике
Сидит жена у столика
Казанской сиротой.
И пришивает дратвою
Котам-бульдогам бархатным

Стеклянные глаза...
С котенком будет легче ей,
Ведь он, подлец, живой.
Хозяин наш не каторжный,—
Уж попрошу, поклоняюсь,
Пожалуй, разрешит...
Как ваше мнение, Васенька?»

* * *

Чихнул в ответ котеночек
И тронул лапкой жесткое,
Парижской мглой дубленное
Шоферское лицо.

VIII

Портной Арон Давыдович
Сидел за голой стойкою
И мял в руках задумчиво
Потертые штаны...
То вскинет их скептически,
На свет посмотрит, сморщится,
То с миной безнадежности
Двумя худыми пальцами
Откинет вверх очки...
Вдруг колокольчик бронзовый
Визливо-истерически
Над дверью зазвенел.
Со сверточком под мышкою
В салончик тускло-кремовый
Приплелся из редакции
Клиент знакомый Львов.

Принес пальто в починочку,—
Подкладка сбоку лопнула:
Она ведь не двужильная,
Не век ей шов держать...
«Ну, как вы поживаете?» —
Спросил упавшим голосом,
Усевшись, журналист.

* * *

«Такое проживание,—
Сказал Арон Давыдович,
Встряхнув пальтишко старое,—
Что лучше и не жить...
Где эти сумасшедшие,
Что из моей материи
По мерке платье новое
Заказывали мне?
За месяц хоть бы кто-нибудь
Хоть самые паршивые,
Дешевые-триковые
Мне брюки б заказал!
Шью двадцать лет, как каторжный,
Имею вкус и линию,
И вдруг теперь починщиком
Из первых скрипок стал...
Как до войны в Житомире,
В *Париже*, — понимаете!
Одними переделками
Оправдываю хлеб...
Двух мастеров, — подумайте,
Не мастера, а золото,—
Пришлось с сердечным скрежетом
Во вторник рассчитать...
Что это за история?

Где франты? Где все модники?
Куда девать материю?
Портной я или нет?
Вы там в газетах пишете
Про кризисы, про мизисы,—
Читал и перечитывал,—
Аж вспухла голова!
Америка в истерике,
Германия и Англия
Донашивают старое
И штопают бюджет...
Где главные закройщики?
И в чем подкладки кризиса?
Как по фасону новому
Перекроить все старое?
Весь мир трещит по швам!»

* * *

«Вот вам для иллюстрации:
Студент мне брюки старые
Принес перевернуть,—
Какой-то добрый родственник
С попугчиком из Латвии
Прислал ему в презент.
Материя английская,—
Пускай доносит юноша,
Студент ведь не маркиз...
Ушел. Я брюки вывернул,
Взглянул на них внимательно:
Уже перелицовано!
Хорошенькая жизнь...»

* * *

Скрестил Арон Давыдович
Худые пальцы медленно
И вкось на Львова хмурого
Взглянул из-под очков.

IX

«Что, батенька, вы сумрачны?» –
Спросил Козлов с участием,
Столкнувшись в русской лавочке
С сугубо озабоченным
Дантистом-земляком.
«Ведь ваше дело прочное, –
Пускай хоть сорок кризисов,
Но, если зуб замучает
И вздует щеку дынею, –
Продашь штаны последние
И в клинику ближайшую
Галопом побежишь...»

* * *

«Не в этом дело, душечка, –
Дантист ответил горестно. –
Заела окончательно
Меня зубрежка подлая, –
Ни памяти, ни сил.
Извольте-ка, почтеннейший,
Все города французские
С названьем департаментов

Запомнить наизусть...
А реки, а колонии?
А физика паршивая?
А алгебра проклятая?
А чертовый диктант?..
Легко ли?.. Вы подумайте,—
Ведь мне за пятьдесят».

* * *

Как на ворота новые
Глядит в недоумении
Баран остановившийся,
Так на дантиста кислого
Уставился Козлов.
Не впал ли врач в младенчество?
Как будто преждевременно...
Иль клепки расшатались
От переутомления,—
Одна с другою спутались
И прыгают козлом...

* * *

«Ужель не понимаете? —
Сказал дантист с досадою.—
Не всю же жизнь поденщиком
Я во французской клинике
Обязан зубы драть...
Для прав, уж третий месяц я
С племянницей-студенткою
Готовлюсь на бошо.
Ух, строгая племянница!

Инспектор гимназический,
Мучитель мой стариннейший,
Младенец перед ней...
– Ведь вы ж не мальчик, дяденька, –
Уроки задает.
Диктовка ли французская,
Уж ни одной ошибочки
Она мне не простит, –
А у меня их, знаете,
Как на собаке блох...
Зубрю, потею, мучаюсь,
Сижу над хронологией, –
Перед уроком выдолблю,
Отвечу ей „на ять“, –
А через день все вылетит,
Как дым, из головы...
Видали вы, любезнейший,
Как жук ползет вдоль прутика?
До верхней точки тянется,
В траву свернется кубарем –
И снова начинай!»

* * *

Козлов халву рассматривал,
Чесал перстом под шляпою
И думал, морща нос:
– Ох, быт наш фантастический,
Цыганский, жюлеверновский,
Ногами кверху вздыбленный
Наш эмигрантский быт...
Ведь если б мне, газетчику,
Не приведи Ты, Господи,
Для ради прав писательских
Пришлось сдавать бошо, –

Простое уравнение
С двумя лишь неизвестными
Ей-богу б не решил!

X

В редакцию за справками
Пришла душа потеряя:
Субъект с глазами горлинки,
С бородкой русым штопором,
С продрогшим красным носиком, –
Смесь институтки с Гаршиным,
На каблуках расплюснутых,
В брезентовом пальто...
Стал в очередь в простеночке
И на пустую вешалку
Лирически-стоически
Уставился, как карп.

* * *

«Вот кандидат в счастливые,–
Шепнул Попов приятелям.–
Давайте побеседуем
С ним где-нибудь в чуланчике,–
Ведь все-таки – улов...»
«А чем он занимается?» –
Спросил Козлов скептически.
«Изобретатель, душечка,–
А проще – птица Божия,
Попавшая в силки...»

Под кипами газетными,
Торчащими вдоль полочек
От пят до потолка,
Присела личность кроткая,
Потерла руки потные
И начала доклад:
«Второй уж год слоняюсь я
По разным учреждениям,
А толку ни на грош...
Идея очень ясная:
Все люди злятся, бешатся,
Волнуются, кипят...
Мужья и жены ссорятся,
Юристы и политики,
Поэты и любовники
Бурлят чрезмерным пафосом,—
И так до бесконечности
Везде – в любой стране...
Пять лет вертел мозгами я,
Как для людей использовать
Избыток сей энергии?
И наконец нашел!
Прибор мой магнетический
В любой квартире, комнате
Любой избыток страстности,—
Любви ли, споров, ревности,—
Вмиг переводит полностью
В полезную энергию,
В комплекс рабочих сил...
Мой аппарат поставивши,
Теперь семейство каждое
Себя своими силами
Сумеет вентилировать,

Согреть и отопить...»

* * *

«Идея гениальная! –
Сказал Козлов, опасливо
Свой табурет расшатанный
Отодвигая вбок.–
А сколько ж средств вам надобно,
Чтоб ваше изобретенье
Пустить скорее в ход?»
Изобретатель встрепанный
Взглянул глазами горлинки
На мутное окно:
«С рекламой и конторою
Три миллиона с четвертью.
Уж все пути намечены,–
Ведь пустяки же, в сущности,–
Да кризис помешал...»
И, гордо носик вскинувши,
Он вышел в коридор.

* * *

К Попову наклонившись,
Львов проронил медлительно:
«Ваш кандидат в счастливые,
Пожалуй, не того-с...
Его бы в санаторию
На девять-десять месяцев,
А после подучить.
Тогда б, пожалуй, выдумал
Сей Эдисон стремительный

Какой-нибудь практический
Полезный аппарат,—
Машинку для доения
Мышей иль комаров».

XI

Во сне какая ж логика:
В ночной рубашке вздувшейся
Стоит Козлов и ежится
На крыше за трубой
И слушает звенящие
Ночные голоса...

* * *

«Я, никому не ведомый
Иван Петрович Кругликов
В глуши Прованса Верхнего
На шахтах алюминиевых
Пять лет тружусь как вол...
Пиши меня в счастливые:
Весь день грузу в вагончики
Руду я темно-рыжую.
Как черт, я весь коричневый
От пят до головы...
А вечерами хмурыми
Я борщ в бараке стряпаю
И на леса угрюмые,
Закатом окаймленные,
Смотрю в окно, как сыч.
Пиши-пиши, записывай,

Газетная душа...»

* * *

«Алло! А я под Ниццею
Ночным слоняюсь сторожем...
Днем сплю в своей каморочке,
Как каменный, – без снов.
Ночами охраняю я
Пустые виллы мертвые...
Присяду под террасою,–
Мимозы вьются, треплются,
Грохочут волны дальние...
Ботинками пудовыми
От холода стучу.
Ох, думы, думы темные,
Как море, неумные,
С заката до зари...
Пиши-пиши, записывай,
Чернильный человек!»

* * *

«А я в Гренобле мыкаюсь,–
Я на цементной фабрике
Заборчики цементные
Прессую третий год...
Я в прошлом был учителем
Орловской прогимназии,–
Кто я теперь, не ведаю,–
Не стоит ворошить...
Душа моя цементная
Оцепенела, съежилась,

Посплю, поем, – на фабрику
И больше ничего».

* * *

«Эй, господин над крышею! –
Чуть слышный
Альт надтреснутый
По ветру долетел.–
У берегов Австралии
Уж третьи сутки треплется
Наш старый пароход...
Компания голландская,
Матросы африканские,
А я, псаломщик пензенский,
Здесь поваром служу...
Ох, надоело, миленький!
Хоть сыт, хоть койка мягкая,–
Но стражду, как Иона, я
Во чреве у кита...
Нет ли в Париже, батюшка,
Какой-нибудь работишки?
Я в русской типографии
Готов хоть пол мести,
Лишь бы из брюха тесного,
Железно-иноземного,
К своим опять попасть...»

* * *

Со всех сторон доносятся
Звонящие, скрипящие,
Ночные голоса...

Козлов, как лось затравленный,
Метнулся вбок, попятился...
Влез на трубу стремительно,
Вниз головой просунулся,
Скользнул в нутро мохнатое
И вот, как полагается
В подобных сонных случаях,
Проснулся весь в испарине,
В своей знакомой комнате
На пятом этаже.

XII

За утренним за завтраком,
Нежданно и негаданно,
Жена Попова кроткого
С усмешкой снисходительной
Взяла на abordаж:
«А почему, мой миленький,
В своей анкете липовой
Меня ты обошел?
Как следопыты рьяные,
Втроем вы столько времени
Жар-Птицу в поле ищете,—
А птица эта райская
С тобой, быть может, рядышком
Сидит и кофе пьет...
Быть может, я счастливая?..
Что выпучил глаза?»

* * *

Попов на счете газовом
Царапал иероглифы,—
Пометочки-заметочки
Для завтрашней статьи...
С рассеянной улыбкою
Он положил в варение
Окурок свой обсосанный
И с тихим удивлением
Сказал своей попутчице:
«Ну что ж, мой друг, вали...»

* * *

«Встаешь ты, Гений Павлович,
В двенадцать с половиною,—
Все убрано, все прибрано,
Конечно, не тобой.
А ты, как крот взволнованный,
Свои холмы бумажные
Взрываешь на столе...
Не просто бросишь рукопись,
Сметешь газетой галстуки,
Словарь косою птицею
Взлетает на камин,—
Ворчишь, вздыхаешь, охаешь,
Пока я, терпеливая,
Не разыщу, как водится,
Твою заметку срочную
В подкладках пиджака...
Пьем кофе. Я ведь женщина —
Порой любопытствую:
„Что нового в редакции?“
„Да, да, — бурчишь ты вежливо,—
Конечно, ты права“.
Уйдешь — кашне на вешалке,

А зонтик мой – увы!
Когда придешь, – не ведаю,
Куда звонить, – не знаю я...
А суп кипит, волнуется, –
Порой сама вскипишь...
И вот, тут начинается:
Ты там в пространстве носишься,
А я громоотвод.
Приходит некто в шарфике, –
В два с четвертью назначено
Свидание ему...
Краснеешь, отдуваешься:
„У мужа рвут зуб мудрости,
Вернется только к полночи“, –
Но гость-то не дурак...
Статью по нумизматике
Прочтет мне с декламацией,
Потом про тетку в Персии
Рассказывать начнет...
А я с улыбкой светскою
Газеты прибалтийские, –
За целый год не вскрытые! –
Укладываю в стопочки
С проклятием в углу.
А мичман с мемуарами?
А дама с „юморесками“?
А старичок с сонетами?
Всем, милый друг, назначено...
Во вторник рвут зуб мудрости, –
А в среду что же рвать?
В прослойку надрывается
Бессонный телефон:
– Ах, передайте, милая...
– Ах, запишите, золото...
А то попарно сцепятся
И лают вперебой...»

Передовицу целую
Еще наговорила бы
Решительная женщина,—
Но на супруга кроткого
Взглянула пронизательно
И заперла фонтан:
Глазами голубиными,
За триста миль уплывшими,
Попов смотрел на зеркало
И грыз свой карандаш...
С таким и не поссоришься.
Ну что ж... Уже давно она,
Без всякой, впрочем, горечи,
«Досадной опечаткою»
Супруга назвала.

XIII

Для полноты коллекции,
На имя трех приятелей
Пришло в конверте сереньком
Из Рима письмецо...
Чернила водянистые,
Расплывчатые, сизые,
Корявый почерк старческий
Сползал зигзагом вкось,—
Зато по содержанию
Настой полыни беженской
Стоградусною горечью
Дымился над письмом...

«Привет вам, люди добрые,
Из города счастливого,
Из Рима горделивого –
Со всех семи холмов!
Лишь в эту зиму темную
Беда-нужда всесветная
Волною отраженною
Пришла-плеснулась-грохнула
В парижское окно...
Нам это не в диковинку:
Мы в Риме, горсть осевшая,
Ломоть от всех отрезанный,
Хронические пасынки
Средь эмигрантской братии, –
Давно привыкли к кризису,
Как к старому бельму.
Средь райской декорации,
Средь величавых форумов,
Среди фонтанов плещущих,
Средь пиний мирно-дремлющих,
Под солнцем золотым, –
Как домовые тихие,
Мы жмемся, незаметные,
В углах-подвалах пасмурных,
В продрогших чердаках.
На площадях сияющих –
Теплее, чем у нас...
Порою сам не ведаешь,
Как год за годом держишься?
Бюджет – фантазмагория,
Работы – ни на грош.
Ни в гиды, ни в извозчики,
Ни в маляры, ни в плотники, –
Лишь воробьев на форуме

Бесплатно разрешается
Под аркою считать...
Считаешь и завидуешь:
Счастливы, воробы!
А ведь недавно, милые,
Чуть-чуть в тарелку капало,—
Для аргентинок пламенных
Я, харьковский нотариус,
Платки великолепные
Билибинскими павами
Цветисто расшивал...
Швейцары при гостиницах,—
Министры по обличию,—
Процент взимали божеский,
Впускали в вестибюль...
Увы, все нынче схлынуло,—
Туристов нет и звания...
В библиотеке Гоголя
Сидишь часами долгими
И смотришь в потолок...
Газетою прикроешься,
Уснешь, как новорожденный,
Теплынь и тишина.
Во сне ведь я не пасынок:
С друзьями стародавними,
Давно глаза закрывшими,
Беседуешь во сне,
По старому по Харькову
С клиентами знакомыми
Пройдешься при луне...
Не осудите, милые,
Больного старика...»

Постскриптум: «Драгоценные!
Не нужен ли кому-нибудь
В Париже из писателей
Комплект – тисненый золотом, –
Романов Боборыкина?
Я дешево продам».

XIV

В углу метро трясуемого
Две дамы примостились, –
Под гул, волною льющийся,
Шла густо-эмигрантская
Беседа на ходу...
Козлов сел рядом, съежился,
Газетою французскою
Себя задекорировал,
Чтоб откровенность русскую
Своим тамбовским профилем
Случайно не вспугнуть...

* * *

«Ну что, Катиш, устроилась?» –
«Устроилась, голубушка...
С полгода я промаялась, –
Фам-де-менажек опытных
Хоть требуют везде,
Да я с интеллигентностью
Для этой специальности
Не очень-то годилась...
Послужишь – и ау!»
«Не понимаю, душечка, –

Сказала хмуро первая.—
Принцессы на горошине
Не в моде ведь теперь.
Заставят обстоятельства
Не то что мыть тарелочки,
Пойдешь с интеллигентностью
Гиен в зверинце стричь...»
«Да я ведь и не фыркала,—
Смеясь подруга молвила,—
А просто по обличию
Была не ко двору...
При мне не поругаются,
Подашь пальто, — стесняются,
А гости наши, русские,
Меня все в ручку чмокали
Заместо чаевых...
Спасибо, надоумила
Знакомая корсетница:
Сказала слово мудрое:
„Переверни лицо!“
Была недаром, милая,
Когда-то я артисткою.
Вот я и приспособила
Актерский свой талант.
Заделалась казачкою,
Простой, рабочей бабою,—
Пусть тыкают, пусть выкают,
Мне трижды наплевать!
Французы или русские,—
У всех стираю, стряпаю,
Сумела на два лагеря
Простецкий тон держать...
Беру проценты с булочной,
Мясник, сверх положения,
Вчера мне чашку синюю
Поднес, подлец, в презент...
Хозяйка — шляпку с перышком,

Хозяин – Мед Изюмович,
Сует тайком духи...
Устала только вдребезги,–
И думаю для отдыха
Махнуть на ферму русскую
Стряпухою на юг...
А ты, дружок, как вертишься?» –

* * *

«А я с голландкой старою,–
Столетней маримондою,–
По всем курортам чертовым
Ношусь, как метеор...
Она, голландка, добрая,–
У ней на попечении,
На полном иждивении
Четырнадцать породистых
Раскормленных котов.
А я при них на должности:
И днем и ночью, душечка,
Бессонной экономкою
При них я состою.
Вся до костей кошатиной
Пропахла я насквозь...»

* * *

Подруга только плюнула,–
Да так неосмотрительно,
Что журналисту русскому
Попала на башмак...
Но, впрочем, не заметила,–

А он, привстав растерянно,
Приподнял шляпу мятую
И ляпнул: «Виноват!»

XV

Под Новый год в час утренний
Вонзился в дверь стремительно
Веселый почтальон.
Порылся в сумке кожаной
И Львову полусонному
Поднес с парижской грацией
Письмо «рекомандэ»...

* * *

Перед окном сереющим
Львов сел на кресло дряблкое,
Халат свой подобрал
И с полным безразличием, –
С иллюзиями детскими
Давно уже покончено! –
Вскрыл мундштуком конверт.
И вдруг оттуда – милые! –
Крутясь, как птичка Божия,
Слетел на коврик стоптанный
Жемчужно-белый чек...
Львов поднял, охнул – батюшки!
Берлинское издательство,
Давно уж захиревшее,
Как ландыш без дождя, –
Должно быть, в знак раскаянья
В счет долга застарелого

Прислало чек, подумайте,—
На тысячу франчков...
С душевным изумлением,
Как пепел, с сердца хмурого
Стряхнувши скептицизм,
Подумал Львов оттаявший:
«О Дон-Кихот пленительный,
Издатель дорогой!
Пред новогодним праздником
Анахронизмом благостным
Тургеневскую девушку
В себе ты возродил...
Не слыхано! Не видано!»
Подай сюда историю
Хоть под гарниром святочным,
Читатель, разумеется,
Подумает: брехня...
Но чек – не привидение,—
И вера в человечество
Проснулась в Львове вновь,
И над камином вспыхнуло
В бенгальском озарении
Волшебное видение:
Коричневое, новое,
Чудесное пальто...

* * *

Но в виде дополнения
Львов из конверта выудил
Такое письмецо:
«Сердечноуважаемый!
Проездом из Швейцарии
Через Париж в Голландию
Жена, как с ней списался я,

На днях вас посетит...
Она в Париже, думаю,
Два дня лишь проболтается,—
Для родственников надобно
Подарки ей купить,—
У вас ведь цены снизились...
Так вот, мой драгоценнейший,
Прошу ей передать...»
Какое продолжение —
Всем ясно и без слов...
Львов, чек свернувши в трубочку,
Промолвил тихо: «Тэк-с».

* * *

Видали вы когда-нибудь,
Любезные читатели,
Как рыболов под ивою
Сидит с постылой удочкой
И час, и два, и три?
Вдруг поплавок коралловый
Качнется, вздрогнет, скроется,
Удилище натянется,
Струной дрожит бечебочка,
Душа звенит, поет...
Видали вы, друзья мои,
Как он добычу к берегу
Рукой подтянет трепетной
И сильным взмахом вытянет
Из лона светло-синего
Заместо карпа жирного
Размокнувший... башмак!

Куда от скуки спрячешься?
Одни идут с отчаянья
На диспут с словопрением:
«Взгляд русских младодевичек
На будущих отцов»,
Другие в виде отдыха
Предпочитают цирк.

* * *

Антракт. Гурьбою публика
Плывет в конюшни теплые,—
По сторонам вздымаются
Породистые головы
Безмолвных лошадей...
Губами деликатными
Берут с ладоней ласковых
Искристый сахарок,
Косят глазами умными,
Потряхивают челками,
Стучат о доски ножками
И просят: «Дай еще...»
А сбоку, рядом с клетками,
Три журналиста русские
У стойлища слоновьего
Приткнулись в тесноте.
Слон, меланхолик дымчатый,
Качал кишкою-хоботом
И с полным равнодушием,
Как в сумку акушерскую,
В пасть булочки совал.
Индус в тюрбане огненном,

Скрестивши руки тонкие,
Стоял у головы.

* * *

Индусскою осанкою
Невольно залюбуешься,—
Попов вздохнул сочувственно
И вдумчиво изрек:
«Вот, братцы, раса чистая!
Хоть в глупый смокинг выряди
Подобный экземпляр,—
Узнаешь и без паспорта
По тонким пальцам вогнутым,
По перехвату талии,
По бронзовому профилю,
По горделивой выправке
И по разрезу глаз...»
Но Львов с улыбкой хитрою
По-русски вдруг спросил:
«Как звать тебя, почтеннейший?»
«Игнатий Шаповаленко,—
Ответил экземпляр.—
Я в первом отделении
Ковбоя представлял,
Чичас для живописности,
Для привлеченья публики
В индейцах состою,
А в третьем отделении,
В своем природном звании,
В малиновой черкесочке
С медведем я борюсь...»

* * *

«Довольны вашей службою?» –
Спросил его Козлов.
Заскреб в затылке стриженном:
«Пока служу, – не жалуясь,
Хватает на харчи...
Да дело, вишь ты, шаткое,–
Не в моде нынче цирк.
На праздниках, как видите,
Сползается народишко,
А дальше... понимаете,
По всем рядам-скамеечкам
Завелся ветерок...
Ну что ж... Судьба походная,–
Вертись, катись, выискивай.
Давно в артель колбасную
Меня седьмым в компанию
Зовет земляк в Тулон –
Ведь колбаса из моды-то
Еще не вышла, чай?
Вот только жалко до смерти
Мне расставаться с Гришкой,–
Привык я к лопухому,
Как к собственной душе...»

* * *

Слон Гришка вскинул голову,
Мотнул ушами-тряпками,
Насос свой серый вытянул
И в брови Шаповаленко
Сочувственнодохнул.

В разгаре бал земляческий...
Внизу под джаз гундосящий
Танцуют пары вялые,
Стирая добросовестно –
Уже лет десять с хвостиком –
Подметки о паркет.
Внизу народ слоняется,
Как вобла беспризорная,
От лотереи к столикам,
От столиков – на лестницу
И молча циркулирует
То вниз, то снова вверх.
А на эстраде, – слышите? –
Рояль разлился жемчугом,
И женский голос ласковый
Зашелестел над стульями,
Как ветер зоревой.
Плывет романс усадебный,
Звенит во всех углах...
Задумались-заслушались
Все старые-усталые,
В простенке замер с чашкою
Француз-официант.

* * *

Козлов давно уж пристально
Следил за странной личностью –
Веселым, жизнерадостным,
Чудесно припомаженным,
Сияющим улыбкою,
Ботинками и смокингом,

Румяным старичком...
То он с улыбкой светскою
Вверху буфет «поддерживал»,
Хлебнет глоток шампанского,
Прищурит глазки детские,
Раскроет свой бумажничек,—
Изысканным движением
Красавице над стойкою
Протянет ассигнацию —
И сдачи не возьмет...
То в лотерее беженской
Толчется с увлечением,—
Как гимназистик розовый
Билетик за билетиком
Вскрывает, торопясь.
Под мышками — том Чехова,
Будильник, капор вязаный,
Кустарный ковш с павлинами
И ватная боярышня
В кокошнике корабликом,
С лимонною косою...
То вниз к оркестру спустится,
Шепнет два слова на ухо
Лихому барабанщику,—
И музыканты, дьяволы,
Извилистые ухари,
Вдруг грянут «Стеньку Разина»
Под соусом танго.
Чуть ручкой дирижируя,
Пристукивая ножкою,
Ликует-умиляется
Милейший старичок.

Козлов в толпу протиснулся
И Львова равнодушного
Похлопал по плечу.
«Нашел! Нашел счастливого!..
Уж этот не отвертится...
Скажи-ка мне, голубушка,
Кто этот старичок?»
Львов повернул к приятелю
Свой профиль твердокаменный
И отчеканил медленно:
«Бельгийский инженер.
У нас до революции
Лет двадцать жил он в Питере,—
Делами колоссальными
Вертел сей джентльмен...
Увы, мой друг доверчивый!
Как мы счастливица этого,
Бельгийца русопетого,
По эмигрантской линии
Запишем на приход?..»

XVIII

В лесу Булонском сереньком
Под голою акацией
Расселась няня русская
С вязаньем на скамье...
Голодные, продрогшие
Парижские воробушки
Гурьбою подбиралися
И слушали внимательно,
Склонивши набок головы,
Как нянька иностранная
На языке неведомом
Их ласково журит:

«Ах, дурачки вы Божии!
Что в будний день найдете вы
Здесь в городском лесу?
Одни бумажки сальные
На кустиках сырых...
Навелись бы, глупые,
В харчевню нашу русскую –
У Мотт-Пикейной станции:
Там повар, Тит Панкратьевич,
На дворике под лестницей
Вчерашней кулебякою
Вас, сырых, угостит...»

* * *

Шагая в одиночестве
По листьям за скамейкою,
Попов подслушал нянькины
Забавные слова.
Подсел и поздоровался,–
На липу серым дождиком
Метнулись воробьи...
«Что ж, нянюшка... Не поняли
Вас воробьи французские?» –
«От скуки, сударь-батюшка,
Не то что с воробьишками,–
В квартирке нашей махонькой
Я с молью бессловесною
Порою говорю...
Питомец мой Алешенька
Уйдет в лицей ранешенько,
Брожу одна по комнате,
В окошке мгла бесснежная,–
Парижский сизый суп...
А барыня-красавица

Четвертый месяц, миленький,
С сестрой в рулетном княжестве
Танцует трепака...
Вот и живу с Алешенькой.
Придет из школы сумрачный.
„Что нового?“ – „Ах, нянюшка!“
Потом вдвоем обедаем.
Обложится журналами
С мордатými боксерами,
А я сижу-молчу.
Расковыряет вилкою
Стряпню мою несчастную
И к телефону чертову
Приклеится на час:
Трещит, как чиж на веточке,
Смеется-улыбается,–
„Пасе-перепасе...“
Ведь вот для няньки старенькой
Улыбок, сударь, нет.
Потом придут приятели,–
Хоть бы словечко русское!..
Поишь их чаем с кренделем
И думаешь: ох, милые...
Виски-то белобрысые,
Орловские-московские,
А под висками этими
Сплошное фрикасэ...
Пойдут в кино проветриться.
Конечно, няню старую
Не позовет Алешенька,–
Стыдится няньки... Господи!
А кто тебя, губастого,
В Берлине пеленал?
И вот в харчевню русскую
Припрешься к другу-повару,–
Да тоже нынче, батюшка,
И он глядит сычом...

Когда же это кончится?
Вы ж, сударь, образованный,–
По облику видать...»

* * *

Попов ей, как Алешенька,
Сказал, вздохнув:
«Ах, нянюшка!..»
И сплюнул на траву.

XIX

Львов в «Соловье-разбойнике»
Жевал шашлык резиновый,
А за спиной, – прислушался,–
Журчал тихонько беженский,
Весь перцем проштигованный,
Веселый монолог...

* * *

«Бель-серка надоумила:
– Нет, милочка, во Франции
Вернее предприятия,–
Открой-ка ты под Каннами
Персон на двадцать скромненький,
Дешевый пансион.
Потрудишься, повертишься,
Зато в Париж ты вывезешь,–
Зима ведь будет адская! –

Тысчонок пять иль шесть...—
Моя бель-серка умница,—
Проделать репетицию
Всегда благоразумнее
На родственном горбе...
Ну вот я и послушалась,
Сняла заочно стойлище,—
Холеру с кипарисами,
Цыганский мавзолей.
Знакомых всех обегала:
Валите, черти, на лето
Ко мне в „Нуво-Торжок“...
Сосновый лес, магнолии,
Крокет, залив, черемуха,—
Ведь это ж Кот Лазоревый,—
Первейший в мире Кот!
Всем тычу фотографию,—
Конечно, на открыточке
В заочном освещении
Собачья будка старая
Имеет вид шато...»

* * *

«Приехала и ахнула:
Каморки кособокие,
Как ящики яичные,
Взамен комодов – полочки,
Взамен кроватей, милая,
Гнилые топчаны!
На них блины ночлежные,—
Соломка да брезент...
А умывальник, на-ко-ся,
Рушник повесив на ухо,
Плещись-ка у сарайчика

У старого ведра...
Ну вот. Стеклись знакомые,—
Ворчат, бубнят, ругаются...
Одна старушка Божия
Со злости так и скорчилась:
„На то ли из Совдепии
Я кости мои старые
От бесов унесла,
Чтоб их еще во Франции
Томить на сеннике?..“
За двадцать франков, видите ль,
Ты под нее подкладывай
Кушетку Рекамье...
А аппетиты, Господи!
Должно быть, от бессонницы,
Иль от морского воздуха,—
Глаза так и горят.
Уж я двойные порции
Сую без сожаления,
Чтоб обстановку чахлую
Едой перешибить...
Свела через полмесяца
Баланс в расчетной книжечке
И ахнула: горю!
Кабы комар не выручил,—
Пропала бы совсем...»

* * *

«А как комар вас выручил?» —
«Да очень просто, золотко,—
Слетелся туча-тучею
И всех моих нахлебников
В неделю выгнал прочь...
Не балдахины ж с рюшами

Для них мне заводить...
Да, – предприятие верное:
В Париж вернулась гладкая,
Как утка опаленная,–
Ни пуха, ни пера...
С бель-сер на рынке встретила,
Прочла ей декларацию,–
Аж карп у ней под мышкою
Хвостом затрепетал!»

XX

Есть правило отменное:
Когда ты в карты выиграл –
Не расплывайся, душенька,
Блаженною улыбкою
И рук не потирай...
С английским равнодушием
Пройди к столу с закусками,
Заешь зубровку рыжиком
И чинно отойди.

* * *

А дальше... Ноги хитрые
Домой, конечно, тянутся,–
Но не успел в переднюю
Шмыгнуть игрок удачливый,
Как Львов его за пуговку
Под вешалкой поймал...
«С уловом, честь имею, вас».–
«Две сотни франков выиграл»,–
С небрежною усмешкою

Знакомый процедил.
Львов, не теряя времени,
Сейчас же длань за пазуху,
И вынул вдвое сложенный
Билетик с корешком.

* * *

«Савелий Бенедиктович,—
Московского издания
Стариннейший студент!
Не морщитесь, голубушка...
Ужель двадцать четвертого
„Татьянин“ вечер радостный
Вы, друг мой, не украсите
Присутствием своим?
Студента эмигрантского,
Коллегу худосочного,
Подвижника двужильного
Ведь надо поддержать...
Мы с вами в дни далекие
Порой в Москве питались
Одной сухою воблою,—
А нынче вобла — лакомство,
Такие времена-с...
Где милые оболтусы,
Которых по-латыни мы
Натаскивали ревностно
За пять, за шесть рублей?
Где переписка, батюшка?
Где от родных подспорие —
Кредитки материнские,
Посылки с ветчиной?..
Студента эмигрантского
По временам по нынешним,

Ей-Богу, друг мой, надобно
В святые записать...
Днем он за грош с полушкою
У скорняка работает,—
Раскрашивает кроликов
Под голубых лисиц,
По вечерам, по случаю,
Оклеивает комнаты,
Иль в „Дар-Валдае“ беженском
Играет на трубе...
По праздникам, для отдыха,
Проводит электричество
И обновляет яростно,—
В рассрочку безнадежную,—
Паркетные полы...
А ночью, словно каторжный,
В борении с наукою,
Сидит на койке узенькой,—
В глазах темно — слипаются,
Все формулы качаются,
Все строки расплываются,
И лишь душа бодра...
Сам Ломоносов, батюшка,
В подобных обстоятельствах
Под стол швырнул бы лекции,
А эти... Что рассказывать,—
Вы ж сами эмигрант».

* * *

Савелий Бенедиктович
Вдруг Львова взял за пуговку:
«Давайте *два* билетика...
Сосед мой, Павел Карпович,
Вчера ведь тоже выиграл,—

Уж я ему, ракалии,
Второй билет продам».

XXI

Попов стоит на кухоньке,
Закинув руки за спину,
А перед ним копается
В невзрачном чемоданчике
Невзрачный старичок.
«Вот рижского изделия
Занятнейшие книжечки:
„Альков графини Галкиной“,
„Таинственная курица“,
„Монашеские шалости“,
„Вампир и две молочницы“,
„Кровавая пята“...
А это, не угодно ли,
Рассказы Достоевского,—
Писатель завлекательный...
Том несколько подмоченный,—
Недорого возьму.
Вот „Русский сонник“ новенький,
Нью-Йоркского издательства,
Одной вдовой кламарскою
Заказан был по случаю,
Да, вишь, она уехала
С мамашею в Тулон...
Открыток не возьмете ли?
Боярыни в кокошничках
С серебряными блестками,
Полтавские красавицы
Стокгольмского тиснения,
Вот-с троечки московские
Со снегом бертолетовым...»

Возьмите, сударь, серию,—
Пять франков не расход».

* * *

«А как у вас торговлишка?» —
Спросил Попов сочувственно,
И томик Помяловского,
Случайно затесавшийся
Меж рижскими вампирами,
На полку отложил.
«Коммерция — дырявая.
За две недели, верите ль,
Три книжки поваренные,
Да два „Алькова Галкиной“,
Да дюжину открыточек
Сбыл с рук я, господин...
Клиенты все ругаются,
Что к книжкам не подступишься,—
Да я же, сударь, видите,
За грош их продаю...
Весьма средь эмиграции
Упало просвещение,—
На старого, на малого
Ни „Сонником“, ни Гоголем
Теперь не угодишь.
Кино да водка-матушка...
Вот и хожу по лестницам
Неведомо зачем.
Придется, видно, батюшка,
Переменить коммерцию:
Творог да кильки рижские,
Да колбасу копченую
В разнос решил попробовать
Клиентам доставлять...

От чтенья отшатнулись,
А ведь едят, чай, все...»

* * *

Попов плечами вежливо
Пожал в недоумении...
Вчера еще на кухоньке
В затылке скреб с прискорбием
Колбасный поставщик:
«Дела колбасно-сырные,—
Не приведи Ты, Господи!
Придется, — что поделаешь? —
Переменить коммерцию...
У книжника знакомого
В кредит взять сотню книжечек
И по домам попробовать
Клиентам разносить».

XXII

На стареньком диванчике
Лежала, лапы свесивши,
Курчаво-вислоухая,
Поджаро-колченогая,—
Смесь водолаза с таксою,—
Собачка Бардадым.
И слушала внимательно,
Блестя зрачками умными,
Болтая, словно веничком,
Взволнованным хвостом,
Как гость — Козлов с хозяином

Беседовал о ней.

* * *

«А что ж... Сказать по совести,
Пожалуй, этой бестии,
Воспитаннику вашему
В злосчастной эмиграции
Живется лучше всех...
Сыта, в тепле, под крышею,
В углу уютный ящичек
С подстилкой шерстяной,
Хозяин добродушнейший,—
Хоть влезь ему на голову —
Слегка потреплет за ухо
И, вместо назидания,
Достанет из-за пазухи
Кусочек сахарку...
Мы с вами бьемся-мечемся,
А Бардадым Обломовым
Зевает на диванчике,—
Пускай хоть двадцать кризисов:
У шкафа в миске глиняной
Суп с вкусными обрезками,
По щучьему велению,
По вашему радению,
Появится в свой час...»

* * *

«Ох нет, — ответил сумрачно
Хозяин бардадымовский.—
Какое, к бесу, счастье...»

Теперь, когда по городу
Пришлось в тройной пропорции
Весь день с утра гонять,—
В такую мерихлюндию
Впал пес от одиночества,
Что воеет, словно каторжный,
У двери по часам...
Консьержка – баба добрая,
И глуховата, к счастью,
Но вот жильцы ругаются,
Грозятся, чертыхаются,—
Ведь стены-то картонные,—
Собачью эту музыку
Велят искоренить...
Я граммофоны-радио
С душевным содроганием
Ведь слушаю, не жалуясь,—
Но что ж, в чужом отечестве
Не будешь рассуждать...
На полчаса воротисься
В жилье свое пустынное,—
Мой Бардадым, как бешеный,
Танцует вокруг меня...
Визжит, скулит и тявкает,
Оближет руки, бороду,
В глазах немая жалоба,—
Почти что говорит:
„Хозяин! Ангел! Золото!
Зачем, как пес, ты носишься
Теперь по целым дням?!
Я к чашке не притронулся,
Выл три часа с отчаянья,
Уйдешь, – опять до вечера
У двери буду выть...“»
Хозяин крикнул горестно
И посмотрел в окно:
«Придется, – что поделаешь? –

В Нормандское именьице
К консьержкиному дядюшке
На этих днях свезти...»

* * *

Со старого диванчика
Внимательно-внимательно
На хмурого хозяина
Косился Бардадым.
Ах, если бы ужасное
Хозяйское решение
Несчастный мог понять...
У двери в одиночестве
Сидел бы он, как каменный,
Беззвучно б только всхлипывал,—
Покорно б ждал хозяина
И никогда б не выл!

XXIII

«По всем наукам ведрами
Вливают знанья в юношей...
Годами, черти, учатся,—
Корпят в лабораториях,
Торчат в аудиториях:
Образованье высшее,—
Не кот начхал в стакан!..
Ан, на житейском поприще
В дурацкой современности
Все шиворот-навыворот:
То доктора без практики,
То без работы химики,

Юристы, инженеры ли,—
Все нынче не у дел...
А брандахлыст какой-нибудь,
Свистун необразованный,
Вдруг на земном ристалище
Опередит, каналия,
Всех кровных скакунов.
Хотя бы мой племянничек...
А ведь окончил в Сербии
Всего лишь классов пять...»

* * *

За колченогим столиком
В парижской ресторации
Приятно побеседовать,
Макая в чай ватрушечку...
Львов старичка уютного,
Растекшегося мыслию
Насчет образования
Сочувственно спросил:
«А что же, ваш племянничек
Нашел случайно в опере
Брильянт воды лазоревой
В сто двадцать пять карат?
Иль спас раджу от гибели
Во время наводнения?
Или нью-йоркской барыне,
Скелету желтозубому,
Понравился в Биаррице
Своим телосложением?
Во всех подобных случаях
Багаж в пять классов, батенька,
Достаточен вполне...»

«Нет, сударь... Дело, видите ль,
В особом обстоятельстве,—
Племянник унаследовал
По алкогольной линии
По части мочемордия
Особенный талант:
В роду у нас отменные,
Лихие, виртуозные
Водились питухи...
Ну вот и пригодилось,—
В Марселе мой племянничек
Стал первоклассным „барменом“,—
Словцо по-русски дикое,
Но платят хорошо...
В полгода, не поверите,
Стал местной знаменитостью.
Уж капитаны шведские —
Народец понимающий —
И те, собаки, ахали,
Пригубливая дикие,
Племянниковой выделки,
Экспромты спиртуозные —
Коктейльные „ерши“...
Хотя и алкогольная,—
Профессия солидная:
Стал одеваться гоголем,
На книжку стал откладывать...
На ручке — цепь браслетиком,
На пальце — солитер».

Старик сложил салфеточку
И вдруг, притопнув ножкою,
Тремя словами краткими
Счастливица упразднил:
«Был сокол, да скапутился».—
«А что?» — «Да спился, батюшка!
Такое уж занятие...
Теперь в Гренобле чертовом
Бокалы моет грязные
В паршивеньком бистро».

XXIV

За окнами вдоль улицы
Снег меркнет тусклой грядкою,
Фонарь бельмом бессмысленным
Пронзает мглу вечернюю,
Платаны к небу тянутся
Отрубленными лапами...
Среди домов, как взмыленный,
Бездомный ветер носится,—
Эх ты, зима асфальтная,
Бронхитная, гриппозная,
Парижская зима!..
А за окошком низеньким,—
Взгляни сквозь стекла потные,—
В «Царь-Пушке» ресторации
Сидит за круглым столиком
Знакомая компания:
Чернильные закройщики,
Три журналиста старые —
Козлов, Попов и Львов.

Грог – пойло превосходное:
Пар над бокалом плавает,
Грей нос и душу хмурую,
Да медленно прихлебывай
Душистое, горячее,
Заморское питье,–
Да в сердце перелистывай,
Страницу за страницей,
Расстрелянную летопись –
Глухие наши дни...
Львов первый стукнул трубкою,
Молчанье оборвал:
«Ну что, Козлов, дитя мое,
С твоей анкетой дикою
Который день без отдыха,
Как псы репейник ловим мы
На собственном хвосте...
Уж где они – счастливые,
Довольные и бодрые,–
В нахмурившемся тучею
Тридцать втором году?..
Свинья широкозадая –
И та сейчас в истерике,
А эмигрантов лучше бы
Теперь не ворошить...
Я ставлю точку черную,
Я пью за нервы крепкие,–
А счастье, слово русское,
Спит много лет без просыпу
У Даля в словаре...»

Попов лимон обсасывал.
Бывают положения,
Когда ни философия,
Ни юмор и ни лирика
На дне бокала липкого
Ответа не найдут.
Какой тут выход, к лешему?
И только палец медленно
Масонским знаком сдержанным
Хозяину над стойкою
Закажет новый грог...

* * *

Козлов курил сконфуженно...
Но, вспомнив средство старое,
Конфуз свой раздражением
Вдруг круто осадил:
«Любезные попутчики!
Я счастья эмигрантского
Отнюдь не поставщик...
Порой и в копиях брошенных
Находят камень редкостный
Чудеснейшей воды.
Но если копи залиты,—
Ходить вокруг нелепица,
О чем тут толковать...
Ставь точку, — вещь нехитрая,—
Я ставлю многоточие...
Ведь даже кот ошпаренный
Надеждою живет.
А впрочем — баста. В пятницу,
По порученью Наденьки,
Племянницы моей,
Прошу вас к ней, приятели,

На именинный пунш.
Не выть же нам на паперти,
Оскалив к тучам челюсти,
В тридцать втором году...»

XXV

У эмигрантской комнаты
Утроба растяжимая:
Меж шкафом и диванчиком
В табачном сизом облаке
Гостей, как в улье пчел...
Одни, приткнувшись к столику,
Помахивают вилками,
Под мышками соседскими
Протаскивая снесь.
Другие сбились табором
Под лампою висячею
И скопом спорят яростно
В двенадцать голосов...
Прорехи мироздания
Все штопают да штопают,—
Сто сорок восемь методов,
Сто сорок восемь способов,
А толку ни на грош.
В углу, как полагается
По русскому обычаю,
Скрежещет «Стеньку Разина»
Вспотевший граммофон...
Ох ты, напев разбойничий!
Ты к быту эмигрантскому
Прилип без всякой логики,—
Ни кильки съест без «Разина»,
Ни выпить без него...
В чаду юлою носится

Кубышка ясноглазая,
Хозяйка-именинница,
Уютнейшая Наденька,—
Одних халвой попотчует,
Другим нальет винца...
Но вдруг она прислушалась,
Нырнула быстро в спальенку,—
И вот, через минуточку
Из-за портьеры пестренькой
С лукавою улыбкою
Зовет Козлова-дядюшку
И двух его коллег.
В плетеной люльке с рюшами,
Прочь одеяло сбросивши,
Лежал, гребя ручонками,
Румяный отпрыск Наденькин,
Беззубый колобок...
В улыбке морща рожицу,
На лампочку поглядывал,—
На вспыхнувший в тюльпанчике
Лучистый пузырек...
То вдруг с серьезной миною,
Глазами удивленными
Осматривал внимательно
Карниз вдоль потолка,—
Как будто с напряжением
За белой чистой линией
Он будущее смутное
Пытался разгадать...
То снова вскинув плечики,
С блаженною улыбкою
Пуская пузыри,
Мальш под «Стеньку Разина»
Коленки задирает...
«Вот, дядя, — тихо молвила,
Склонясь над люлькой, Наденька,—
Немало дней вы мыкались,

Искали все втроем:
Кому среди эмиграции
Живется хорошо...
Взгляните в люльку, дядюшка,–
Не Мишка ли мой тепленький,
Курносое сокровище,
Единственный, без примеси,
Счастливый эмигрант?»

* * *

«А ведь права племянница»,–
Сказал Козлов взволнованный.
«Права», – шепнул, насупившись,
Задумчивый Попов.
«Права», – как эхо тихое,
Удостоверил Львов.

<1931–1932>

Комментарии

Принцип размещения материала в каждом томе, принятый в настоящем собрании сочинений Саши Черного, а также круг вопросов, на которые призван ответить комментарий, подробно освещены во вводной статье к комментарию 1-го тома. Здесь повторим главное: в основу построения и размещения материала положен хронологический принцип. При этом учтена авторская воля, выраженная в виде книг, составленных и композиционно выстроенных самим поэтом. В частности, для 2-го тома такой книгой является «Жажда» (1923), как бы подведшая итог взвихренной и трагедийной эпохе, вместившей в себя войну, революцию, беженство, первые годы эмиграции.

«Третьей книге стихов» (такой подзаголовок значится на титуле «Жажды») суждено стать последней прижизненной поэтической книгой Саши Черного. До конца дней своих он много и продуктивно работал как поэт, сотрудничая в повременной печати русского зарубежья. Вполне понятно, что у него возникало желание собрать написанное в зарубежье под одной обложкой. Так, в ответе на вопрос анкеты в 1931 году поэт сообщил, что готовит книгу стихов «Под небом Франции». Издание, увы, не состоялось, и нам остается только гадать, какой виделась эта книга автору.

Как поступить с этими «несобранными» стихотворениями? Наиболее простым решением было бы все их расположить в хронологическом порядке. Однако подобная разноголосица несвойственна стихотворным книгам Саши Черного. Их отличает сплошная циклизация, то есть объединение стихов в связки-разделы, долженствующие дать вкупе гармонизированное представление о мире поэта. Отсюда возникло решение воссоздать, по мере возможности, несостоявшуюся книгу Саши Черного, объединившую его позднюю поэзию. Эта сверхзадача была бы неразрешимой, если бы в качестве проводника не выступал сам автор. При внимательном чтении обнаруживаются опознавательные знаки и вехи, указывающие пути к будущей книге. Это: сквозные рубрики, циклы, подзаголовки. Само собой, принятая схема не претендует на универсальность и

бесспорность – в таком деле элемент субъективности неизбежен. Легко представить «перетекание» того или иного стихотворения в другой раздел. Возможно слияние самих разделов. Думается, однако, что тематическое и жанровое разнообразие музыки Саши Черного в изгнании воплощено в этом издании с исчерпывающей полнотой.

Всего сформировано 12 разделов. Доводы и соображения для их выделения изложены в преамбуле, которой снабжен комментарий к каждому разделу. Очередность, в которой размещены разделы, в какой-то мере отражает судьбу поэта в эмиграции: Берлин – Рим – Париж – Прованс. Внутри разделов строгое следование хронологии: стихи расположены в порядке появления их в печати.

Поэзия 2-го тома ограничена временными рамками: 1917–1932. Иными словами, годом революции и годом смерти поэта. Не обошлось, правда, без исключений. Так, первые стихи о войне помечены самим автором 1914 годом. Однако впервые в печатном виде они появились в 1923, в книге «Жажда». Кроме того, туда же автор включил три стихотворения, опубликованные ранее в российской периодике еще до войны.

Таким образом, за малым вычетом свод произведений, составивших 2-й том настоящего собрания сочинений Саши Черного, можно назвать эмигрантским, ибо появились они в печати после 1920 года – года, когда поэт навсегда покинул Россию. Отсюда название тома: «Эмигрантский уезд» (выражение, заимствованное у поэта). За пределами этого тома осталось около 50 стихотворений, опубликованных Сашей Черным за рубежом (стихи для детей в этот счет не входят). Не учтены также стихи, затерянные в «кипящем котле» революции и гражданской войны. Есть надежда (правда, слабая), что кое-что обнаружится на страницах эфемерных изданий русского лихолетья. К сожалению, этот «печатный архив», до недавнего времени закрытый, зияет обширными лакунами – отсутствуют не только отдельные номера, но целые комплекты газет и журналов. Эти стихи, написанные ни в старой России, ни «после России», можно назвать стихами «промежутка». Одно из таких, чудом дошедших до нас стихотворений, – «Слухи» поставлено особняком, как бы вынесено за скобки основного корпуса данного тома.

Завершают 2-й том два эпических произведения Саши Черного, написанные на чужбине. Это поэмы – «Дом над Великой» и «Кому в

эмиграции жить хорошо». После того как первая из поэм была опубликована, поэт возвращался к работе над ней. Дополнительные главы отдельным блоком также включены в это издание.

О датировке. Как правило, дается она по первой публикации. В этом случае дата заключена в угловые скобки, что означает косвенный способ ее установления. В подавляющем большинстве время написания и публикации практически совпадают. В тех редких случаях, когда имеются факты, устанавливающие более ранний срок написания стихотворения, указываются две даты (дата написания в двойных угловых скобках, дата публикации – в одинарных). Если дата и место появления стихотворения даны без скобок, значит помета сделана самим автором.

Комментарий к каждому произведению содержит библиографическую справку о первой публикации. Для журналов указываются год, номер и страница, для газет – год и дата. Это различие позволяет не путать печатные органы, что особенно важно, если они имеют одинаковое название (к примеру, в Праге выходила газета и журнал «Воля России»). Подпись под произведением фиксируется лишь в том случае, если она не совпадает с главным псевдонимом поэта – А. Черный. Публикации анонимные отнесены к *dubia*, что означает – приписываемое. Много таких стихотворений публиковалось в «Бумеранге» – отделе сатиры и юмора, который организовал и практически целиком заполнял собственными материалами Саша Черный в журнале «Иллюстрированная Россия». Подробная информация об этом разделе в 3-м томе настоящего собрания. Библиографические сведения включают также название цикла или рубрики, заявленной автором при публикации.

Что касается собственно комментария, то – чтобы не повторяться – отсылаю читателя к вводной статье комментария 1-го тома, где подробно очерчен круг освещаемых вопросов. Замечу только, что в данном томе особый пласт составили житейские реалии «эмигрантского уезда», персоналии и топонимика русского рассеянья за рубежом, а также разъяснение русифицированных слов и выражений.

Тексты печатаются по книге стихов «Жажда», либо по прижизненным публикациям в периодических изданиях и сборниках. Текстология их сравнительно проста, ибо первая публикация чаще

всего была единственной. При подготовке к печати тексты приведены в соответствие с современными правилами правописания и пунктуации (если это не влекло нарушения авторского замысла).

Купюры в цитатах комментария обозначены многоточием, заключенным в угловые скобки – <...>.

Ниже приведен перечень и расшифровка наиболее часто повторяющихся в комментарии печатных источников, а также принятые сокращения наименований.

Голос России – *Голос России*. Ежедневная газета, орган независимой русской политической и демократической мысли. – Берлин, 1919–1922.

Жажда – *А. Черный. Жажда*. Третья книга стихов. – Берлин, 1923.

Жар-Птица – *Жар-Птица*. Ежемесячный литературно-художественный журнал. – Берлин, 1921–1926.

Зеленая палочка – *Зеленая палочка*. Двухнедельный иллюстрированный журнал для детей. – Париж, 1920–1921.

Илл. Россия – *Иллюстрированная Россия*. Еженедельный литературно-иллюстрированный журнал. – Париж, 1924–1939.

Перезвоны – *Перезвоны*. Еженедельный литературно-художественный журнал. – Рига, 1925–1929.

Последние новости – *Последние новости*. Ежедневная газета. – Париж, 1920–1940.

Русская газета – *Русская газета*. – Париж, 1923–1925.

Руль – *Руль*. Ежедневная газета. – Берлин, 1920–1931.

Сегодня – *Сегодня*. Независимая демократическая газета. – Рига, 1919–1940.

Слухи*

Народное эхо (Пятигорск). 1917, 13 июня.

Поставленное особняком стихотворение, которым открывается 2-й том, – одно из немногих известных нам произведений Саши Черного времени революции. Возникает параллель с «Чепухой», родившейся в «дни свобод» и российской смуты 1905 года и явившейся переломным в творчестве поэта. Здесь тоже мир явлен на

изломе, когда химерическая действительность перемешана со слухами, пересудами и «сведениями из достоверных источников», сообщаемых прессой.

Цеппелин – дирижабль жесткого типа, получивший название по имени изобретателя – генерала Ф. Цеппелина (1838–1917). Использовался во время войны для бомбардировки.

Гинденбург Пауль фон (1847–1934) – командующий в первую мировую войну войсками восточного фронта. *Цитра* – музыкальный инструмент наподобие гитары.

...Бывший царь <...> навострил к пруссакам лыжи. – Летом 1917 года муссировались слухи, что Николая II, находившегося под домашним арестом в Царском Селе, собираются вывезти за границу. Для проверки была даже направлена исполкомом Петроградского Совета комиссия во главе с С. Мстиславским.

Жажда*

«Третья книга стихов» Саши Черного вышла в середине 1923 года в Берлине, в издании автора. Замысел ее относится, по-видимому, к началу эмиграции, когда в берлинском журнале «Русская книга» появилось сообщение о том, что Саша Черный «готовит к печати третий том стихов, куда войдут: лирическая поэма „Ной“, сатирические диалоги „Продолжение одного разговора“, цикл лирических стихотворений „Искания“, стихи о войне 1914–1917 годов и ряд других стихотворений, написанных в период 1917–1920 гг.». Впоследствии план этот претерпел изменения. Не были в «третий том» включены сатирические диалоги и «Ной», но зато добавлены стихи, написанные в период 1921–1923 годов. Всего в книгу вошло 87 стихотворений, из которых лишь три были напечатаны до революции. Остальные – впервые опубликованы в «Жажде», либо до этого печатались в эмигрантской прессе.

Война*

ПЕСНЯ ВОЙНЫ – Жажда. С. 7–8.

Сохранился автограф стихотворения в РГАЛИ (ф. 169, оп. 1, ед. хр. 907), ориентировочно датируемый 1913 годом, с несколько иным расположением строф и строк и с незначительными разночтениями.

Написано в связи с военными действиями на Балканах 1912–1913 годов, явившимися как бы прелюдией к первой мировой войне.

СБОРНЫЙ ПУНКТ – Жажда. С. 9.

Петербургская сторона. – Административно Петербург был поделен на 12 полицейских частей. К Петербургской части (стороне) относились острова Петербургский и Крестовский, где в это время жил Саша Черный.

...в стенах военного училища. – Видимо, речь идет о военнотопографическом училище на Б. Гребницкой ул. (Крестовский остров). Вероятно, отсюда он был призван на фронт.

НА ФРОНТ – Жажда. С. 10.

Согласно выписке из послужного листа А. М. Гликберга, он был призван из запаса в мобилизацию заведующим формированием военно-лечебных заведений, неприданых войскам в Петрограде, в 13-й полевой запасной госпиталь, который был отправлен на фронт под Варшаву в составе Варшавского сводного полевого госпиталя № 2 (РГВИА, ф. 2212, оп. 4, д. 162, л. 147).

РЕПЕТИЦИЯ – Жажда. С. 11.

НА ЭТАПЕ – Жажда. С. 12.

Ретирада (фр. *retirade*) – отхожее место.

АТАКА – Жажда. С. 13.

Ломжа – город в Польше.

ОДИН ИЗ НИХ – Жажда. С. 14–15.

ПРИВАЛ – Жажда. С. 16–17.

ПЛЕННЫЕ – Жажда. С. 18.

Червонный Бор – город в Польше.

Михрютка – тщедушный, невзрачный человек.

ПИСЬМО ОТ СЫНА – Жажда. С. 19.

В ОПЕРАЦИОННОЙ – Жажда. С. 20–21.

В рапорте главного врача Варшавского сводного полевого запасного госпиталя № 2 от 18 марта 1915 года говорится, что рядовой из вольноопределяющихся 2-го разряда Александр Михайлович Гликберг состоит на должности палатного надзирателя в госпитале; на него возложены занятия в медицинской части госпитальной канцелярии; отличается выдающимися служебными и нравственными качествами и, благодаря отличным способностям и образованности,

приносит большую пользу госпиталю (РГВИА, ф. 2212, оп. 4, д. 162, л. 147).

ЛЕГЕНДА – Голос России. 1920, 11 апреля.

В ШТАБЕ НОЧЬЮ – Жажда. С. 23.

ЧУЖАЯ КВАРТИРА – Жажда. С. 24–25.

Приготовишка – ученик подготовительного класса гимназии.
Замброво – город в Польше.

ПОД ЛАЗАРЕТОМ – Жажда. С. 26–27.

БУДНИ – Жажда. С. 28–29.

ОТСТУПЛЕНИЕ – Жажда. С. 30.

РЕВИЗИЯ Жажда. С. 31–33.

По всей видимости, в этой стихотворной зарисовке запечатлена интендантская ревизия генерала К. П. Губера (о нем см. ниже).

Буцефал – любимый конь Александра Македонского.

ОДА НА ОСТАВЛЕНИЕ ДОКТОРОМ ДРЖЕВЕЦКИМ 18-ГО ПОЛЕВОГО ГОСПИТАЛЯ – Жажда. С. 34–35.

Држевецкий Алексей Феликсович (1876–1943) – главный врач 18-го полевого госпиталя, располагавшегося во время войны в Пскове, в помещении Поганкиных палат. Попав в начале 1916 года под его начало, Саша Черный впервые за годы войны обрел душевное спокойствие и после долгого творческого молчания вновь вернулся к стихам. Непосредственным поводом к написанию «Оды» послужил перевод Држевецкого в начале 1917 года в Управление военных сообщений Пскова, куда вскоре переведен был и Саша Черный. В семье Држевецкого сохранился автограф «Оды», подаренный поэтом. В нем имеются разночтения с печатным текстом: ст. 24 «И мчится Костяшкин к нему на рысях», ст. 34 «Об отпуске клюквы и масла».

Коллежский советник – в табели о рангах чин, относящийся к 6-му классу. В военном ведомстве соответствовал званию полковника.

Суд Соломона – крылатое выражение, основанное на библейской легенде и употребляемое в значении: суд мудрый и скорый.

ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА К. П. ГУБЕРА – Жажда. С. 36–37.

Губер К. П. (1854–1916) – генерал-лейтенант. Во время русско-японской войны исполнял обязанности главного полевого интенданта. Впоследствии служил в Житомире, где вышел в отставку в 1911 году. Во время первой мировой войны состоял в должности начальника санитарного отдела штаба 5-й армии. Именно он ходатайствовал в

марте 1915 года о переводе палатного надзирателя сводного Варшавского госпиталя № 2 А. М. Гликберга во вверенное ему санитарное управление с тем, чтобы зачислить его на должность зауряд-военного чиновника. (РГВИА, ф. 2212, оп. 4, д. 162, л. 146 и 148).

...Хоронили в полдень на Смоленском. – К. П. Губер скончался от крупозного воспаления легких 16 февраля 1916 года в Петрограде. В траурном сообщении говорилось: «Погребение на Смоленском кладбище завтра 18 февраля. Вынос тела в 9 1/2) часов утра из квартиры покойного (Алексеевская, 10, кв. 27)» (Новое время. Пг., 1916, 17 февраля). В той же газете (от 21 февраля) помещено фото Губера.

СЕСТРА – Жажда. С. 38–39.

Ломжа – см. выше.

НА ПОПРАВКЕ – Жажда. С. 40.

На Литве*

ДОКТОРША – Альманах «Грани». Кн. 1 (Берлин). 1922. С. 163–172.

Вилия – река в Литве.

Грудной чай – лечебный настой из трав.

Кошедары – железнодорожная станция между Вильно и Ковно.

Дармштадт – город в Германии.

ОАЗИС – Голос России. 1920, 25 апреля.

Феб (греч. – блистающий) – в древнегреческой мифологии одно из имен бога Аполлона, отождествлявшегося с солнцем.

Гарус – пряжа из шерсти овец особых пород; тонкая пlying-пряжа; предназначается для вышивания по канве.

...Старик Руссо вполне был прав: рок горожан ужасно тяжок. – Имеется в виду французский писатель и философ Жан Жак Руссо (1712–1778), подвергавший резкой критике цивилизацию, которая, как он считал, нивелирует индивидуальность; противопоставлял ей культ природы.

Серсо (фр. серсеау, букв. обруч) – игра, участники которой ловят обруч специальной палочкой.

«Нива» – еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и научно-популярный журнал, издававшийся в

Петербурге в 1870–1918 годах; пожалуй, наиболее распространенный и популярный в старой России. *Торквато Тассо* (1544–1595) – итальянский поэт эпохи Возрождения.

Тубероза – многолетнее декоративное растение с белыми душистыми цветами.

АМЕРИКАНЕЦ – Сегодня. 1923, 22 марта.

Главный герой стихотворения – посланец американской благотворительной организации именованной сокращенно «АРА». В ее задачи входило оказание помощи населению продовольствием, одеждой и медикаментами на территориях, пострадавших от войны, – в Польше, Австрии, на юге и западе России. После 1921 года в зону действий АРА была включена и Советская Россия.

Рахиль – в ветхозаветном предании жена Иакова (Быт. XXIX, 6, 28).

Квакер – член религиозной христианской общины в Англии и США, проповедующей пацифизм и занимающейся благотворительной деятельностью.

Ринальдо Ринальдини – благородный разбойник, герой одноименного романа немецкого писателя К. А. Вульфмуса (1762–1827)

Швивая горка – искаженное название (правильно – Швивая Горка) старой московской Гончарной улицы, прилегающей к Таганке.

ЯБЛОКИ – Зеленая палочка. 1921, № 1. С. 1. В цикле из трех стихотворений под общим заголовком «В саду».

Кошедары – см. выше.

«НА МИГ ЗАБЫТЬ – И ВНОВЬ ТЫ ДОМА...» Воля России (Прага). 1922, № 6. С. 14–15. В цикле из пяти стихотворений под общим заголовком «На Литве». То же относится к четырем следующим стихотворениям.

УТРОМ – Воля России (Прага). 1922, № 6. С. 15–16.

ПОДАРОК – Воля России (Прага). 1922, № 6. С. 17.

АИСТЫ – Воля России (Прага). 1922, № 6. С. 18.

ТАБАК – Воля России (Прага). 1922, № 6. С. 15.

МОГИЛА В САДУ – Жажда. С. 82.

Чужое солнце*

С ПРИЯТЕЛЕМ – I. «Сероглазый мальчик, радостная птица...»; II. «Мы с тобой два знатных иностранца...»; III. «Все местечко засыпает...»; IV. «Кем ты будешь? Ученым, свободным ученым!» – Свободные мысли (Париж). 1920, 27 сентября; V. «Каждый встречный на дороге...» Альманах «Русский сборник» (Париж). 1920. С. 179. Стихотворение в альманахе и цикл в газете были озаглавлены одинаково: «На чужбине». Помета, сделанная автором в «Жажде»: «1921», – ошибочна. Дата исправлена по году публикации.

СОЛНЦЕ («На грязь вдоль панели...») – Сегодня. 1923, 1 апреля.

...*Ведет собачонка <...> слепого солдата.* – Об этой, по всей видимости, характерной примете послевоенного Берлина говорится в очерке «На паперти» А. Яблоновского: «Я часто видел в Берлине слепых солдат, которых водят на ремешке собаки, так называемой, волчьей породы. Это прекрасно дрессированные животные, умные, добрые, верные – настоящие „братья милосердия“ на четырех ногах. На ошейнике у них знак Красного Креста, и умные псы понимают (так, по крайней мере, мне кажется), что этот знак выделяет их из всей собачьей среды» (Русский инвалид, Париж. 1926, 6–9 мая).

«НА БЕРЛИНСКОМ БАЛКОНЕ...» – Альманах «Грани». Кн. 2 (Берлин). С. 123. В цикле из шести стихотворений под общим заголовком «В чужом краю».

...*Острогранной больницы сухой силуэт.* – Эта подробность подтверждена в воспоминаниях Г. В. Алексеева, нередко бывавшего в берлинской квартире поэта: «В окошко стучатся желтые кисти лип, напротив, по дорожкам, прохаживаются парами девицы в белых передничках. Он, впрочем, объясняет, что это венерическая больница и из ста девиц шестьдесят – безносые» (Встречи с прошлым. Вып. 7. М., 1990. С. 172).

ПОДЕНЩИЦА – Жажда. С. 96–97.

ВЕСНА В ШАРЛОТТЕНБУРГЕ – Сполохи (Берлин). 1921, № 1. с. 2.

Шарлоттенбург – район в западной части Берлина, где по преимуществу обосновывалась русская эмиграция в начале 20-х годов. На визитной карточке сохранился адрес поэта: Шарлоттенбург, Валштрассе, 61.

В ГАРЦЕ – Альманах «Грани». Кн. 2 (Берлин). 1923. С. 117–118. В цикле из шести стихотворений под общим заголовком «В чужом

краю». То же относится к следующему стихотворению.

Гарц – горный массив в Германии.

«КОГДА, КАК БЕС...» – Альманах «Грани». Кн. 2 (Берлин). 1923. С. 118.

КОРЧЕВКА – Жажда. С. 101.

В СТАРОМ ГАННОВЕРЕ – Сегодня. 1922, 3 декабря.

Ганновер – город в Германии, земля Нижняя Саксония. *Цитра* – см. выше.

ГЛУШЬ – Альманах «Грани». Кн. 2 (Берлин). С. 119–120. В цикле из шести стихотворений под общим заголовком «В чужом краю». То же относится к следующему стихотворению.

У ЭЛЬБЫ – Альманах «Грани». Кн. 2 (Берлин). С. 115–116.

В САКСОНСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ – Сегодня. 1923, 28 января.

МИРАЖ – Альманах «Грани». Кн. 2 (Берлин). С. 121. В цикле из шести стихотворений под общим заголовком «В чужом краю».

КУРОРТНОЕ – Жар-Птица. 1921, № 1. С. 39–40.

Енох – ветхозаветный патриарх.

Курзальный грот – то есть курзал, культурно-развлекательное заведение для курортной публики.

Albeck – курорт на острове Узедом, на севере Германии.

НАД ВСЕМ – Жажда. С. 120–121.

Kölpinsee – курорт на берегу одноименного озера на севере Германии.

«ГРУБЫЙ ГРОХОТ СЕВЕРНОГО МОРЯ». – Сегодня. 1922, 3 сентября.

Kölpinsee – см. выше.

«ЛЕСОВ ТЕНИСТЫЕ ПОКРОВЫ...» – Жажда. С. 123.

ИСКУССТВО Жар-Птица. 1921, № 1. С. 6.

Эдем по библейской легенде страна, где обитали Адам и Ева до грехопадения; синоним рая.

Фидий (5 в. до н. э.) – древнегреческий ваятель периода высокой классики.

«ЗДРАВСТВУЙ, МУЗА! ХОЧЕШЬ ФИНИК?» – Жажда. С. 126.

Марсала – сладкое крепкое вино, с характерным запахом корабельной смолы. Своим названием обязано г. Марсала (Сицилия).

МАНДОЛА – Сегодня. 1923, 11 февраля.

«ТЕХ, КТО СТРАДАЕТ ГОРДО И УГРЮМО...» – Жажда. С. 128.

Русская Помпея*

«ПРОКУРОРОВ БЫЛО СЛИШКОМ МНОГО!» – Жажда. С. 131.

ИГРУШКИ – Жар-Птица. 1921, № 4/5. С. 2–4.

В главном герое стихотворения угадываются черты и реалии, указывающие на его прототипа – художника-офортиста В. Д. Фалилеева. Это и петербургское местожительство Фалилеева – Академия художеств, что близ Тучкова моста, и намек на пензенское происхождение художника, и наконец, его увлечение русской глиняной игрушкой. Знакомство поэта и художника произошло в Италии в 1912 году. Затем они совместно выпустили две книжки для детей: «Тук-тук!» и «Живая азбука». В последней дан словесный портрет иллюстратора, почти дословно совпадающий с описанием его в стихотворении «Игрушки»:

Утром в дверь стучит художник
(Толстый, с черной бородой
И румяный, как пирожник),–
Это был приятель мой.

Подробнее об их дружбе и творческих связях см.: *Иванов А. С.* «Не упрекай за то, что я такой...» // Панорама Искусств. Сб. 10. М., 1987.

...Между рам <...> рюмка с кислотой. – Было принято ставить между рамами раствор кислоты, чтобы не замерзали стекла.

«Из страны далекой» – студенческая песня на слова Н. Языкова. Написана в период его учебы в Дерптском университете и положена на музыку А. А. Алябьевым.

Горняк – зд.: студент или выпускник Горного института.

Бомбоньерка – изящная коробка для конфет.

Валькирия – в скандинавской и древнегерманской мифологии – дева-воительница.

Макитра – глиняный горшок, в котором толкут мак или табак.

НЕВСКИЙ – Сегодня. 1922, 12 ноября.

Александровский сад – сквер в Петербурге, расположенный перед зданием Адмиралтейства, между Дворцовой и Сенатской площадями,

излюбленное место гуляющей публики. В сквере установлены памятники В. А. Жуковскому и исследователю Средней Азии Н. М. Пржевальскому.

...рев полдней пушки. – Традиционный пушечный выстрел, производимый ровно в полдень со стены Нарышкинского бастиона Петропавловской крепости.

...горит аптечное окно пузатым голубым графином. – Существовал обычай оформлять витрины аптек цветными шарами и сосудами, заполненными цветной жидкостью.

...Все те же кони и атлеты. – Скульптурные группы П. К. Клодта «Укрощение коня», украшающие Аничков мост через реку Фонтанку в Петербурге.

«Александр» – универсальный магазин торговой фирмы «Александр» (Невский проспект, 11).

Садок – огороженное сеткой место для содержания в воде живой рыбы.

ВЕСНА НА КРЕСТОВСКОМ – Жар-Птица. 1921, № 2. С. 20.

Посвящение А. Куприну объясняется, очевидно, тем, что в августе 1921 года была восстановлена дружеская связь между двумя писателями, прерванная в годы войны, революции и беженства. Узнав через А. М. Федорова адрес Куприна, перебравшегося из Финляндии в Париж, Саша Черный пишет ему и приглашает к сотрудничеству в редактируемой им «Жар-Птице» и других берлинских изданиях (см. *Куприна К. А. Куприн – мой отец. М., 1977. С. 206–211*).

Крестовский остров – один из трех островов в дельте Невы. Здесь поэт жил с 1911 по 1914 год. *Крестовка* – речка, один из рукавов Невы, омывающий северную часть Крестовского острова.

...Затекишие руки дорвались до гребли. – Дом поэта находился неподалеку от лодочной станции, и он нередко брал лодку напрокат. К. И. Чуковский застал его однажды за таким занятием: «Он сидел полуголый в лодке, взятой, очевидно, напрокат, его черные глаза маслянисто поблескивали. Лодка была полна малышей, лет семи или немного постарше, которых он только что прокатил до моста и обратно, и теперь его ждали другие, столпившиеся неподалеку на сваях: „Саша, сюда, сюда!“» (*Чуковский К. И. Современники. М., 1967. С. 368*).

...Гармонь изнывает в любовной горячке. – Лодочные катания с музыкой и пением были излюбленным воскресным отдыхом петербургского простонародья – мещан и низшего чиновничества.

Стрелка – западная оконечность Крестовского острова, омываемая водами Финского залива.

НА «ОСТРОВАХ» – На чужбине. Сб. 1 (Ревель). 1921. С. 3.

«Острова» – такое обобщенное название дали петербуржцы трем островам Невской дельты – Крестовскому, Елагину и Каменному. Это были места праздничных гуляний горожан.

Вейка – легкие санки для катаний во время масленицы. По установившемуся обычаю возницами были финские крестьяне, приезжавшие на праздники из окрестных деревень.

ПСКОВ – Набат (Псков). 1917, 19 сентября. С подзаголовком: Из цикла «Русская Помпея». (Библиографические сведения сообщены С. А. Золотцевым.)

...у мыса <...> игрушка-монастырь. – Мирожский монастырь в Пскове, один из древнейших на Руси (основан до 1156 года). Прекрасный вид на него открывался с высокого берега реки Великой.

С МОСТА НАД ПСКОВОЙ – Набат (Псков). 1918, 21 апреля. (Библиографические сведения сообщены С. А. Золотцевым.)

ГОСТИНЫЙ ДВОР – Воля России (Прага). 1921, 27 марта. В цикле из трех стихотворений под общим заголовком «Псков».

ПСКОВИТЯНКА – Набат (Псков). 1918, 21 апреля. (Библиографические сведения сообщены С. А. Золотцевым.)

Поганкины палаты – памятник архитектуры 16–17 веков, когда возводились дома-крепости. Трехэтажное здание из камня-плитняка получило название по имени первых владельцев – купцов Поганкиных. В годы войны здесь располагался лазарет, где служил Саша Черный; ныне – художественный музей г. Пскова.

Чесуча – плотная шелковая ткань. Одежда из чесучи считалась признаком барства, обеспеченности.

...Из трактира ржет машина. – Механический орган (фисгармония), который обычно заводили в трактирах для развлечения посетителей.

В ОДЕССЕ – Сегодня. 1923, 7 апреля. Под заглавием «В старой Одессе».

Памятник «Дюку» – скульптурный бронзовый монумент Ришелье дю Плесси (1766–1822), первому градоначальнику Одессы.

Николаевский бульвар – одна из оживленных улиц Одессы (ныне Приморский бульвар).

ПОЛТАВСКИЙ РАЙ – Альманах «Энергия». Сб. 3. 1914. С. 9. В цикле из пяти стихотворений под общим заголовком «Летние сны», с незначительными разночтениями.

«В ПЫШНОЙ ВИШНЕ ДРОЖЬ И ШОРОХ». – Жажда. С. 154.

ЗАТОН – Жажда. С. 155.

НА ТОКУ («В стогу молодой соломы...») – Киевская мысль (Киев). 1912, 25 марта.

ПРУД – Зеленая палочка. 1921, № 1. С. 8. В цикле из трех стихотворений под общим заголовком «В саду».

НЯНЬКА – Жажда. С. 158–159.

Напечатано впервые в газете «Киевская мысль» 13 мая 1912 года под названием «Картина», но в более обширном объеме и с некоторыми разночтениями. Впоследствии Саша Черный из этого стихотворения сделал два: одно – «Храбрецы» (сб. для детей «Тук-тук!»), другое – «Нянька».

Цирцея – в древнегреческой мифологии волшебница с острова Эя, одна из героинь «Одиссеи», коварная обольстительница.

ШАЛАШИК – Зеленая палочка. 1921, № 1. С. 9. В цикле из трех стихотворений под общим заголовком «В саду».

ЗИМА – Воля России (Прага). 1921, 20 февраля. В цикле из шести стихотворений под общим заголовком «Русская зима».

БАЛ В ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ – Жар-Птица. 1922, № 6. С. 33–34. С подзаголовком: Рассказ в стихах.

Пехотный Вологодский полк – полное наименование: Вологодский 18-й пехотный, Его Величества короля Румынии полк. В начале XX в. дислоцировался в Житомире. Здесь проходил воинскую службу на правах вольноопределяющегося А. М. Гликберг: с 1 сентября 1900 года по 25 октября 1902 года (РГВИА, ф. 2212, оп. 4, д. 162, л. 147).

Губернатор Фан-дер-Флит. Настоящая фамилия житомирского губернатора была Дунин-Борковский. Поэт воспользовался другой фамилией, которая могла запомниться ему по Пскову. Там почетом и известностью пользовалось имя сановника и мецената Н. Ф. Фан-дер-

Флита (1840–1896). На его средства была организована художественно-ремесленная школа, названная его именем. В этом же стихотворении фамилия житомирского губернатора (в слегка трансформированном виде) отдана другому персонажу – поручику Грум-Борковскому.

Классик – ученик классической гимназии.

Пепиньерка – выпускница закрытого учебного заведения, оставшаяся в нем для педагогической практики.

ПОЖАРНЫЙ – Голос России. 1921, 28 августа. С подзаголовком: Из цикла «Русская Помпея».

В экземпляре альманаха для детей «Радуга», хранящемся у составителя, последняя строка стихотворения «Пожарный» зачеркнута и вместо нее рукой автора вписано: «Ах, не знает пожарный, не знает, какой он герой». По-видимому, этот вариант написан специально для девочки, которой была подарена данная книга с инскриптом следующего содержания: «Милой имениннице Лизе. Саша Черный. 5/IX-1926. La Favière».

РЕПЕТИТОР – Звено. Сб. 1 (Берлин). 1922. С. 30.

О ЧЕМ ПОЕТ САМОВАР – Зеленая палочка. 1920, № 2. С. 3. С иллюстрациями Ре-Ми.

ЗМЕЙ – Жажда. С. 180–181.

ПУШКИН – Свободные мысли (Париж). 1920, 18 октября. С разночтением в 35 ст.: «Никогда, товарищ Блок и Брюсов».

ПАМЯТИ Л. Н. АНДРЕЕВА – Свободные мысли (Париж). 1920, 11 октября. С незначительными разночтениями.

...Мы знали «пугает – не страшно». – Выражение Л. Н. Толстого, облетевшее всю Россию: «А этот нынешний Андреев, он хочет удивить, хочет напугать меня, а мне не страшно». Высказано оно было в беседе с журналистом Н. Е. Фельзенем по поводу «Рассказа о семи повешенных» (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1978. С. 304).

«Красный Смех», «Царь-Голод», «Анатэма» – произведения Л. Андреева.

...Одно только слово «спасите». – Имеется в виду статья-памфлет «S.O.S.», впервые напечатанная в «Общем деле», 1919, 24 марта. В ней содержался призыв к странам Антанты начать вооруженную интервенцию во имя спасения России.

...Под сенью финляндского бора лежит он. – Л. Андреев завещал похоронить себя в Москве, рядом с могилой своей первой жены. Поскольку волю писателя выполнить не было возможности, гроб, запаянный в цинк, был установлен в часовне финского поселка Нейволе. Через пять лет, в 1924 году, гроб был предан земле на берегу Финского залива в Тюрсево. В 1956 году прах был перенесен на Литераторские мостки Волкова кладбища в Ленинграде.

«АХ, ЗАЧЕМ НЕТ ЧЕХОВА НА СВЕТЕ!» – Сегодня. 1922, 15 октября.

А. П. Чехов был одним из тех «вечных спутников» и ориентиров, по которым Саша Черный всю жизнь сверял свой писательский компас. Особенно потребность в этом возросла в годы лихолетья, когда перед поэтом встала проблема гражданского выбора и поиска пути. «О чем бы писал сейчас Чехов, если бы жил с нами в эмиграции?» – с таким вопросом обращался поэт к А. И. Куприну в письме от 23 ноября 1921 года (*Куприна К. А. Куприн – мой отец. М., 1977. С. 207*).

Русская печаль*

Скорбь земли русской – такова тема данного раздела. Здесь воедино слиты боль утраты, наиболее остро ощутимой в первые годы изгнания, и негодование, направленное на «новых скифов», виновных, по мнению поэта, в произошедшей трагедии.

И. А. БУНИНУ – Русский эмигрант (Берлин). 1920, № 4. С. 4.

Написано к 50-летию со дня рождения И. А. Бунина. Непримиримая позиция, занятая Буниным по отношению к большевизму, еще более подняла авторитет писателя в глазах Саши Черного. Даже современниками было отмечено сродство их политических взглядов: «В Саше Черном жила огненная ненависть к большевизму. Такая была разве что у Бунина времени „Окаянных дней“. Но и у Бунина она не была такой огненной» (*Гуль Р. Я унес Россию. Т. I. Нью-Йорк, 1981. С. 46*).

В эмиграции Саша Черный говорил о Бунине как о «последней сосне российского сведенного бора». Этот образ заставляет вспомнить еще одно его стихотворение, посланное Бунину к 25-летнему юбилею его литературной деятельности:

Растроганный Черный поэт
Шлет Бунину светлый привет:
Как русский наш лес, многострунен
Иван Алексеевич Бунин!..
И тих, и задумчив, как лес,
И свеж, как зеленый навес,
И нежен, как в чаще родник.
Кто б в полдень к нему ни приник –
Нескоро уста оторвет
От чистых рокочущих вод...
Качаясь, вздыхают стволы.
Все жарче дыханье смолы.
Кочуют вверху облака.
И чаща, как ночь, глубока –
А критики бродят в лесу
И сонно копают в носу.
– а Черный
Растроганный Черный поэт
В знак памяти просит... портрет.

28 окт. 1912 г.

(ОГМТ, ф. 14, № 3391/18)

СКОРБНАЯ ГОДОВЩИНА – Русский эмигрант (Берлин). 1920, № 5. С. 2.

В 1920 году русская эмиграция отметила скорбный юбилей – десять лет со дня смерти Л. Н. Толстого. На вечере, устроенном в Берлине по этому поводу, артистом О. Н. Руничем было прочитано стихотворение «Скорбная годовщина». См. об этом в воспоминаниях писателя И. Коноплева: «Со сцены полились тревожные, печальные слова о России, от которых не одно сжалось сердце и на ресницах у многих проблистали слезы. Конец стихотворения был, однако, солнечный и тихий. Долго и много вызывали Черного на сцену. Он был скромн и стоял с потупленными глазами в зале, на сцену не вышел» (Новое русское слово. Нью-Йорк, 1932, 28 августа).

ПАМЯТИ А. БЛОКА – Жар-Птица. 1921, № 2. С. 37. Подпись: А. Ч.

Безвременная кончина А. Блока вызвала множество откликов в эмигрантской печати. В большинстве из них поэт представал заложником и жертвой красного режима. Все это, видимо, заставило Сашу Черного пересмотреть былое неприятие автора «Двенадцати».

Е. А. ПОЛЕВИЦКОЙ – Жар-Птица. 1921, № 3. С. 32. Подпись: А. Ч.

Полевицкая Елена Александровна (1881–1973) – русская драматическая актриса. В начале 1921 года в составе труппы русского театра она приехала из Болгарии в Берлин. Особый успех выпал на исполнение ею роли Лизы Калитиной в инсценировке романа Тургенева «Дворянское гнездо». В 1955 году актриса вернулась на родину. Саша Черный считал театр осколком прежней России и оплотом в изгнании, преклонялся перед теми, кто остался верен ему. См. поздравление поэта в связи с двадцатипятилетием творческой жизни Е. Н. Рощиной-Инсаровой: «К сожалению, Театр сам Вам в эмиграции изменил, обручившись с легкомысленной, но доходной Музой Кабаре. Почитающие Вас твердо верят, что измена эта преходяща и что Русский театр охнет, остепенится, вернется к Вам и опять покорится Вашей власти». (Чествование Е. Н. Рощиной-Инсаровой в Париже. Париж, 1927). Известно, что на вечере памяти В. Ф. Комиссаржевской 8 марта 1930 года Саша Черный читал стихи «Театр».

ГАЛОШИ СЧАСТЬЯ – Русская газета. 1924, 16 ноября.

Чуйка – простонародная одежда в виде длинного кафтана. В переносном значении – человек-простолудин в такой одежде.

Passy – район Парижа, в котором поначалу селились эмигранты из России.

СОЛОВЬИНОЕ СЕРДЦЕ – Илл. Россия. 1926, № 44. С. 8.

Потемкин П. П. (1886–1926) – поэт, сотрудничавший вместе с Сашей Черным в «Сатириконе», автор книг «Смешная любовь» и «Герань», в которых с любовью и юмором воспета красочная и полнокровная жизнь городского люда. Стихотворение Саши Черного было одним из первых откликов на преждевременную и неожиданную смерть поэта. Саша Черный принял участие в вечере памяти П. П. Потемкина, состоявшемся 24 февраля 1927 года, где выступили также Куприн, Зайцев, Тэффи, Осоргин, Дон-Аминадо, А. Яблоновский.

Антиной – прекрасный юноша, любимец и постоянный спутник римского императора Адриана, утонувший в водах Нила (ок. 130 г.). После его смерти Адриан создал своего рода культ Антиноя, воздвигнув множество его статуй.

Катон (234–149 г. до н. э.) – римский писатель. Будучи цензором, старался следить за строгостью нравов.

«ТУРГЕНЕВСКИЕ ДЕВУШКИ В МОГИЛЕ...» – Ухват (Париж). 1926, № 3. Подпись: Ч.

Эмигрантский уезд*

Беженский быт, труды и дни русской эмиграции – центральная тема поэзии Саши Черного на чужбине, сопровождавшая его с первых до последних дней изгнания. В качестве названия раздела взят подзаголовок к стихотворению «Диана».

ДИАНА – Сегодня. 1921, 18 ноября.

...*Том Есенина «Красный монокль»*. – Книжки с таким названием у Есенина нет. Здесь, по-видимому, шарж на эпатажную броскость заголовков имажинистских изданий (например, «Красный алкоголь»). Можно также усмотреть аллюзию на чисто внешние атрибуты поведения членов ордена имажинистов – подчеркнутый дендизм в облачении и революционную браваду выступлений.

ГОЛОС ОБЫВАТЕЛЯ – Руль. 1923, 22 апреля.

Теософия – религиозно-философское учение о возможности общения с потусторонним миром.

Наканунский Лойола – здесь имеется в виду собирательный образ сотрудника берлинской газеты «Накануне» (см. выше.), Лойола И. (1491–1556) – основатель ордена иезуитов, ставший символом двуличия и провокаторства.

...*В Аракчеевской красной казарме*. – Граф А. А. Аракчеев, временщик при Александре I, крайний реакционер. Стремился ввести в России режим полицейского деспотизма, организовал военные поселения. В эмигрантскую печать попадала информация о том, что в Советской России существуют планы принудительной мобилизации рабочей силы в деревнях.

ЭМИГРАНТСКОЕ – Руль. 1923, 6 мая.

«Руль» и «Дни» – русские эмигрантские газеты, выходившие в Берлине. Первая из них занимала крайне правую позицию

антибольшевизма. Вторая, бывшая рупором социал-демократов, имела более левую ориентацию. Здесь подразумевается, что подписчики этих газет стояли на разных политических платформах.

Кэк-уок – танец американских негров, вошедший в моду в Европе в начале XX века.

Мангровый лес – тропические болотистые джунгли, периодически заливаемые морским приливом.

ПОЛУСТАНОК – Илл. Россия. 1924, № 3. С. 11.

Гресси – местечко под Парижем, где Саша Черный провел лето 1924 года на даче у своих знакомых. Усадьба и ее обитатели нашли отражение также в прозе поэта.

БАЛЛАДА О РУССКОМ ЧУДАКЕ – Илл. Россия. 1924, № 5. С. 6.

В творчестве Саши Черного есть темы, к которым он возвращается вновь и вновь, воплощая их в соответствии с изменившимся мировоззрением. Так, в данной балладе и в дореволюционном стихотворении «Страшная история» речь идет о взаимовыгодной брачной сделке, но пафос их прямо противоположен. Автор сам подчеркнул родственную связанность этих двух произведений, позаимствовав фамилию героя баллады из стихотворения «Страшная история»:

Это ново? Так же ново,
Как фамилия Попова...

ЭМИГРАНТСКАЯ ПЕСНЯ – Илл. Россия. 1924, № 6. С. 7.

УТОПИЯ – Русская газета. 1925, 1 февраля.

Чернов В. М. (1873–1952) – один из руководителей партии эсеров, министр земледелия Временного правительства, в январе 1918 – председатель Учредительного Собрания, впоследствии эмигрант.

Кускова Е. Д. (1869–1958) – политический деятель и публицист. В 1922 году выслана из СССР вместе с группой творческой интеллигенции, оппозиционно настроенной к советской власти.

Милюков П. Н. (1859–1943) – политический деятель, историк, публицист, один из организаторов и лидеров партии кадетов. В эмиграции редактировал газету «Последние новости», участник многих общественных организаций.

Лига наций – международная организация, созданная в 1919 году с целью развития сотрудничества между народами и контроля за безопасностью в мире. Фактически она выполняла функцию нынешней ООН. Формально распущена в 1946 году.

КАМИН – Русская газета. 1925, 22 февраля.

Непосредственным поводом к написанию стихотворения послужило, по всей вероятности, приобретение Сашей Черным «Саламандры» – металлической печи, которая топилась углем. Свое название она получила по имени мифологического существа, способного находиться в огне, не сгорая. В старых домах Парижа, не имевших центрального отопления или каминов, такими печками отапливали квартиры. Дым при этом отводился по трубе через специальное отверстие в стене.

ДЕНЬ ВОСКРЕСНЫЙ – Илл. Россия. 1925, № 22. С. 5.

ХОХЛУШКА – Перезвоны. 1925, № 4. С. 89.

МЕЛКОБУРЖУАЗНЫЕ МЕЧТЫ – Последние новости. 1926, 29 января.

Каротель – сорт моркови.

ГАЗЕТА – Последние новости. 1928, 29 января.

В стихотворении речь идет, по всей видимости, о самой, пожалуй, популярной газете русского зарубежья – «Последние новости», выходившей в Париже с 1920 по 1940 год под редакцией П. Н. Милюкова. Вот что писал об этом, быть может, единственном периодическом издании, существовавшем на самокупаемости, ее сотрудник, писатель-сатирик Дон-Аминадо: «Ни тарелочного сбора, ни меценатских щедрот. <...> Тираж рос, подписчиков хоть отбавляй, отдел объявлений работал до отказа, и в пятом часу утра уже на всех парижских вокзалах грузились кипы свежих, вкусно пахнувших типографской краской номеров, с заманчивой бандеролью:

– Лион, Марсель, Гренобль, Нью-Йорк, Белград, Вена, София, Истамбул, Англия, Швейцария, Испания, Алжир... полный курс географии, до Гонолулу включительно.

„Дубовый листок оторвался от ветки родимой“, и судьба раскидала людей по всему лицу земли» (Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. М., 1991. С. 285).

ПАРИЖСКОЕ ЖИТИЕ – Последние новости. 1928, 7 февраля.
Сен-Клу – предместье Парижа.

ЗАКАТ ЕВРОПЫ – Последние новости. 1928, 20 ноября. В качестве заглавия использовано название книги немецкого философа О. Шпенглера (1880–1936). Его концепция строилась на отрицании исторического прогресса в развитии культур и цивилизаций народов и государств Европы. Учение Шпенглера было модным в 20-е годы и широко обсуждалось не только в научных кругах.

ПАРИЖСКИЕ ЧАСТУШКИ – Последние новости. I – 1930, 21 февраля; II – 1931, 21 февраля.

О-де-ви (фр. eau-de-vie) – водка.

Ажан – см. выше.

...На писательском балу. – См. выше.

Карт-д'идантите – см. выше.

«Последние новости» – см. выше.

Марше-о-пюс (фр. marché au poisson) – знаменитая парижская барахолка, букв. блошиный рынок.

«Любовь у муравьев» – зд., по-видимому, иронический парафраз названия книги А. М. Коллонтай «Любовь пчел трудовых» (1923).

...На «Записках современных». – «Современные записки» – русский общественно-политический журнал, выходивший в Париже (1920–1940).

Плас Конкорд – площадь Согласия.

Аксидан (фр. accident) – происшествие, несчастный случай.

...мисс Калугой выбрал в нынешнем году. – Первый конкурс на звание «мисс Россия» был организован в 1926 году журналом «Иллюстрированная Россия». Эта традиция получила широкое распространение в русском зарубежье.

ЭМИГРАНТСКАЯ ПОЛЬКА – Последние новости. 1930, 21 мая.

В эпиграфе строка из дореволюционного стихотворения Саши Черного «Совершенно веселая песня», имевшего подзаголовок «Полька». В эмигрантском варианте повторен прежний ритмический (плясовой) рисунок стихотворения.

Де Кутюр – фамилия образована от французского словосочетания maison de couture (швейная мастерская, ателье мод).

ДЕЛОВАЯ ОДА В ЧЕСТЬ РУССКОЙ ЭМИГРАНТКИ – Последние новости. 1930, 28 июня.

Темой одной из анкет, с которыми харбинская газета «Заря» обращалась к парижским литераторам, была: «Русская женщина в

эмиграции». Саша Черный дал пространный ответ, где, в частности, было сказано:

«Роль русской женщины в эмиграции необычайно плодотворна и разнообразна.

Помимо того, что она в течение долгих лет жизни за рубежом поддерживает бодрость и силу духа в своих семьях, она наравне с нами – мужчинами, а часто еще более плодотворно, работает в общественных благотворительных организациях, и без так называемого „дамского комитета“ не обходится ни один благотворительный вечер, ни одно сколько-нибудь крупное эмигрантское начинание.

Достаточно вспомнить, как велика роль русской женщины в устройстве детских приютов, детских садов, домов отдыха, в деле помощи учащимся и т. д.

Помимо того, наши женщины, казалось бы, такие нестойкие и романтичные в литературных отражениях прошлого, на чужбине американизировались в лучшем смысле этого слова. <...>

И немало есть среди нас мужчин, которые не вполне приспособились к тяжким условиям эмигрантского быта и весьма обязаны своим женам и сестрам, принявшим на свои плечи всю тяжесть борьбы за существование и сохранение семейного очага. Честь им и слава!» (Заря. 1930, 20 апреля.)

По-видимому, ответ на заданную тему явился творческим импульсом для появления на свет этого стихотворения.

Лаврецкий – персонаж романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо».

Рипполи – каретный лак.

РУССКАЯ ЛАВОЧКА – Последние новости. 1931, 7 февраля.

СКАЗКА О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ Последние новости. 1931, 25 апреля.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА – Сатирикон (Париж). 1931, № 14. С. 2.

Гувер Г. К. (1874–1964) – президент США в 1929–1933 годах.

Репарация – возмещение, выплата за причиненный ущерб.

Кламар – предместье Парижа, один из тех районов, где находили себе жилье выходцы из России.

Надо помочь*

Раздел, представляющий собой некое ответвление темы «эмигрантского уезда». В общественной жизни русского зарубежья всегда особое место занимала благотворительность, помощь нуждающимся – детям, инвалидам, писателям, студентам и т. д. Саша Черный был непременным участником всяких воззваний такого рода, вечеров и специальных изданий, доход от которых шел на это благое дело. Заглавие одного из стихотворений дало наименование разделу.

РУССКИЙ МАЛЬЧИК – Русскому мальчику (Париж). Издание в пользу «Общежития для русских мальчиков в Париже». 1926, 2 мая. Сам подзаголовок этой однодневной газеты, в которой согласились принять участие И. Бунин, И. Шмелев, Н. Тэффи, А. Куприн, А. Яблоновский и другие, говорит о конкретно-утилитарной цели, которую имел данный выпуск.

РУССКИЕ ИНВАЛИДЫ – Русский инвалид (Париж). Однодневный выпуск. 1926, 6–19 мая. О газете «Русский инвалид» см. выше.

В 1930 году Саша Черный в числе других писателей эмиграции подписал воззвание «К русским людям!», в котором было, в частности, сказано: «...Самым бесспорным, самым неотложным делом должна стать забота о всех тех, кто жертвовал своей жизнью за Россию, кто принял за нее увечья, раны, кто потерял здоровье, кто теперь калеки. Таких до шести тысяч, объединившихся в Союзы. Но их, конечно, больше: многие работают на шахтах, на заводах, в услужении, пытаются учиться, борются за жизнь и умирают, не называясь инвалидами. <...> Помощь наша должна быть постоянной, твердой. Должен быть создан фонд для прочного устройства инвалидов. <...> Пусть наши инвалиды станут для нас всех связью, неумирающим призывом – за Россию!» (Последние новости. 1930, 21 мая).

«ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ РОССИИ» – Илл. Россия. 1926, № 21. С. 10.

Стихотворение было написано по случаю двухлетнего юбилея «Илл. России» и прочитано автором на торжественном обеде в парижском ресторане «Comptoneau», а затем включено в текст отчета об этом мероприятии.

Торквемада Томас (ок. 1420–1498) – глава испанской инквизиции (великий инквизитор), инициатор изгнания евреев из Испании (1492).

Петр и Павел. – Имеются в виду не евангельские апостолы, а редакторы двух ведущих и соперничавших газет «русского» Парижа: «Возрождение» и «Последние новости» – Петр Струве и Павел Милюков.

ЕЛКА В ТУРГЕНЕВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ – Последние новости. 1927, 24 декабря.

Тургеневская библиотека – так издавна называют русскую публичную библиотеку в Париже, основанную в 1873 году И. С. Тургеневым. Она всегда считалась очагом русской культуры в Париже, местом встреч, собраний, вечеров соотечественников. Регулярно в библиотеке проводились детские утренники, участником которых нередко бывал Саша Черный. Специально к таким праздникам он сочинял пьеску или припасал для подарка игрушку, говоря в таких случаях жене: «Знаешь, это можно спрятать до Рождества и подарить на елку консьержкиной дочке или пожертвовать на Тургеневскую елку» (*Александрова В. Памяти Саши Черного // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1950, 1 октября*).

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПОДЪЕЗДА «ЛЮТЕЦИИ» – Последние новости. 1927, 27 декабря.

«Лютеция» – парижский ресторан, в залах которого русская эмиграция имела обыкновение устраивать праздничные и торжественные мероприятия.

Лорелея – персонаж немецкой мифологии, наяда, обитавшая в Рейне и своими песнями увлекавшая рыбаков и корабельщиков.

«1928» – Последние новости. 1928, 3 января.

ДОМ В МОНМОРАНСИ – Последние новости. 1929, 30 апреля.

В 1929 году, на средства собранные эмигрантами, был открыт приют на 35 детей в Монморанси – небольшом городке неподалеку от Парижа. Добраться туда можно было на поезде местной железнодорожной ветки, описанном в очерке А. Ладинского: «Это – странное сооружение из разномастных вагонов, то очень высоких, то очень низких, с паровозиком, помнящим чуть ли не дни гениального Стеффенсона» (Последние новости. 1932, 3 мая). Саша Черный был желанным гостем в «Детском ковчеге» – так окрестил он приют, который в 1930 году был переведен в более обширное помещение – на 50 детей.

НАДО ПОМОЧЬ! – Последние новости. 1929, 20 ноября.

ЗАВТРА – Последние новости. 1930, 26 марта.

В начале года по традиции устраивался «Писательский бал» или «Бал печати», куда приглашались многие литературные знаменитости русского зарубежья. Цель этих балов – материальная помощь литераторам. Вот что писал А. Яблоновский в статье «Дела писательские» о положении русского литератора на чужбине: «„Колесница истории“ сломала писателю-эмигранту спинной хребет. Только малая, безмерно малая часть писателей-эмигрантов занимается своим делом и живет от пера своего. Большинство же, и большинство огромное, живет случайным трудом и случайной помощью... Я очень близко стою к парижскому Союзу писателей и журналистов и, могу сказать, – насмотрелся... Есть писательницы, которые служат прислугой („фам де менаж“). Есть журналисты, которые на вокзалах чемоданы носят. Есть писатели-шоферы (это – счастливы). Есть писатели-поденщики. Есть писатели-грузчики, писатели-маляры, писатели-каменщики. Конечно, все мы думаем об этих „деклассированных“ братьях наших и, можно сказать, из кожи лезем, чтобы как-нибудь залатать эти страшные раны, полученные под „колесом истории“. Но как это сделать! Что, кроме благотворительных балов и концертов, мы можем сделать!» (Наша заря. Пекин-Тяньцзин-Мукденская газета. 1930, 28 июня).

Казатин – узловая железнодорожная станция, располагавшаяся в Бердичевском уезде, Киевской губернии.

ДУБОВЫЕ СТИХИ – Последние новости. 1931, 13 января.

...ишем в «Инвалиде». – Имеется в виду газета «Русский инвалид». Она выпускалась с благотворительными целями к «Дню русского инвалида», отмечавшемуся ежегодно в мае месяце начиная с 1925 года. Все авторы этих однодневных выпусков предоставляли свои материалы безвозмездно. С 1930 года начала выходить как ежемесячная военно-научная и литературная газета.

МОБИЛИЗАЦИЯ – Последние новости. 1932, 12 января.

Депансы (фр. *dépens*) – расходы.

Са-ва (фр. *Ça va*) – Идет! Ладно!

Из римской тетради*

Это наиболее цельный тематически раздел в поздней лирике Саши Черного, очерченный самим поэтом названием рубрики «Из

римской тетради» или подзаголовками «Римские офорты», «Римские дни». Последние в настоящем издании сняты, так как они носят промежуточный характер – во время первой публикации окончательное название автором еще не было найдено. Здесь эти подзаголовки поглощены общим названием раздела: «Из римской тетради». Известно, что на литературном вечере, состоявшемся в Париже в «Союзе молодых поэтов» 19 февраля 1927 года, Саша Черный читал «Стихи о Риме».

РИМСКИЕ КАМЕИ – Сегодня. 1923, 23 сентября.

Дезабилье – домашнее платье, в котором не принято появляться при посторонних.

РИМСКИЕ ОФОРТЫ – I. Мул; II. В Кампанье; III. В винной лавке; IV. Папское барокко. – Златоцвет (Берлин). 1924, № 1. С. 8.

Траттория – ресторан.

Кампанья – равнина, прилегающая к Риму. *Фиаска* – бутылка.

...*Со щенком, взлохмаченным бродягой.* – В. Л. Андреева вспоминает, что во время их пребывания в Риме они принесли домой бездомного щенка. Саша Черный первый подал голос в его защиту, доказав, что собака в доме совершенно необходима. Щенок был оставлен и назван Бенвенуто. (Андреева В. Л. Эхо прошедшего. М., 1986. С. 207–208).

Терракота – обожженная глина, красно-коричневого цвета.

В ГОСТИНИЦЕ «ПЬЕМОНТ» – Русская газета. 1924, 7 декабря. Из воспоминаний В. Л. Андреевой известно, что в Риме Саша Черный жил в особняке, который снимала семья писателя Леонида Андреева (ул. Роверето, 15). Однако данное стихотворение дает основание полагать, что в 1924 году, накануне отъезда в Париж, поэт проживал в гостинице.

НА ОКРАИНЕ – Русская газета. 1924, 17 декабря. Подзаголовок: Из цикла «Римские офорты».

По-видимому, образы стройки неслучайно попали в поле зрения поэта, ибо в начале 20-х годов никакой другой город Италии не застраивался так интенсивно, как Рим. По этому поводу автор книги «Образы Италии» П. Муратов писал: «Усиленно строясь, новый Рим не имеет никакой нужды разрушать старый. Места вокруг Рима как будто бы сколько угодно – к услугам строителей вся римская Кампанья» (Последние новости. 1926, 24 января).

ДИТЯ – Русская газета. 1924, 25 декабря.

В автобиографической книге Веры Андреевой имеются страницы, посвященные Саше Черному. В одной из сцен, сохраненных ее памятью, воскрешены бытовые реалии, которые легли в основу данного стихотворения: «Я, как сейчас, вижу, такую картину: Саша Черный, думая, что его никто не видит, в укромном уголке нашего садика присел на корточки перед маленькой дочкой нашей дворничихи Нинеттой, которая возится со своими игрушками. <...> Саша Черный что-то тихо говорит ей, что-то объясняет. Слов я не слышу, но вижу, что Нинетта прекрасно его понимает. Доверительно положив ручонку ему на колено, она, подняв к нему лицо, слушает, как завороженная, потом сама начинает что-то рассказывать, показывает Саше куклу, сует ему в руки и с увлечением смотрит, как он бережно берет ее и начинает кормить с ложечки» (*Андреева В. Л. Эхо прошедшего. М., 1986. С. 206*).

Папский нунций – дипломатический представитель Ватикана в других странах.

СТАРАЯ ВИЛЛА – Русская газета. 1925, 25 января.

НА ПЛОЩАДИ NAVONA – Русская газета. 1925, 12 апреля.

Карабинер – жандарм в Италии.

...И храм торжественный. – Имеется в виду церковь Сант Аньезе, одна из красивейших достопримечательностей барочного Рима.

БЕЛОЕ ЧУДО – Последние новости. 1925, 25 декабря.

В СТРАНЕ ПЕТРАРКИ – Ухват (Париж). 1926, № 3. Подпись: А. Ч.

Форестьер – чужестранец, путешествующий по Италии.

«ПО ФОРУМУ ТРАЯНА...» – Последние новости. 1928, 25 января. Под рубрикой: «Из римской тетради».

Колонна Траяна – памятник в честь императора Траяна, возведенный в Риме в 113 году. Мраморную колонну высотой 43 метра венчает статуя апостола Петра. Форумом Траяна называли замкнутую площадь, расположенную на несколько метров ниже окружающих ее домов. Издавна это место стало прибежищем для бродячих и бездомных котов и кошек – «кошачьей санаторией», по определению Саши Черного.

ШЕСТЬ – Последние новости. 1928, 22 апреля. Под рубрикой: «Из римской тетради».

«СЛОВНО ЗАГАР СМУГЛОЛИЦЫЙ...» – Последние новости. 1928, 14 октября. Под рубрикой: «Из римской тетради».

«ШКОЛА ДИАНЫ» – Последние новости. 1928, 6 ноября. Под рубрикой: «Из римской тетради».

Вилла Боргезе – усадьба с огромным парком на окраине Рима. В 20-е годы там была школа пластики и танца.

ФОНТАН НА MONTE PINCIO. – Последние новости. 1928, 6 ноября. Под рубрикой: «Из римской тетради».

Monte Pincio – садово-парковый комплекс; возник в начале XIX века на Яникульском холме в Риме. Отсюда, с прогулочной террасы, открывался прекрасный вид на «вечный город». Украшением парка был фонтан в виде скульптурной группы на библейскую тему: мать Моисея, спасая младенца от египетских палачей, оставляет его в тростниковой корзине, обмазанной глиной и смолой, в камышах у берега реки, в надежде на то, что дочь фараона найдет ребенка.

Из зеленой тетрадки*

Впервые цикл под таким названием появился в берлинском издании «Сатир» 1922 года. В нем были объединены эпиграммы на литературные темы. Позднее поэт печатал под этим названием политические эпиграммы на злобу дня. Затем оно было использовано как рубрика в серии фельетонов в прозе. Таким образом прослеживается единая сатирическая линия, дающая основание собрать воедино стихотворные сатиры под этим заглавием. Семантическая интерпретация его неясна. Можно предположить, что для записей такого рода у автора просто была тетрадь зеленого цвета.

НЕ ПО АДРЕСУ – Слово (Париж). 1922, 16 октября.

Когда советский лжепоэт <...> в кафе берлинском нахамит. – По всей вероятности, имеется в виду С. Есенин, чьи выступления в Берлине в 1922 году зачастую носили скандальный характер.

«Общее дело» – орган единого антибольшевистского блока кадетов, эсеров и «народных социалистов». Газета выходила в Париже под редакцией В. Л. Бурцева в 1917–1938 годах (с перерывами).

СВЯТАЯ НАИВНОСТЬ – Руль. 1923, 20 мая.

Пешехонов А. В. (1867–1933) – публицист, экономист, один из редакторов журнала «Русское богатство». В 1922 году был выслан из СССР вместе с другими представителями творческой интеллигенции, оппозиционно настроенными к режиму большевиков. В эмиграции издал брошюру «Почему я не эмигрировал», вызвавшую ожесточенную полемику. Критикуя режим коммунистов, автор, однако, призывал к возвращению на родину во имя спасения государственности России. Сам Пешехонов после нескольких попыток смог в 1927 году вернуть себе советское гражданство, но разрешения на въезд не получил и был вынужден служить в советском представительстве в Риге.

Куафер – парикмахер.

«Русское богатство» – один из самых маститых «толстых» журналов дореволюционной России, издававшийся с 1876 по 1918 год. После 1906 года являлся органом «народных социалистов», выделившихся из правого крыла эсеров. В журнале сотрудничал в качестве публициста и литературного критика Л. Д. Троцкий. Среди авторов журнала были Бунин, Куприн, Горький, Андреев, Вересаев, Короленко. Дважды публиковался в нем Саша Черный.

Муйжель В. В. (1880–1924) – писатель народнического направления. Его натуралистические романы из жизни русского крестьянства Саша Черный воспринимал как символ скуки и растянутости.

ИЗ ГЁТЕ – Сегодня. 1923, 12 августа. I. Мадемуазель NN – Mamsell NN; II. Условие – Bedingung; III. Катехизис – Katechisaton; IV. «Как одолеть воробьев?..» – «Sprich, wie werde ich die Sperlinge los?»; V. Общество Gesellschaft; VI. Угроза – Das Schreien, Nachdem Italienischen.

Эпиграммы I и IV впервые переведены на русский Сашей Черным.

ЭПИГРАММЫ – Русская газета. 1924, 2 ноября.

I. Горький. – В автографе, находящемся у составителя, автором проставлена дата – 1924 г. После 1917 года, когда А. М. Горький фактически возглавил советскую литературу, отношение Саши Черного к своему бывшему кумиру и адресату стало резко отрицательным. Не изменилось оно и после того, как в 1921 году Горький поселился за границей – частью для лечения, частью из-за

разногласий с новой властью. «Беседа» – журнал умеренно-академического направления, издававшийся в Берлине в 1923–1925 году при ближайшем участии Горького.

II. Теория творчества т. Эренбурга. – Нет никаких сведений о личном знакомстве Саши Черного и И. Г. Эренбурга, хотя они могли встречаться в начале 20-х годов в Берлине, поскольку оба принимали активное участие в литературно-общественной жизни русской диаспоры. Как художник Эренбург всегда обладал поразительной способностью чутко и динамично откликаться на все общественные и эстетические преобразования. Не без иронии именовавший себя «конструктором по части вращения», он выпустил в Берлине книгу «А все-таки она вертится» (1922) – своего рода панегирик новейшему искусству авангарда, художникам-конструктивистам – «делателям вещей». Русская эмиграция в большинстве своем относилась к Эренбургу критически, чему свидетельством хотя бы следующий отчет о его лекции: «Эренбург всю жизнь только и делал, что забегал вперед. Чутье и нюх у него были удивительны. Какой „изм“ оставить, за какой уцепиться – он знал безошибочно. <...> Во время прений его спросили: „Как же это вы в книге „А все-таки она вертится“ в 1921 году доказывали совсем противоположное?“ Эренбург сострил: „Я ведь и сказал „вертится““. Я не сказал, что земля стоит на месте. Теперь настало другое время» (Звено. Париж, 1926, № 160. С. 13).

III. Игорь Северянин. – Самый, пожалуй, «громокипящий» успех выпал на долю «короля поэтов» (титул, присвоенный Северянину публикой). Читателей же взыскательных не могли не коробить самовосхваления и нарциссизм предводителя эго-футуристов. Один из подобных «перлов» процитирован Сашей Черным:

Поэт, как Дант, мыслитель, как Сократ,
Не я ль достиг в искусстве апогея?!

(«Конечно, я для вас „аристократ...“»)

IV. А. Белый. – Сатирики разных времен нередко ставили рядом имена Саши Черного и Андрея Белого, обыгрывая при этом «цветовую» антитезу, которая слышится в их псевдонимах. Но никто до сих пор не удосужился сопоставить творческие искания двух

художников-современников, ровесников (родились в октябре 1880) – их полярность, несовместимость и одновременно поразительные переклички. Два года, проведенные А. Белым в Германии, отмечены необычной творческой активностью и в то же время состоянием душевного надлома, находившим выражение в пристрастиях к алкоголю и танцам в кафешантанах и в прочих «безумствах» и чудачествах. Впрочем, еще в России экстравагантные лекции А. Белого давали обильную пищу для пародистов, изображавших поэта душевнобольным. А. Белый в письме к А. Блоку скажет об этом так: «...роль юродивого, шута мне послана свыше. С покорностью принимаю ее» (А. Блок и А. Белый. Переписка. М., 1940. С. 37).

V. Маяковский. – В период своего творческого становления Маяковский испытал сильнейшее воздействие «Сатир» Сашы Черного, что и было засвидетельствовано им самим в автобиографии: «Саша Черный – поэт почитаемый. Радовал его антиэстетизм». Однако впоследствии поэт-трибун на своих выступлениях именовал Сашу Черного, оказавшегося по другую сторону баррикад, не иначе как «Сашей Белым», «когда-то злободневным, а теперь озлобленным».

Полпивная – забегаловка, закусовая, где посетителям предлагались некрепкие напитки. Происходит от «полпиво», т. е. пиво плохого качества. Подобные питейные заведения для простого люда появились в России после реформы 1861 года.

VI. Автобиография т. Есенина. – Поводом для эпиграммы послужило турне Есенина и Айседоры Дункан по Европе и Америке. Скандальные выступления, сопровождавшиеся революционной бравадой и пьяными дебошами, освещались и комментировались эмигрантской прессой.

«И возвратятся псы на блевотину свою». – В качестве эпиграфа приведена несколько измененная цитата из Нового Завета: «Но с ними случится по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину...» (Петр, 2, 22).

...С красной пробкой в голове. – Здесь игра слов. Возможно двойное толкование метафоры: революционный (красный) настрой есенинской поэзии, либо бытовое выражение «красная пробка» или «красная головка» применительно к водке низкого качества. В царской, а затем в Советской России вид закупоривания бутылок с водкой как бы маркировал ее качество. Низкосортная водка

запечатывалась картонной пробкой, залитой сургучом, а водка высокого качества – пробкой из светлого металла («белая головка»).

VII. А. Н. Толстой. – Автор романа «Хождение по мукам» (намек на этот роман содержится в эпиграфе эпиграммы) был едва ли не самой значительной фигурой из тех литераторов, что примкнули к «сменовеховцам» – идейно-политическому движению в эмиграции, состоявшему в пересмотре позиций по отношению к Октябрьской революции и советской власти, призывавшему соотечественников вернуться на родину. Политический демарш «Третьего Толстого» был расценен в эмигрантских кругах как измена, предательство. См., например, эпиграмму А. И. Куприна «Кто он»:

Он Алексей, но... Николаич,
Он Николаич, но не Лев,
Он граф, но честь и стыд презрев
На псарне стал Подлай Подлич

Особенно больно задела эта метаморфоза Сашу Черного, ибо в изгнании у них с А. Н. Толстым начало складываться творческое содружество на ниве служения детской литературе. Саша Черный видел в нем единомышленника, знатока русского языка и хранителя национальных основ. Сохранилось мемуарное свидетельство об отношении Саши Черного к своему бывшему соратнику: «...с особым удовольствием заглядывал к Саше Черному, который угощал меня свиными котлетами и, указывая на диван, каждый раз предупредительно говорил: „Не садитесь на этот край... Здесь сидел этот гад!“ Под „гадом“ подразумевался ставший сменовеховцем граф Алексей Толстой» (*Галич Ю.* Золотые корабли. Рига, 1927. С. 202).

VIII. Демьян Бедный. – В отличие от адресата предыдущей эпиграммы, Демьяну Бедному Саша Черный решительно отказал в даровитости. Еще до революции он с пренебрежением отзывался о его творчестве, отмечая в баснях Демьяна Бедного многословие, беспомощность, самодовольство. Но вот обвинение его в приспособленчестве вряд ли можно считать справедливым. Д. Бедный один из немногих литераторов, кто связал свою судьбу с РСДРП еще до революции, и потому полученные после победы Октября

привилегии принимал как должное, завоеванное в борьбе. Что касается нарочитой мужицкой нескладности его агиток, то следует учесть, что это был стилеобразующий прием, рассчитанный на малограмотного читателя из простонародья (отсюда успех Д. Бедного в крестьянско-пролетарской среде).

...военный фельдшер. – В 1914 году Д. Бедный был мобилизован в действующую армию в качестве военного фельдшера санитарно-гигиенического отряда. Эти биографические сведения могли дойти до Саши Черного не из справочников и энциклопедий (ко времени написания эпиграммы Д. Бедный в них еще не попал), а, видимо, из информации, циркулировавшей среди служащих Красного Креста во время войны.

IX. «Накануне». – Ежедневная газета, выходившая в Берлине в 1922–1924 годах. Считалась органом «сменовеховцев», имела явно просоветскую ориентацию. В то же время в Советской России к ней относились как к мелкобуржуазной, идеологически невыдержанной.

Не-Буква – псевдоним И. М. Василевского (1882–1938), журналиста, критика, фельетониста, обладавшего острым и бойким пером. Обладая незаурядными организаторскими способностями как редактор, он всячески старался привлечь Сашу Черного к сотрудничеству, превозносил его талант в статьях и лекциях. Отношение резко переменилось, когда Василевский встал на позицию «Смены вех» (см. его рецензию-фельетон на книгу Саши Черного «Жажда», напечатанную в литературном приложении к газете «Накануне». 1923, 27 мая). Возвратившись на родину, он на первых порах специализировался на пасквилях, шельмовавших «эмигрантское отребье», но вскоре вышел в тираж. Как сообщалось в эмигрантской прессе, литературная карьера Василевского закончилась бесславно: «Он подвизается ныне в роли технического работника в одной из редакций» (Последние новости. 1930, № 3347). Остается сказать о трагическом финале, которым завершился его жизненный путь, финале – вполне в духе сталинской эпохи: Василевский стал жертвой репрессий.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ – Русская газета. 1924, 21 декабря.

Passy – см. выше.

КРАСНАЯ БАБУШКА – Русская газета. 1925, 8 марта. Это своего рода иронический отклик на празднование Международного женского

дня 8 марта, принятого в 1910 году по предложению К. Цеткин.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОНЕТ – Илл. Россия. 1925, № 18. С. 12.
Подпись: S...o.

Этим стихотворением открывался отдел сатиры и юмора «Бумеранг» в журнале «Иллюстрированная Россия».

...«Суровый Дант не презирал сонета...». – Начальная строка стихотворения А. С. Пушкина «Сонет» (1830).

Лойола – см. выше.

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ – Илл. Россия. 1925, № 18. С. 13.
Подпись: S. По автографу, хранящемуся в частном собрании, установлена более ранняя дата, по сравнению с публикацией. В рукописи имеется авторская помета: «декабрь 1924». Кроме того, имеются разночтения в эпиграфе:

- Стоит ли переезжать из Рима в Париж?
- Ни в коем случае!

(Из эмигрантской переписки)

Эпиграмма имеет, по-видимому, конкретную автобиографическую подоплеку. Не имея средств для того, чтобы перебраться из Рима в Париж, Саша Черный в начале 1924 года обратился письменно в Союз русских писателей и журналистов в Париже с просьбой об оказании ему помощи в виде ссуды. Им был получен ответ следующего содержания: пособие выдается только в случае смерти или неизлечимой болезни.

ИЗ АЛЬБОМА ЖЕНОНЕНАВИСТНИКА – Илл. Россия. 1925, № 19. С. 13. Цикл напечатан без подписи – отнесен к *dubia*.

ПЕТРУШКА В ПАРИЖЕ – Илл. Россия. 1925, № 20. С. 1–2.
Иллюстрации художника Mad.

В журнальном тексте имя «Матрена Ивановна» дано в различных вариантах сокращения, что сохранено в настоящем издании.

Гиньоль – французский театр кукол.

Ажан – полицейский во Франции.

Карт-д'идантите (фр. *carte d'idantite*) – удостоверение личности для лиц, не имеющих французского гражданства, введенное в январе

1925 года. Его необходимо было регулярно перерегистрировать в комиссариате, с уплатой пошлины.

Д'аржан (фр. argent) – деньги.

«*Ротонда*» – парижское кафе, известное тем, что оно считалось клубом русской богемной публики. *Бомонд* – высший свет.

Тартинка (фр. tartine) – ломтик поджаренного хлеба, намазанный маслом или вареньем.

Арондисман – единица административного районирования в Париже.

«ПОКА НЕ ТРЕБУЕТ ДЕМЬЯНА...» – Илл. Россия. 1925, № 20. С. 12. Подпись: Scriba.

Текст стихотворения включен в прозаическую миниатюру «Сов. Онегин», представляющую собой пародийный сценарий «Евгения Онегина» на современном советском материале. Завершается она стихотворным пародийным перепевом пушкинского стихотворения «Поэт» («Пока не требует поэта...»).

Олоферн – военачальник ассирийского царя Навуходоносора.

СОВЕТСКИЕ ЧАСТУШКИ – Илл. Россия. 1925, № 20. С. 12. Подпись: Сообщил Ч.

ЭМИГРАНТСКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ – Илл. Россия. 1925, № 21. С. 12. Напечатано без подписи – отнесено к dubia.

...*И лезгинец Печорин с кинжалом.* – Этот персонаж перекочевал из пародийной рубрики «Происшествия» (Илл. Россия. 1925, № 20. С. 12), где о нем сообщается следующее: «У короля лезгинки Степана Начихадзе-Печорина неожиданно открылось лирическое сопрано. Король выступает 5 сего июня на балу „Союза безработных издателей“ со своей гитарой и своими виленскими романсами. Билеты все распроданы и продаются в неограниченном количестве во всех книжных и гастрономических лавках».

В ВЕНСКОМ ПАВИЛЬОНЕ – Илл. Россия. 1925, № 21. С. 12. Подпись: Sandro.

В подзаголовке речь идет о Всемирной выставке декоративного искусства, открывшейся в Париже в 1925 году.

МОЛОДОМУ ПАРНАССКОМУ ПОЛОТЕРУ – Илл. Россия. 1925, № 23. С. 14. Подпись: Sandro.

...«*А вы думаете, что в эмиграции их меньше?*» – Помимо поэтов, имевших имя или заявивших о себе еще в России, в зарубежье

поднялась молодая литературная поросль. Среди них были и самобытные дарования, и неисчислимое количество графоманов, стиходелов, чей уровень, по выражению Ходасевича, лежал «много ниже нуля». Каждый мечтал напечататься, издать сборник, хотя бы за свой счет. Но большинству приходилось довольствоваться чтением стихов друг другу – в парижских кафе или на вечерах «Зеленой лампы», устраиваемых З. Гиппиус. Кроме того, по свидетельству мемуариста: «Была у них и своя собственная „Поэтическая ассоциация“, и „Палата поэтов“, и „Перекресток“, и „Объединение“, и покровительствовали им и поощряли их и Адамович, и Ходасевич, и В. В. Вейдле, и, в торжественных случаях, И. А. Бунин» (*Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути.* М., 1991. С. 283).

СЛИШКОМ РЕЗВОМУ – Илл. Россия. 1925, № 23. С. 14.
Подпись: А. Ч.

...Гостинодворским языком. – Гостинодворец – купец, приказчик, торгующий в гостином дворе, в торговых рядах, которые размещались в специально предназначенных для этого зданиях.

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ САНАТОРИЯ В ЕВПАТОРИИ – Илл. Россия. 1925, № 24. С. 16. Подпись: Sandro.

Темой для данного стихотворного фельетона послужила информация из советской газеты, которая была приведена в эпиграфе:

«Тов. курортник из санатория „Гелиос“ в Евпатории слезно жалуется:

„Больные являются в санаторий „с мухой“. Женщины ведут себя очень развязно. Любовные амуры происходят не только в аллеях сада, но даже и в палатах. В моду вошло хождение мужчин к женщинам не через двери, а через окна... Пища не доброкачественная: или гнилое яйцо, или мусор в котлете. Разумных развлечений – никаких“.

Бумерангская Муза предлагает совкомпозиторам положить ламентации тов. курортника на музыку. Лирический текст – наш».

...на горе буржуям раздуем пожар мировой. – Искаженная цитата из поэмы А. А. Блока «Двенадцать».

ГОСТИНИЦА В ПАССИ – Илл. Россия. 1925, № 25. С. 14.
Подпись: А. Ч-й.

Пасси (фр. Passy) – см. выше.

К ДВУХСОТЛЕТИЮ АКАДЕМИИ НАУК – Илл. Россия. 1925, № 27. С. 14. В 1924 году в Советской России широко отмечался 200-летний юбилей Академии наук. Один из откликов просоветской печати на это событие использован Сашей Черным в качестве эпиграфа к данному стихотворному фельетону:

«Луначарский отметил, что наша Академия наук сразу же в официальном письме заявила, что будет работать рука об руку с правительством, и на деле сдержала свои обещания. Поэтому-то буржуазные академии Европы так враждебно настроены против Академии наук СССР» (Парижский вестник. № 94).

Лойола – см. выше.

ИЗ ЗЕЛЕННОЙ ТЕТРАДКИ – Илл. Россия. 1925, № 29. С. 16. Подпись: Ч.

Бакунин М. А. (1814–1876) – видный деятель международного революционного движения, идеолог анархизма.

Катков М. Н. (1818–1887) – публицист, идеолог пореформенного самодержавия.

Хрия – рассуждение или речь на заданную тему, составленная по определенным правилам.

ПОЛИТИКОН И ЭМИГРАНТСКИЙ УЕЗД – Русская мысль (Париж). 1971, 30 декабря.

Публикация снабжена пометой: печатается впервые. Из этого следует, что источником текста послужил рукописный архивный материал. Однако указание публикаторов не совсем верно, ибо две эпиграммы данного цикла («Горький» и «О Господи, ужель и после смерти...») увидели свет еще при жизни Саши Черного. Исходя из этого, весь цикл предположительно датирован 1924–1925 годами.

Трагический трилистник – в названии можно усмотреть аллюзию на «трехлистниковое» композиционное построение книги стихов И. Анненского «Кипарисовый ларец».

...В львином рву Даниил объяснялся со львами. – Имеется в виду библейская легенда о пророке Данииле, который по злому навету был брошен в ров на съедение львам, но вышел оттуда невредим (Дан. 6).

Дважды два. – Любопытно, что здесь поэт вернулся к сюжету, разработанному им еще в 1909 году в «Деликатных мыслях».

БЕНЗИННАЯ ЛЮБОВЬ – Илл. Россия. 1925, № 30. С. 16. Подпись: Sandro.

ЕВРОПА И «ОНИ» – Последние новости. 1926, 25 января. Под рубрикой: «Из зеленой тетрадки».

...«Признать ли их?» – гадают чехи. – В 1923 году в Европе начал дискутироваться вопрос о юридическом признании СССР. Обсуждался он и в Чехословакии. Первой страной, заключившей договор с Советским Союзом, была Великобритания, следующей – была Италия (7 февраля 1924 года). Причем итальянская сторона непременно условием договора ставила экономические льготы в торговле и мореплавании. Переговоры Б. Муссолини с советскими дипломатами по этому вопросу стали темой эпиграммы о колонизации Кубани. Ранее эта тема была разработана в пародийной хронике «Бумеранга», напечатанной без подписи под заголовком «Нам пишут из Рима»: «Рим. Муссолини прочел в „Союзе итальянских теноров с ограниченной ответственностью“ доклад об эволюции большевиков. По мнению маститого вождя фашистов, неуклонная эволюция большевиков приведет в ближайшие годы к полному исчезновению населения в Кубанской, Донской и Черноморской областях. Таким образом, избыток итальянского населения и безработных, вместо дальней эмиграции в Южн<ую> Америку, может быть направлен для заселения оголенных мест подходящего по климату для итальянцев юга России. Чичерин, идя навстречу желаниям Муссолини, предложил Италии, в ожидании свободного впуска итал<ьянских> эмигрантов, преимущественное право на концессию топлива из сушеной саранчи на всем черноморском побережье, при условии долгосрочного займа в 500 миллионов лир с погашением за счет датского короля» (Илл. Россия. 1925, № 21. С. 12).

Бернард Шоу (1856–1950) – английский писатель, драматург, снискавший славу блестящего остроумца. Высказывал симпатии стране победившей социалистической революции.

...*Баварский храбрый генерал*. – По-видимому, эпиграмма явилась откликом на газетное сообщение о поездке германского генерала фон Шенебаха в СССР. По возвращении он выступал перед различными аудиториями с оправданием и одобрением установившегося там режима. В частности, он заявил: «В Советском Союзе, по крайней мере, видишь, что диктатура осуществляется в интересах трудящихся, а не богатых» (*Корнеев Н.* Немецкий генерал о Советском Союзе // Парижский вестник. Париж. 1925. 10 октября).

ПРОЛЕТАРСКАЯ МУЗА – Ухват (Париж). 1926, № 3. С. 12.

НАДПИСИ НА ПОЛЯХ БИБЛИОТЕЧНЫХ КНИГ – Сатирикон (Париж). 1931, № 10. С. 3. Подпись: Скрут.

СКАЗКА ПРО КРАСНОГО БЫЧКА – Сатирикон (Париж). 1931, № 20. С. 1.

Чемберлен Остин (1863–1937) – министр иностранных дел Великобритании в 1924–1937 годах. Убежденный противник СССР, инициатор разрыва с ним дипломатических отношений. Был излюбленной мишенью советской пропаганды и сатиры.

...штандарт скачет. – Цитата из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (действ. I, явление 2): «...барышень много, музыка играет, штандарт скачет». Штандарт – унтер-офицер со знаменем кавалерийского полка.

«НЕДЕЛЯ ДОБРОТЫ» – Последние новости. 1932, 24 мая.

«Неделя доброты» – общественное начинание, получившее распространение во Франции с 1929 года. Имело своей целью склонить людей к доброте, милосердию, пожертвованиям.

Свидригайлов – персонаж романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», воплощение цинизма, аморальности, вседозволенности.

Пневматичка – см. выше.

Жавель – жавелевая вода, раствор белильной извести с содой или поташом. Средство для стирки белья.

Из дневника поэта*

Это раздел особенный, сформированный не по тематическому, жанровому или временному принципу. Здесь собраны наиболее интимные стихотворения поэта, в центре которых стоит личность самого автора. Поэт во время одиноких прогулок, наедине с собой, со своими размышлениями, ламентациями, воспоминаниями... Название разделу дано по заглавию одного из стихотворений.

ЖИЗНЬ – Голос России. 1921, 25 декабря.

РОМАНС – Жар-Птица. 1921, № 3. С. 30. Подпись: *Turdus*.

Можно считать это стихотворение стилизацией, не более чем игрой вымысла, не имеющего отношения к действительности. Есть, однако, одно, едва заметное обстоятельство, позволяющее думать, что все значительно сложнее. Это подпись под стихотворением –

давнишний и мало кому известный псевдоним поэта. Видимо, Саше Черному было важно напечатать это затаенно-целомудренное лирическое признание и в то же время скрыть имя автора от читателей и – прежде всего – от той, кому оно адресовано.

В ПЛЕНУ – Сегодня. 1923, 20 мая.

В САКСОНСКИХ ГОРАХ – Сегодня. 1923, 3 июня.

В ПОТЕ ЛИЦА – Сегодня. 1923, 16 сентября. В заглавии использовано библейское выражение, ставшее расхожим, устойчивым словосочетанием. Изгоняя Адама из рая, Бог сказал ему: «В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Бытие, 3, 19).

«Руль» и «Дни» – см. выше.

ИЗ ДНЕВНИКА ПОЭТА – Илл. Россия. 1925, № 15. С. 4.

По воспоминаниям жены Саши Черного, чтением именно этого стихотворения поэт открыл свой литературный вечер, состоявшийся в декабре 1924 года в студии художника Ф. А. Малявина. Это было по сути первое публичное выступление Саши Черного, и поэтому успех, который имело это стихотворение, явилось как бы залогом дальнейшего активного участия поэта во всевозможных культурно-общественных мероприятиях «русского Парижа». (*Гликберг М. И.* Из мемуаров // *Российский литературоведческий журнал.* М., 1993. № 2. С. 245.)

ПРЕДВЕСЕННЕЕ – Илл. Россия. 1926, № 8. С. 14. Подпись: С-а Ч.

КАК Я ЖИВУ И НЕ РАБОТАЮ – Илл. Россия. 1926, № 16. С. 6.

В 1926 году в журнале «Иллюстрированная Россия» была заведена рубрика: «Как живет и работает...» Писатели, к которым корреспондент журнала обращался с вопросами, были: Бунин, Куприн, Шмелев, Алданов, Юшкевич и др. Текст интервью сопровождался обычно фотографией писателя в домашней обстановке. Стихотворение Саши Черного – по сути автопародия на данную рубрику. По традиции эта публикация сопровождается снимками, к которым автор сделал шутливые подписи. К фотографии, где поэт изображен с мандолиной, подпись: «В семь часов утра»; к другой, где он же с ножовкой: «В семь часов вечера». Подпись под третьим снимком гласит: «Саша Черный и фокс Микки».

Жезл Аарона – одна из принадлежностей скинии, походного храма евреев во время странствия по пустыне. За одну ночь жезл дал ростки и расцвел, что было расценено как знак провиденья Божьего.

ЛЕГКИЕ СТИХИ – Последние новости. 1928, 18 мая.

НОЧЬЮ – Последние новости. 1929, 10 сентября.

ИНОГДА – Последние новости. 1930, 11 февраля.

Леда – в древнегреческой мифологии возлюбленная бога Зевса.

НОЧНЫЕ ЛАМЕНТАЦИИ – Последние новости. 1931, 3 января.

У ОКНА – Последние новости. 1931, 8 марта.

Сен-Клу – предместье Парижа.

МИМОЗА – Последние новости. 1931, 14 февраля.

СЕМЬ ЧУДЕС – Сатирикон (Париж). 1931, № 12. С. 2.

Семь чудес – семь чудес света; известное с античных времен выражение, которое подразумевало канонический набор семи грандиозных сооружений, поражавших современников великолепием.

Медон – предместье Парижа, где жило много эмигрантов из России.

«Возрождение», *«Последние новости»* – две наиболее крупные газеты русского зарубежья. Одна считалась органом правых сил эмиграции, другая – левых. В соответствии со своими политическими взглядами читатели делали выбор между двумя этими противоборствующими периодическими изданиями.

ГЁТЕ – Последние новости. 1932, 22 марта.

Стихотворение написано к столетней годовщине со дня кончины И. В. Гёте – дате, широко отмечавшейся в 1932 году.

«Коринфская невеста» – баллада Гёте (1797).

Бурш – прозвище студента старших курсов в Германии.

«Монолог Прометей» (1773) – сцена из неоконченной драмы Гёте, в которой Прометей бросает вызов богам.

«Герман и Доротея» (1797) – поэма Гёте.

...Я вспомнил Веймар. – Веймар – город, где находится дом-музей и могила Гёте, Саша Черный посетил в 1910 году.

МЕЛАНХОЛИЧЕСКОЕ – Последние новости. 1932, 4 июня.

Цирцея – в древнегреческом эпосе волшебница, обольстительница, обратившая в свиней спутников Одиссея.

Русские миражи*

Раздел этот как бы продолжает ностальгическую тему эмиграции, заявленную поэтом еще в *«Русской Помпее»*. Но годы изгнания внесли в нее некоторые отличия. Острая тоска и боль

притупились, и на смену им пришли грусть и какая-то сновиденность и миражность былого. Отсюда название раздела (так был озаглавлен один из стихотворных циклов Саши Черного). «Все дальше и дальше с каждым днем мы уходим от родины, все туманнее образы, унесенные с собой, – жизнь и время стирают их и скоро совсем сотрут» – это признание Саши Черного, вырвавшееся в беседе с Глебом Алексеевым, объясняет стремление поэта воссоздать, сохранить, закрепить хотя бы в слове картины прошлого.

ЭМИГРАНТСКИЕ СНЫ – Илл. Россия. 1924, № 1. С. 14. *Енох* – см. выше.

САТИРИКОН – Русская газета. 1925, 29 марта. С посвящением Аркадию Аверченко.

Поводом к написанию стихотворения послужила скорбная весть о кончине бывшего редактора «Сатирикона» Аркадия Аверченко. Давние размолвки и претензии были забыты и пришло позднее осознание того, что годы работы в «Сатириконе» были их общим творческим взлетом, «звездным часом». Позднее, когда в Париже в 1931 году была предпринята попытка возродить «Сатирикон», Саша Черный предложил открыть его именно этим стихотворением, которое он существенно переработал. Здесь приводится в последней авторской редакции. Разночтения в первой публикации (газетный вариант):

Строка 8 – Подымал хоромы ввысь.
Строки 14–16 – И калинкинское пиво,
Запрокинув кверху гриву,
С упоением сосал.
Строка 24 – С толстым дьяволом внутри.
Строка 25 – Тихий крохотный издатель...
Строка 28 – Как испуганная мышь.
Строка 32 – Чтоб аванс с него сорвать...
Строка 40 – Хлама в прозе и стихах.
Строка 44 – Взднем на кол – и аминь!
Строки 47–48 – И сифон с водой шипучей,
Чертыхаясь, осушал.
Строка 52 – Вдоль Фонтанки шла за ним...
Строка 56 – Можно всласть похохотать.

Строка 60 – В рот пихали кулачки:
Строка 68 – К козырьку взносил ладонь:
Строка 76 – Словно бесы налетят...

Одновременно со стихотворением Саши Черного в «Сатириконе» (№ 1 за 1931 год) была помещена фотография Аверченко и следующий текст к ней: «1918 год... „Сатирикон“ закрыт. Российский смех задушен. Осталось улюлюканье и гоготанье. В изгнании, в чехословацком госпитале, молодой, неутомимый, блестящий, испускает последний вздох Аркадий Аверченко. Продолжатель лейкинской традиции, „человек, который смеялся“, добродушнейший и лукавейший, неисчерпаемый и жизнерадостный, Аркадий Тимофеевич Аверченко – это уже страница своеобразной русской книги, превратившейся в хрестоматию».

...Над Фонтанкой сизо-серой. – Редакция «Сатирикона» несколько раз меняла свой адрес. В середине 1909 года она переехала с Невского проспекта на Фонтанку, в дом № 80.

Апраксин двор – торговый центр, размещавшийся между Большой Садовой и Фонтанкой.

Калинкинское пиво – пиво Калинкинского пиво-медоваренного завода в Петербурге.

...огромные плакаты с толстым дьяволом внутри. – Имеется в виду сатир, ставший издательской маркой «Сатирикона», – работа художника Ре-Ми (псевдоним Н. В. Ремизова, 1887–1975).

...Тихий вежливый издатель. М. Г. Корнфельд (1884–1973). Доставшийся ему по наследству от отца журнал «Стрекоза» был преобразован им в «Сатирикон». После революции эмигрировал во Францию, где продолжил издательскую деятельность – выпускал книги на французском языке, в том числе и собственного сочинения В конце жизни написал воспоминания о «Сатириконе», которые в сокращенном виде опубликованы в журнале «Вопросы литературы» (1990, № 2).

...в первом «Ящике почтовом». – Имеется в виду рубрика «Почтовый ящик», помещавшаяся в конце номера. Она представляла собой переписку с читателями, дерзнувшими предложить свои опусы

журналу. Это дежурное занятие сатириконцы превращали в настоящий пир остроумия.

...*Сатирическая банда* <...> *Вдоль Фонтанки шла за ним* – Шествие сатириконцев, судя по воспоминаниям К. И. Чуковского, было действительно впечатляющим: «Впереди выступал круглолицый Аркадий Аверченко, крупный, дородный мужчина. <...> Рядом шагал Радаков, художник, хохотун и богема, живописно лохматый, с широкими пушистыми баками, похожими на петушиные перья. Тут же бросалась в глаза длинная фигура поэта Потемкина, и над всеми возвышался Ре-Ми или попросту Ремизов, замечательный карикатурист – с милым, нелепым, курносым лицом» (*Чуковский К. И. Современники*. М., 1967. С. 366).

СОЧЕЛЬНИК В ПСКОВЕ – Перезвоны. 1925, № 7/8. С. 194.

Сочельник – канун Рождества.

Оршад – прохладительный напиток с добавлением миндаля и сахара.

ПАСХА В ГАТЧИНЕ – Перезвоны. 1926, № 19. С. 572–573.

В феврале 1911 года А. И. Куприн поселился в Гатчине. Саша Черный неоднократно бывал у него в гостях. В письме к К. Р. Миллю (от 17 апреля 1911 года) он сообщает: «Как-то ездил к Куприну в Гатчино. <...> Провел целый день, и было прекрасно» (ИРЛИ, ф. 123, оп. 2, ед. хр. 318, л. 6). Сохранилась также фотография Куприна, подаренная Саше Черному со следующей надписью: «Александр Михайловичу Гликбергу с нежной дружбой и всегдашней преданностью. А. Куприн. 1913. Гатчино. Весна» (Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. Аннотированный каталог. М., 1989). Возможно, один из этих визитов описан в данном стихотворении.

«МУЛ ЗА СТЕНОЙ СОЛОМОЮ ШУРШИТ...» – Последние новости. 1928, 11 марта. В цикле из четырех стихотворений под общим заголовком: «Иван Петрович».

Реалист – ученик реального училища. В отличие от гимназии здесь не преподавали древние языки, но зато более подробно изучали физико-математические дисциплины. Выпускники училищ обычно шли в высшие учебные заведения технического уклона.

Стрелка – см. выше.

Ломжа – см. выше.

ЧЕРНИКА Последние новости. 1929, 18 мая.

РУССКИЕ МИРАЖИ – I. СТАДО; II. НА КРЫЛЬЦЕ – Последние новости. 1930, 31 мая.

КУКУРУЗА – Сатирикон (Париж). 1931, № 21. С. 2.

НА ТРУБЕ – Сатирикон (Париж). 1931, № 9. С. 10. Подпись: А. Ч.
Опубликовано под полосной иллюстрацией художника Ф. Рожанковского «Москва».

Труба – в московском просторечии так именовалась Трубная площадь, где размещался Птичий рынок.

Утешение*

В разделе собраны стихотворения о детях и животных – тех, в ком поэт всегда находил утешение и отраду, особенно на чужой стороне. Судя по подзаголовку к одному из стихотворений, существовал замысел поэмы «Утешение». Остается неизвестным, был ли он осуществлен.

К ПУДЕЛЮ – Голос России. 1920, 18 апреля.

«Человек – звучит чертовски гордо» – неточная цитата из пьесы А. М. Горького «На дне», ставшая афоризмом. Об отношении Саши Черного к Горькому после революции см. выше.

МАЛЕНЬКОМУ ДРУГУ – Русская газета. 1925, 19 апреля.

Тартинка – см. выше.

В ПОЕЗДЕ – Илл. Россия. 1926, № 34. С. 21. Подпись: С-а Ч.

КОНСЬЕРЖКИНА ДОЧКА – Илл. Россия. 1927, № 21. С. 23.
Подпись: С-а Ч.

...Ей в школе медаль прикололи. – В младших классах французских школ существовала традиция каждую неделю или две отмечать успехи в учебе и поведении присуждением медали – в виде брелка различной формы и окраски.

МОЙ РОМАН – Последние новости. 1927, 4 декабря.

ЩЕНОК – Последние новости. 1928, 12 февраля.

...фокс – пятинедельный гномик. – Это стихотворное свидетельство позволяет довольно точно установить, когда фокс Микки появился в доме Саши Черного.

Апаш – деклассированный элемент во Франции, хулиган.

ПРОГУЛКИ ПО ПАРИЖУ – Последние новости. 1928, 1 апреля.

МАТЬ – Последние новости. 1928, 3 апреля.

Объединение «Земских и городских деятелей» обратилось в 1927 году к соотечественникам с призывом о сборе пожертвований на организацию приюта для детей русских эмигрантов. Будущему заведению дали название «Голодная пятница» – по дню недели, в который был распят Христос.

...*Платье плела из крапивы она.* – Речь идет о сказке Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди».

БЕСПЕЧНЫЙ ДЕНЬ – Последние новости. 1928, 19 июня.

ДЕТИ – Последние новости. 1931, 4 февраля. Подзаголовок: Из поэмы «Утешение».

ФОКС – Последние новости. 1932, 3 июля.

Парижские будни*

Немало стихов Саши Черного посвящено повседневной, будничной жизни французской столицы. Три из них публиковались под рубрикой «Парижские будни», которая дала название разделу.

ХМЕЛЬ – Звено (Париж). 1924, 12 мая.

ДВА МИРА – Последние новости. 1927, 11 декабря.

Кошц Н. П. (1894–1965) – русская певица.

ПЛАТАН – Последние новости. 1927, 18 декабря.

ALLÉE DES CYGNES – Последние новости. 1928, 6 января.

Allée des Cygnes – Узкий островок посреди Сены, протянувшийся от моста Пасси до моста Гренель.

СОЛНЦЕ («Угрюмый делец почтенных лет...») – Последние новости. 1928, 29 апреля.

В ЛЮКСЕМБУРГСКОМ САДУ – Последние новости. 1929, 3 апреля.

Люксембургский сад – один из старинных и красивейших парков Парижа, украшенный скульптурными памятниками; излюбленное место детских прогулок.

Медици Мария (1573–1642) – королева Франции, жена Генриха IV, принадлежавшая к побочной ветви флорентийского рода Медичи.

ГОРОДСКИЕ ЧУДЕСА – I. Пчела. II. Обезьянка. – Последние новости. 1929, 17 апреля.

ПЕНЗЕНСКОМУ КАТОНУ – Последние новости. 1929, 26 мая.

Катон Старший (234–149 г. до н. э.) – римский писатель, непримиримый враг Карфагена, неустанно повторявший: «Карфаген

должен быть разрушен». Будучи цензором, отличался строгостью нравов.

В БУЛОНСКОМ ЛЕСУ – Последние новости. 1930, 2 мая.

СОБАЧИЙ ПАРИКМАХЕР – Последние новости. 1930, 18 июня.

Под рубрикой: «Парижские будни».

В МЕТРО – Последние новости. 1930. 5 июля. Под рубрикой: «Парижские будни».

ПУСТЫРЬ – Последние новости. 1930, 1 ноября. Под рубрикой: «Парижские будни».

...чей жезл <...> взлелеял эти дикие цветы. – Видимо, идет речь о жезле Аарона (см. выше.).

У СЕНЫ – Последние новости. 1930, 3 декабря.

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ – Последние новости. 1930, 20 декабря.

Десть – русская мера бумаги, 24 листа.

СОЛНЦЕ («Всю зиму нормандская баба...») – Последние новости. 1932, 27 марта.

НА ПУСТЫРЕ – Последние новости. 1932, 5 апреля.

УЛИЧНАЯ ВЫСТАВКА – Последние новости. 1932, 19 апреля.

Першерон – порода лошадей-тяжеловозов. Выведена в 19 в. во Франции (район Перш).

Ватерпруф – плащ из непромокаемой материи.

В УГЛОВОМ БИСТРО – Последние новости. 1932, 14 мая.

Каменщики неслучайно попали в поле зрения поэта. В очерке А. И. Куприна «Париж домашний» сказано: «Теперь Париж бешено строится. Каменщичья работа в большом спросе и высокой цене. <...> Тут надо еще сказать, что парижский каменщик, стоящий у отвеса, машины и циркуля, получает от десяти и больше франков в час, а также и то, что французский рабочий (дай ему Бог здоровья, а нашему такой же жизни) в еде и питье для себя не скупится: аперитив, рыбное, мясное, салат, овощи, сыр, сладкое и кофе, умело орошенное старым ромом; а в промежутках – литр обыкновенного вина. Не ужасайтесь его расточительности: каждую субботу он увеличивает счет по сберегательной книжке (чего нашему рабочему я от души желаю). Идут они опять на работу вперевалку, румяные, черноусые, с блестящими глазами, с лицами, кое-где вымазанными известкой... Ничего. В работе алкоголь выйдет через пот». (*Куприн А. И. Собр. соч.* в 9 т. Т. 9. М., 1964. С. 326).

Капризные вирши*

Раздел этот, в отличие от прочих, составлен не по тематическому принципу. Объединяющим моментом здесь послужила улыбка, незлобная шутка, проказливый юмор – все, чем поэт пытался скрасить «мутный эмигрантский быт». Название разделу дано по заглавию одного из стихотворений.

СОВРЕМЕННАЯ БАЛЛАДА – Сегодня. 1923, 1 июля.

...беклиновский толстяк. – Беклин А. (1827–1901) – швейцарский художник-модернист, воссоздававший на своих полотнах фантазмагорический мир мифологических существ, лесных и морских чудовищ.

...сто тысяч марок... Тьфу, какой улов дрянной! – Эта пренебрежительная реплика возвращает нас к катастрофической экономической ситуации, сложившейся в Германии после первой мировой войны. Ее наглядным выражением была инфляция: миллионы, миллиарды германских марок, выпускаемых Рейхсбанком в несметных количествах, обесценивались с феерической быстротой, чуть ли не с каждым часом. Спекулянты со всего мира скороспешно сколачивали капитал на несчастье оголодавшего, отчаявшегося народа. Фантастические суммы германской валюты переводились в прочные фунты и крепкие доллары.

КАПРИЗНЫЕ ВИРШИ – Сегодня. 1923, 28 октября.

ЛИРИЧЕСКАЯ КУХАРКА – Русская газета. 1925, 18 января. В цикле из трех стихотворений под общим заголовком «В усадьбе под Парижем». Данный цикл, так же как и целый ряд стихотворений и рассказов, появился после лета 1924 года, проведенного Сашей Черным на даче знакомых в местечке Гресси, неподалеку от Парижа.

АПРЕЛЬ – Илл. Россия. 1925, № 17. С. 10. Подпись: – Й.

УРОК – Илл. Россия. 1925, № 30. С. 15. Подпись: А. Ч.

Б. К. ЗАЙЦЕВУ – Сб. «Евреи в культуре Русского Зарубежья». Вып. II. Иерусалим, 1993. С. 45–50. Опубликовано впервые по автографу, хранящемуся в архиве русского писателя Б. К. Зайцева (1881–1972).

Поводом к написанию поздравительного послания стал двадцатипятилетний юбилей литературной деятельности Зайцева.

Прочитано оно было Сашей Черным на банкете 12 декабря 1926 года в парижском салоне Рапп в присутствии более 250 приглашенных.

...Карамзин маститый молвил <...> Что отменный автор должен / Быть отменным человеком. – Имеется в виду высказывание Н. М. Карамзина: «Я уверен, что дурной человек не может быть хорошим автором» из его статьи «Что нужно автору».

...Язык российский / Рвут макаки, точат черви: / Слово – хриплый эпилептик, / Слово – ребус-спотыкач. – К постоянным огорчениям Саши Черного можно отнести те новшества, которые привнесла в отечественную словесность революционная эпоха. В письмах его к А. И. Куприну читаем: «...русский язык поступает в исключительное владение разных прохожих людей в литературе – обидно и досадно. <...> язык профессиональных юродивых, надменно-манерные периоды задом наперед, а внутри мыслишки ценою в дырку от бублика» (Куприна К. А. Куприн – мой отец. М., 1979. С. 217).

...Он Италию с Россией / В чистом сердце совместил. – Еще до революции посетив Италию, Зайцев влюбился в эту страну, считал своей «второй родиной». Им написана книга очерков «Италия» (Берлин, 1923), исследование «Данте и его поэма» (М., 1922), прозаический перевод дантовского «Ада» (Париж, 1961). Это пожизненная увлеченность и впрямь совмещена была с любовью к родному краю – Москве, орловским и калужским землям, называемым им «русской Равенной».

...Но редактор «Перезвонов» должен выслушать меня. – В октябре 1925 года Зайцев стал редактором литературного отдела «Перезвонов» – литературно-художественного журнала, выходившего в Риге в 1925–1929 годах. Проза и поэзия Саши Черного неоднократно печатались на страницах «Перезвонов».

...«Нива» новая издаст. – До революции «Нива» была самым распространенным и читаемым журналом в России. В советское время вместо нее стала выходить «Красная нива». Здесь, по-видимому, высказано желание и надежда, что на смену ей придет «Новая нива», возрожденная уже после падения большевиков.

БАЗАР В AUTEUIL – Последние новости. 1927, 20 ноября.

Auteuil (Отей) – квартал в Париже, близ Булонского леса.

...Графин пунцовый, как маяк, горит в аптеке. – см. выше.

ХИМИЧЕСКИЕ СТИХИ – Последние новости. 1928, 17 января.

ГРЕШНЫЕ СТИХИ – Последние новости. 1928, 25 марта.

Маркиз Поза – герой драмы Ф. Шиллера «Дон-Карлос, инфант испанский», олицетворение благородства.

ЗЕЛЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ – Последние новости. 1928, 10 июня.

Кодак – фотоаппарат акционерного общества «Кодак».

Пепермент – прохладительный напиток зеленого цвета.

ГОРЕ ОТ ПРОХОЖИХ – Заря (Харбин). 1928, 14 октября.

В основе стихотворения дружеские отношения, сложившиеся между Сашей Черным и художником И. Я. Билибиным во время их летнего отдыха в Провансе. Их взаимную симпатию подчеркивает и надпись, сделанная Сашей Черным на книге «Чудесное лето» (хранится в ИРЛИ): «Ла Фавьерскому соседу, милому Ивану Яковлевичу Билибину. А. Черный». О жизни и обитателях русской колонии, обосновавшейся в конце 20-х годов в Средиземноморье, рассказывается в мемуарном очерке Л. С. Франгель «Ла Фавьер». Там, в частности, говорится, что художник построил дачный домик на самом перевале: «С одной стороны Билибин видел Лаванду с ее сиреневыми горами, с голубым небом, с другой – зеленую Ла Фавьерскую долину с темными соснами на белом песчаном великолепном пляже тоже синего моря. От домика шла дорожка в темный лес, который так любил рисовать Билибин. Он много с удовольствием работал в Ла Фавьере и, кроме чудесных, тихих, солнечных провансальских пейзажей, написал портрет Саши Черного...» (Возрождение. Париж, 1954, № 34. С. 149). О судьбе этого портрета, увы, ничего не известно.

ОШИБКА – Последние новости. 1929, 30 марта.

В САНАТОРИИ – Последние новости. 1929, 7 июля.

Летом 1929 года поэт отдыхал в «Русском доме отдыха» под Ниццей, что и послужило материалом для данного стихотворения.

...*Санаторский Гавриил*. – Имеется ввиду надзиратель в санатории. Гавриил – старший ангел, поставленный над раем.

...*даже шахматы вспотели*. – Ироническое описание шахмат и шахматистов, по-видимому, не было случайным. Косвенным свидетельством тому может служить сообщение о вечере известного шахматиста Е. А. Зноско-Боровского, на котором Саша Черный

прочитал шуточную лекцию «О вреде шахматной игры» (Последние новости. 1928, 20 июня).

Апаш – см. выше.

Виши – минеральная вода, получившая название по курорту в Центральной Франции, где она производится.

НА КОЛОНИАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ – Последние новости. 1931, 14 июня.

Летом 1931 года в Париже, в Венсенском лесу, была открыта так называемая колониальная выставка. Она познакомила с бытом, ремеслами, культурой, искусством, животным и растительным миром колониальных стран. Специально для выставки было построено несколько павильонов, из которых наиболее причудливо-экзотичным по архитектурному решению считался Ангкорский храм, представлявший Индокитай.

КОЛОНИАЛЬНЫЙ ДЕНЬ – Сатирикон (Париж). 1931, № 15. С. 5.

Напечатано в специальном «Колониальном» номере, целиком посвященном выставке. Редакция «Сатирикона» в полном составе (среди участников фигурирует Саша Черный с терьером Микки) совершила экспедицию, с тем чтобы каждый предоставил художественный отчет об увиденном – в стихах или прозе. Помимо данного стихотворения, в этом же номере Сашей Черным был напечатан рассказ «Единственное средство», подписанный псевдонимом: Скрут.

Антропофаг – людоед.

Дактило – секретарша или стенографистка.

КАРТОФЕЛЬНАЯ ИДЕЯ – Последние новости. 1932, 17 июня.

Визави (фр. vis-a-vis) – лицом к лицу, друг против друга, человек, находящийся напротив.

ПЛАСТИКА – Последние новости. 1932, 9 июля. В цикле из двух стихотворений под общим заголовком «У моря».

Из провансальской тетради*

С 1926 года все летние сезоны Саши Черного связаны с Провансом – южной областью Франции. Прежде всего это поселок русских эмигрантов Ла Фавьер и его окрестности. Летом 1928 года поэт совершил турне по городам Лион, Гренобль, Канны, Ницца, где выступал вместе с А. А. Яблоновским перед соотечественниками.

Природа этого благодатного края, труды и досуги местных жителей – все это стало постоянной темой стихов и прозы Саши Черного. Название разделу дала рубрика, под которой напечатано одно из стихотворений.

МИСТРАЛЬ – Последние новости. 1927, 9 октября.

Мистраль – сильный сев. – зап. ветер с гор в Провансе, на юге Франции, приносящий холодную погоду.

СБОР ВИНОГРАДА («В дверях стоит высокий, седоусый...») – Последние новости. 1928, 19 февраля. Под рубрикой: «Из провансальской тетради».

...*Сухой, как Дон-Кихот, сосед-француз.* – Известно, что Саша Черный водил дружбу с местными крестьянами. Недаром, когда поэта провожали в последний путь, то кроме русских в процессии приняли участие местные французы. Этот факт зафиксирован в очерке А. Ладинского «Похороны А. М. Черного»: «Под горой невыносимо-радостно зеленели виноградники. И странно было видеть на фоне этой природной красоты, как четыре человека медленно подымались от фермы Мутон с гробом. Среди носильщиков „гард шампэтр“, в кепи с серебряными кантами, многолетний друг фермер» (Последние новости. 1932, 9 августа). *Церера* – в древнеримской религии богиня плодородия. «Барбаросса», «Шасла» – столовые сорта винограда, отличающиеся высокой урожайностью; имеют разный вкус и цвет.

ГОРОДОК – Последние новости. 1928, 3 августа.

ДЕРЕВЕНСКИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ – Последние новости. 1928, 17 августа.

Пюжет – городок в прибрежных Альпах на юге Франции.

В МАРСЕЛЕ – Последние новости. I. «Среди аллеи на углу базар...»; II. «На козлах толстый франт...» – 1928, 14 сентября; III. «Посмотри, посмотри, как вскипает, как пенится след!» – 1928, 16 сентября.

НА ТОКУ – Последние новости. 1928, 24 сентября. Под рубрикой: «Русский Прованс».

ПРОВАНС – Последние новости. 1930, 3 августа.

В ОСЕННИЙ ДЕНЬ – Последние новости. 1930, 20 сентября.

...*Мы бегали к морю прощаться.* – По-видимому, воспоминания, перекликающиеся с давнишним рассказом Саши Черного «Люди летом» (1910).

В РЫБАЧЬЕМ МЕСТЕЧКЕ – Последние новости. 1931, 23 августа.

...У будки прилизанный юноша-сноб <...> Пытается встать для чего-то на лоб. – Вероятно, эта сатирическая сценка навеяна картинами, которые поэту довелось наблюдать у моря. Скажем, такими: «В Ла Фавьер наезжали и поэты: Борис Поплавский, который предавался на пляже атлетическим упражнениям с гирями, вернее с одной гирей, заменяя недостающую консервной банкой, наполненной песком» (Станюкович Н. В. Саша Черный // Возрождение. Париж. 1966. № 169. С. 121).

РАЗЪЕЗД – Последние новости. 1931, 19 сентября.

Отей – район Парижа.

В БОРМЕ – Последние новости. 1931, 3 октября.

Борм – административный центр департамента Вар, расположенного на юге Франции, старинный город, основанный еще римлянами.

Летний дневник*

Рубрика с таким названием появилась в последнее лето, незадолго до кончины поэта. Фактически же она начата много раньше, когда почти дневниковые стихотворные записи во время летних вакансий в Средиземноморье стали неременной частью творчества Саша Черного.

ИЗ ЛЕТНЕЙ ТЕТРАДИ – Последние новости. 1928, 27 июля.

ПИКНИК – Последние новости. 1928, 24 августа.

Серсо – см. выше.

ЛИВЕНЬ – Последние новости. 1929, 8 октября.

В МОРЕ – Последние новости. 1931, 7 апреля.

Пор-Кро – небольшой остров неподалеку от Ла Фавьера, на котором был расположен рыбачий поселок.

ВОДА – Последние новости. 1931, 1 августа. Под рубрикой: «Из летней тетради».

СБОР ВИНОГРАДА («За рядом ряд обшариваем лозы») – Последние новости. 1931, 23 сентября. Корчага – глиняный сосуд.

ПОД ТАМАРИСКОМ – Последние новости. 1932, 9 июля. В цикле из двух стихотворений под общим заголовком «У моря».

...Припрется дачник из лесного дома и заскулит. – Соотнесенность творчества с биографией поэта – одна из важнейших задач комментария. Подчас ценны даже незначительные достоверные штрихи и реальные факты из жизни, особенно когда речь идет о Саше Черном, мемуарный и фактологический материал о котором на редкость скуден. Вот почему, в связи с процитированной выше строкой, могут представить интерес подробности, сообщенные в изустных воспоминаниях К. К. Парчевским, гостившим в детские годы в прованском домике поэта: «Во время совместных прогулок с Сашей Черным я все время без умолку болтал. И помню, даже как-то спросил, не надоела ли ему моя болтовня. Он рассмеялся и ответил: „Напротив“. А дело в том, что рядом приобрел участок очень болтливый и глупый человек и так досаждал Александру Михайловичу, что тот не знал, как от него избавиться».

СОЛНЕЧНАЯ ВАННА – Последние новости. 1932, 16 июля. Под рубрикой: «Летний дневник».

Нудист – человек, исповедующий культ обнаженного тела, возврат к природному образу жизни. В конце 20-х годов нудисты Европы избрали для своих «лежбищ» остров Дю Леван, расположенный в Средиземном море, неподалеку от Ла Фавьера. Они нередко приплывали на материк на узких байдарках в костюме «племени Маори». Саше Черному также довелось бывать на их острове.

Задека Мартын – вымышленное лицо, якобы жившее в XI веке. Ему приписывалось авторство книг по толкованию снов и предсказанию судьбы на основе физиогномики и хиромантии.

БЕЗ ВАКАНСИЙ – Последние новости. 1932, 23 июля. Под рубрикой: «Летний дневник».

Буль – народная французская игра – метание шаров. Наилучшим местом для игры рыбаки считали пляжную полосу плотного песка после отлива.

ДОЖДЬ – Последние новости. 1932, 29 июля. Под рубрикой: «Летний дневник».

Коринки – высушенные мелкие виноградины без семян.

С ХОЛМА – Последние новости. 1932, 6 августа. Под рубрикой: «Летний дневник». Опубликовано одновременно с сообщением там же о кончине Саши Черного. О последнем дне поэта вспоминал А.

Ладинский: «Еще вчера он хлопотал по хозяйству, суетился около своего домика на горке, где посадил десяток маленьких деревьев и сделал две скамейки. Потом ходил со своим неразлучным фоксом Микки к приятелю фермеру, тоже поговорить о хозяйственных делах. Ему надоело скитаться и мотаться по белу свету, и он решил окончательно обосноваться в любимившемся Провансе, среди виноградников и холмов Фавьера» (Последние новости. 1932, 9 августа).

Дом над Великой*

Перезвоны. 1926, № 14, с. 397–400 (гл. 1–12) и № 15, с. 427–430 (гл. 13–24). Отдельно гл. 8, получившая название «Кадет», напечатана в альманахе «Молодая Россия» (Париж, 1927. С. 22). С иллюстрациями художника Ф. Рожанковского.

Классик – см. выше.

Гарус – см. выше.

Жардиньерка – этажерка для комнатных цветов.

Главы из поэмы «Дом над Великой»*

ПЕС; НА КОЛОКОЛЬНЕ – Последние новости. 1928, 6 мая.

Санкюлот – название революционеров времен французской революции 18 в.

Спасо-Мирожский монастырь – см. выше.

ДРОВА; ИНФЛЮЭНЦА – Последние новости. 1928, 8 мая.

Сажень – русская мера длины (2,13 м); зд. мера укладки дров.

Череха – приток реки Великой, впадающий чуть ниже Пскова.

Инфлюэнца – устар. название гриппа.

ТАНЮША; РАНЕНЬЕ – Последние новости. 1928, 27 мая.

ДОЖДИК; КРУЖЕВНИЦА; КАПУСТА – Последние новости. 1928, 28 октября.

Просфорка (просвирка) – круглый белый хлебец, употребляемый в обрядах православного богослужения.

Кому в эмиграции жить хорошо*

Последние новости. 1931, 20, 25, 30 октября, 3, 8, 17, 22, 27, 29 ноября, 1, 11, 13, 20, 25, 29 декабря и 1932, 2, 7, 10, 16, 22, 26, 30 января, 6, 13, 16 февраля. Полностью перепечатана в харбинской

газете «Заря». Время написания поэмы, по всей вероятности, совпадает со временем публикации. Это подтверждается и авторской пометкой: «1931», которая сопровождала появление первых глав поэмы в печати. Обнаруживается также синхронность времени публикации с содержанием. Так, глава XV, появившаяся 29 декабря, начинается словами: «Под Новый год в час утренний...» Поэма как единое целое впервые публикуется в настоящем издании.

Глава II

Ро-де-шоссе (фр. res-de chaussée) – так принято во Франции называть первый этаж дома (первым этажом там считается второй).

Блеманже – сладкое блюдо из сливок, десерт.

Глава III

Корпуленция – шутовское выражение для обозначения тучного, крупного телосложения.

Глава V

...приехавший из Африки российский эскулап. – Прототипом этого экзотического персонажа послужил, надо полагать, В. Н. Унковский (1888–1964). Врач по образованию, он сочетал медицинскую практику с литературным творчеством, активно печатался в эмигрантской периодике (статьи, очерки, рассказы). В 1925–1926 годах работал по контракту санитарным врачом в Дагомее (Африка). Его обширная африканская коллекция реликвий, а также множество сувениров красочно описано Сашей Черным в рассказе «Африканские вещи».

Глава VI

Пневматичка (фр. carte pneumatique) – вид срочной пересылки писем посредством сжатого воздуха по трубам. Скорость доставки не уступала телеграфу, но стоила намного дешевле. Пневматической почтой пользовались те, у кого не было телефона.

Глава IX

Бошо – государственный экзамен.

Глава XI

...на шахтах алюминиевых. – В книге мемуаров Л. Д. Любимова «На чужбине» говорится о том, что в период экономического кризиса Франция, испытывая нужду в дешевой рабочей силе, производила вербовку бывших российских подданных в других странах Европы. Условия работы на рудниках и шахтах были крайне тяжелые.

Глава XIII

Билибинские павы – русский художник И. Я. Билибин (см. выше.) создал на национальной основе самобытный красочно-орнаментальный стиль, пользовавшийся успехом на Западе.

В библиотеке Гоголя – открыта в Риме в 1906 году, обслуживала выходцев из России.

...комплект – тисненый золотом – романов Боборыкина? Я дешево продам. – Возможно, за этой фразой – автобиографический факт. Чтобы перебраться из Рима в Париж, Саша Черный был вынужден продать свою библиотеку местному университету (Восточный институт в Риме).

Боборыкин П. П. (1863–1921) – беллетрист, мемуарист, автор многочисленных романов, пользовавшихся в свое время широкой популярностью.

Глава XIV

Фам-де-менаж (фр. *femme de ménage*) – женщина, исполняющая работу по дому, прислуга.

Маримонда – порода обезьян.

Глава XVIII

Мотт-Пикейная станция – станция парижского метро (*La Motto Picquet*).

Фрикасе – блюдо французской кухни – мелко нарезанное мясо в соусе.

Глава XIX

Бель-серка (фр. *belle soeur*) – невестка, золовка, свояченица.

Кот лазоревый (фр. *le côte* – берег) – имеется в виду Лазурный берег Средиземного моря.

Шато – летнее жилище, дача.

Кушетка Рекамье – название предмета мебели по имени знаменитой красавицы Юлии Аделаиды Рекамье (1777–1849), жены французского банкира, в парижском салоне которой собирались выдающиеся деятели.

Глава XX

«Татьянин» вечер – Татьянин день – старинный праздник русского студенчества, начало зимних каникул. Учрежден в честь открытия Университета в Москве 12 января (25-го по новому стилю) 1755 года. В церковном календаре эта дата отмечена как день святой

мученицы Татьяны, которая отныне считалась покровительницей Московского университета.

Ракалия – жулик, бестия.

Глава XXI

...вот рижского издания занятнейшие книжечки. – В статье В. Ходасевича «Литература в изгнании» проведена классификация эмигрантской читающей публики, среди которой, в частности, выделены те, чьи литературные запросы стоят на весьма невысоком уровне: «Это – потребители бульварной и полубульварной авантюрной и будуарной литературы, издающейся преимущественно в Риге и находящей довольно широкий спрос; для полноты картины надо упомянуть, что там же и для того же круга издаются письмовники и гадательные книги, также расходящиеся в большом количестве» (Возрождение. Париж, 1933, 27 апреля и 4 мая).

Глава XXIII

Брандахлыст – шалопай, пустой, дрянной человек.

Биарриц – город во Франции на берегу Атлантического океана, модный курорт.

Выходные данные

Составление, подготовка текста и комментариев А. С. Иванова
Собрание сочинений подготовлено составителем при поддержке
Международного фонда «Культурная инициатива»

Редакционно-издательский совет:

А. М. Смирнова (председатель, директор издательства)

Т. А. Горькова (главный редактор)

А. С. Иванов

И. Л. Тимашева

С. В. Федотов

© А. С. Иванов. Составление, подготовка текста, комментариев,
1996

© Е. Г. Клодт. Художественное оформление, 1996

© Эллис Лак, 1996

Редакторы: М. Я. Минеева-Кобрянская, И. Л. Тимашева

Художественный редактор: В. Н. Сергутин

Технический редактор: Л. В. Жигульская

Корректор: О. В. Мокрович

Сдано в набор 23.02.95. Подписано в печать 24.10.95.

Формат 60x90/16. Гарнитура Таймс. Бумага офс. Печать
офсетная.

Усл. печ. л. 31,0. Уч. – изд. л. 34,1.

Тираж 15000 экз. Заказ № 1943. С 46. ЛР № 040571 от 19.01.93 г.

Отпечатано с готовых диапозитивов в Государственном ордена
Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени
Московском предприятии «Первая Образцовая типография» Комитета
Российской Федерации по печати.

113054, Москва, Валовая, 28.

notes

Примечания

1

«Здравствуй» (*лат.*).

«У мельницы» (нем.).

3

«Никто» (*лат.*).

4

Прошедшее время (*лат.*).

«Идите!» (*фр.*)

6

«Войдите» (*фр.*).

«Карпы! Карпы! Помидоры!
Отличные! Турецкие перцы!» *(ит.)*.

«Мой Бог!» *(нем.)*.

Боже мой (*фр.*).

БЫВШИЙ (*фр.*).

Ладно! Идет! (*фр.*).

«Тишина!» (фр.).

«Свинья!» (фр.).